

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1979

СОДЕРЖАНИЕ

Мельничук А. С. (Киев). О генезисе индоевропейского вокализма (оксханизация)	3
--	---

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Кривонос А. Т. (Москва). О некоторых аспектах соотношения языка и логики	17
Ахманова О. С. (Москва), Данчинова И. А. (Улан-Удэ). К вопросу синхронического изучения названий населенных пунктов	32
Пазухин Р. В. (Катовице). Язык, функция, коммуникация	42
Колшанский Г. В. (Москва). Проблемы коммуникативной лингвистики	51

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Гиро-Вебер М. (Экс-в-Провансе). К вопросу о классификации простого предложения в современном русском языке	63
Милославский И. Г. (Москва). Сложение семантических элементов различных типов в структуре русского слова	76
Юдакин А. П. (Москва). Определенные и неопределенные прилагательные	86
Благова Г. Ф. (Москва). О принципах лингвистического изучения средневековых тюркских текстов	97
Малкова О. В. (Москва). Ошибки писцов и лингвистическая интерпретация древних текстов	108

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Иванов В. С. (Москва). Количественные методы в современном венгерском языкознании (1973—1975)	121
---	-----

Рецензии

Краснова И. Е., Марченко А. Н. (Москва). <i>O. Akhmanova, R. F. Idgels. What is the English we use?</i>	131
Бородин М. А. (Ленинград), Гушина Л. Г. (Душанбе). « <i>Les Français régionaux</i> »	135
Дерягин В. Я. (Москва). <i>B. Tatar. Русская лексикография</i>	139
Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. (Москва). <i>A. A. Брагина. Русское слово в языках мира</i>	142
Маковский М. М. (Москва). « <i>Etymologie</i> »	144
Гусейнов Г.-Р. А.-Р. (Грозный). <i>И. Ю. Алироев. Сравнительно-сопоставительный словарь отраслевой лексики чеченского и ингушского языков и диалектов</i>	149

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	153
Указатель статей, опубликованных в 1979 г.	156

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Ф. М. Березин, Р. А. Будагов, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев,
Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции),
В. З. Панфилов (зам. главного редактора), В. М. Солнцев (зам. главного редактора),
О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), В. Н. Ярцева

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волконка, 18/2. Институт русского языка,
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 202-92-04

Зав. редакцией И. В. Соболева

МЕЛЬНИЧУК А. С.

О ГЕНЕЗИСЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ВОКАЛИЗМА *

V. Выясняя зависимость открытого или закрытого типа формировавшихся гласных фонем от акцентуационных условий, необходимо прежде всего определить характер раннеиндоевропейского ударения. Отсутствие качественно различающихся гласных исключает возможность какого бы то ни было фонологически релевантного качественного (в частности, музыкального) различия ударяемых силлабофонем. В этих условиях речь может идти только об общем динамическом или музыкально-динамическом выделении одного из слогов слова, принимающего на себя ударение по семантическим или другим структурным мотивам. Многие современные языки с таким характером ударения обнаруживают на трех-сложных и многосложных словах, кроме главного ударения, еще одно или два-три второстепенных, менее четких, ударения, располагающихся ритмически, обычно через один слог (иногда через два слога) от главного ударения и друг от друга. Подобное ритмическое распределение главного и второстепенных ударений констатируется, например, в украинском, польском, чешском, словацком, серболужицком, болгарском, латышском, ирландском ⁴³, из неиндоевропейских — в финском, венгерском, грузинском и других языках ⁴⁴. Такое же распределение главного и второстепенных ударений в многосложных словах реконструируется для доисторического латинского языка ⁴⁵. Четкие рефлексy в виде различного качества сформировавшихся в определенных акцентуационных условиях на месте исчезнувших сонантов индоевропейских гласных указывают на то, что ритмическое распределение главного и второстепенных ударений в многосложных словах было свойственно и раннеиндоевропейскому языку ⁴⁶.

* Окончание; начало статьи см. в предыдущем номере.

⁴³ «Сучасна українська літературна мова. Фонетика», Київ, 1969, стр. 360—361; В. Б о г о р о д и ц к и й, Общий курс русской грамматики, 4-е изд., Казань, 1913, стр. 373—379; W. D o g o s z e w s k i, Podstawy gramatyki polskiej, 1, Warszawa, 1963, стр. 123; J. G e b a u e r, Historická mluvnice jazyka českého, I — Hlásokosloví, Praha, 1963, стр. 576—579; Ф р. Т р а в н и ч е к, Грамматика чешского литературного языка, I — Фонетика. Словообразование. Морфология, М., 1950, стр. 82; Е. Р а u l i n y, J. R u ž i č k a, J. S t o l c, Slovenská gramatika, Bratislava, 1968, стр. 59—60; Н. S e w s, Gramatika hornjoserbskeje řeči, 1 — Fonematika a morfologija, Budyšin, 1968, стр. 26; С т. С т о я н о в, Грамматика на българския книжовен език. Фонетика и морфология, София, 1964, стр. 71—72; «Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika», I — Fonētika un morfoloģija, Rīga, 1959, стр. 71; Г. Л ъ ю и с, Х. П е д е р с е н, Краткая сравнительная грамматика кельтских языков, стр. 101.

⁴⁴ «Грамматика финского языка. Фонетика и морфология», М.—Л., 1958, стр. 30—31; К. Е. М а й т и с к а я, Венгерский язык, I — Введение. Фонетика. Морфология, М., 1955, стр. 83; Б. Т. Р у д е н к о, Грамматика грузинского языка, М.—Л., 1940, стр. 24, и др.

⁴⁵ В. М. Л и н д с е й, Краткая историческая грамматика латинского языка, М., 1948, стр. 31.

⁴⁶ Аналогичное ритмическое чередование сильных и слабых слогов реконструируется для раннеиндоевропейского языка и Боргстремом, но у него речь идет не о чередовании ударных и безударных слогов, а о том, что каждый второй слог, начиная от конца слова, подвергался сикопированию (С. Н j. B o r g s t r e m, Thoughts....

Поскольку параллелизм *e* — *i* или *o* — *u* обычно может быть замечен только в рамках однокоренных слов одного и того же или родственных языков, он воспринимался исследователями до сих пор как результат перехода первоначального *e* в *i* или *i* в *e* и первоначального *o* в *u* или *u* в *o* при каких-либо условиях. Так, например, говоря о гласном *i* в дрвн. *sibul* «семь», дригл. *asbi^r* (<**biru*) «говорю», соответствующем гласному *e* в родственных словах других языков, и о гласном *u* в дригл. *guⁿ* (<**gunis*) «рана», соответствующем гласному *o* в других случаях, К. Бругман объясняет эти факты как результаты уподобления «средних» гласных *e*, *o* высоким гласным *i*, *u* следующих слогов⁴⁸. Аналогичное объяснение, со ссылкой на К. Бругмана, дает Ф. Зоммер: лат. *vitulus* «(годовалый) теленок» при *vetus* «старый», гр. *Fétos* «год», лат. *inuleus* «молодой олень», при гр. *ἔνυλος*⁴⁹. Многочисленные факты параллелизма *e* — *i* в древнегерманских языках обычно объясняются как явления перехода первоначального *e* в *i* перед следующими слогами с *i* или *u* и перехода первоначального *i* в *e* перед слогом с *a* (<*o*)⁵⁰. Иногда эти соотношения трактуются так, будто следующий слог с гласным среднего или низкого подъема (чаще всего *a*) препятствовал обычному для германских языков переходу *e* в *i*, между тем как слоги с гласными верхнего подъема *i*, *u* препятствовали обычному древнегерманскому переходу *u* в *o*⁵¹. О широком параллелизме *e* — *i*, *o* — *u* в кельтских языках как об обычном переходе *i* в *e* или *u* в *o*, кроме положения перед слогами с *i*, *u*, говорится в сравнительно-исторических исследованиях по этим языкам⁵². Но признавая рассматриваемые соотношения *e* — *i*, *o* — *u* результатами сравнительно позднего перехода одних первоначальных гласных в другие при способствующем или препятствующем этому процессу воздействию следующих слогов с определенным качеством гласных, невозможно объяснить причины параллельного спорадического проявления этого процесса в различных группах индоевропейских языков или в различных языках — членах этих групп и отсутствия его в других языковых группах или отдельных языках. Наблюдаемое положение может быть наиболее естественно объяснено лишь как отражение древнейших соотношений главного и второстепенных ударений на первоначальных силлабофонах, спорадически сохранившееся в одной части индоевропейских языков и сnivelировавшееся под воздействием различных факторов в других.

Как видно из приведенных примеров силлабофонно-акцентуационных схем, наряду с попарными объединениями силлабофонем, превращавшимися впоследствии в слоги с различными гласными полного образования типа *te*, *ti*, *to*, *tu*, *ta*, в составе формировавшихся первоначальных слов выступали и такие силлабофонемы, которые в указанные тесные сочетания с другими слогами в составе слова не объединялись. В зависимости от их конкретных позиций в рамках силлабофонно-акцентуационной схемы слова они могли быть и ударенными и безударными. Дальнейшая судьба их сложилась различно: одни из них (особенно безударные) потеряли свой гласный призвук и превратились в неслоговые согласные — шумные или сонорные, — присоединившиеся к концу предыдущего или к началу следующего слога; другие, — в частности сонорные *r*, *l*, *m*, *n*, — вобрали в себя гласный призвук и таким образом сохранили за собой слоговой характер, объединившись преимущественно с предыдущим шумным

⁴⁸ К. Бругманн, указ. соч., стр. 23С.

⁴⁹ F. Sommer, указ. соч., стр. 58. Ср. подобное объяснение лат. *siliqua* «стручок», *silex* «твердый камень, кремль» и др., там же, стр. 113.

⁵⁰ «Сравнительная грамматика германских языков», II, стр. 94—98, 103—106.

⁵¹ Э. Прокш, Сравнительная грамматика германских языков, М., 1954, стр. 96.

⁵² См.: Г. Льюис, Х. Педерсен, указ. соч., стр. 26—28.

согласным в один слог; третьи, — главным образом шумные, — могли присоединять к себе какой-либо гласный звук полного образования в качестве вторичного звукового компонента слова, укреплявшего положение такого согласного; наконец, четвертые, потеряв сопутствовавший им гласный призвук, сами выпадали из состава слова. Независимо от их последующей судьбы, такие силлабофонемы играли существенную роль в определении конкретной огласовки формировавшихся слогов с гласными полного образования. Оказываясь в положении между двумя парами силлабофоном типа *taʔa* или *taʔa*, такая непарная силлабофонема меняла одинаковый порядок распределения ударений в обеих парах на противоположный, так как после пары с ударением на первом слоге она принимала на себя следующее ударение, которое иначе пришлось бы на первый слог второй пары, а после пары с ударением на втором слоге она оставалась безударной, передавая ударение на начальный слог следующей пары (*taʔatataʔa*, но *taʔatataʔa*). При этом зависимость могла быть и обратной — распределение ударения на первой паре силлабофоном могло зависеть от ударности или безударности непарной силлабофонемы и от распределения ударения на следующей паре (*taʔatataʔa*, *taʔatataʔa*). Отсюда следует, что после превращения сочетаний типа *taʔa*, *taʔa* в новые слоги с гласными полного образования наличие непарных силлабофоном (в том числе и сонорных) между такими слогами должно было вести к формированию в двух смежных с ними слогах гласных с неодинаковой степенью открытости (*tetti*, *titte*, *tottu*, *tutto*, *tettu*, *tutte*, *totti*, *titto*). Такая же обратная зависимость распределения ударения на паре силлабофоном в начале слова от размещения ударения на следующих за ней слогах могла иметь место и в том случае, когда за парой силлабофоном следовало две или три непарных силлабофонемы, каждая из которых могла иметь на себе главное ударение (*taʔatataʔa*, *taʔatataʔa*, *taʔatataʔa*). Поэтому новый слог, образовавшийся из пары силлабофоном типа *taʔa* перед группой согласных, получавшихся из двух или нескольких непарных силлабофоном, мог развиваться в себе как гласный открытый (*tett*, *tott*), так и закрытый (*titt*, *tutt*) в зависимости от первоначальной ударности первой или второй из следовавших за ним силлабофоном. Впоследствии, однако, как уже упомянуто, могли иметь место случаи вторичного появления гласного полного образования в составе группы согласных или выпадение какого-нибудь из этих согласных.

Указанная обусловленность качества гласных в новых слогах находящимся между ними неслоговым согласным или следующей за ними группой неслоговых согласных убедительно подтверждается широко известными фактами ряда индоевропейских языков. В частности, случаи параллелизма открытых и закрытых гласных в однокоренных словах типа *titte*, *tutte* и т. д. отмечаются в латинском, германских, кельтских и других индоевропейских языках, где они истолковываются обычно как переход *e* в *i* или *o* в *u* перед следующим за этими гласными сочетанием носового и взрывного шумного согласных⁵³ или же как неосуществление перехода *u* > *o* перед таким сочетанием⁵⁴. Такой же параллелизм можно проследить и по материалам других индоевропейских языков, часть которых приведена выше в качестве отдельных примеров.

Парные сочетания первоначальных слогов, содержавшие ларингальную силлабофонему (типа *taʔa*), превращались в новые слоги с определенным гласным *a*, независимо от того, который из двух первоначальных

⁵³ W. Me yer-L ü b k e, указ. соч., стр. 15—20; M. N i e d e r m a n n, указ. соч., стр. 26—34, 40—49; «Сравнительная грамматика германских языков», II, стр. 94; Г. Л ю б о с, Х. П е д е р с е н, указ. соч., стр. 27.

⁵⁴ Э. П р о к о ш, указ. соч., стр. 96—97.

слов был ударенным ($tāHā > ta$, $tāHá > ta$). Поэтому рядом с парой первоначальных силлабофоне́м, превращавшихся в слог с *a*, могли находиться как пары силлабофоне́м с сонантами *j*, *ɟ*, превращавшиеся в новые слоги с открытыми гласными *e*, *o*, так и пары, развившие в себе впоследствии закрытые гласные *i*, *u* ($tājātāHā > tetā$, $tājātāHā > titā$, $tāHātājā > tâte$, $tāHātājā > tāti$). Свободное сочетание смежных слогов с *a* и с открытыми или закрытыми гласными *e*, *o*, *i*, *u*, а следовательно, и параллелизм таких слогов рядом со слогом с первоначальным *a* наблюдается и в исторически засвидетельствованных индоевропейских языках.

Ларингальная силлабофонема H (h , x , $'$) могла вступить и в сочетание с парой первоначальных слогов, содержавшей сонорную или другую ларингальную силлабофонеми. Такие тройные сочетания силлабофоном давали впоследствии новые слоги с долгими гласными $\bar{e}$, $\bar{i}$, $\bar{o}$, $\bar{u}$, $\bar{a}$ ($t\acute{a}h\acute{a}N\acute{a} > t\bar{e}$, $t\acute{a}i\acute{a}N\acute{a} > t\bar{i}$, $t\acute{a}o\acute{a}N\acute{a} > t\bar{o}$, $t\acute{a}u\acute{a}N\acute{a} > t\bar{u}$, $t\acute{a}N\acute{a}N\acute{a} > t\bar{a}$, $t\acute{a}N\acute{a}N\acute{a} > t\bar{a}$, $t\acute{a}N\acute{a}N\acute{a} > t\bar{a}$). В тех случаях, когда ларингальная силлабофонема предшествовала силлабофонеме с сонантом $\acute{i}$ или $\acute{u}$, результаты слияния оказывались разными в зависимости от характера ларингального. Слабо артикулируемый ларингальный (или ларингальные), исчезнувший еще до образования гласных e , i , o , u , вызывал в этой позиции, как и в других случаях, независимо от места ударения, возникновение гласного a , который затем соединялся с рефлексам следовавших за ним силлабофоном $\acute{i}a$, $\acute{u}a$ в дифтонги ai , au ($t\acute{a}h\acute{a}\acute{i}a > tai$, $t\acute{a}h\acute{a}\acute{u}a > tau$). Что же касается сильно артикулируемых ларингальных x , $'$, сохранявшихся еще и после образования гласных e , i , o , u , a , то их исчезновение в различных условиях ударения привело, по-видимому, к следующим результатам: $t\acute{a}x\acute{a}\acute{i}a$, $t\acute{a}'\acute{a}\acute{i}a > t\acute{a}xi$, $t\acute{a}'\acute{i} > t\bar{e}$ ($t\acute{a}i?$); $t\acute{a}x\acute{a}\acute{u}a$, $t\acute{a}'\acute{a}\acute{u}a > t\acute{a}xu$, $t\acute{a}'\acute{u} > t\bar{o}$ ($tau?$); $t\acute{a}x\acute{a}\acute{i}a$, $t\acute{a}'\acute{a}\acute{i}a > t\acute{a}xi$, $t\acute{a}'\acute{i} > t\bar{i}$; $t\acute{a}x\acute{a}\acute{u}a$, $t\acute{a}'\acute{a}\acute{u}a > t\acute{a}x\acute{u}$, $t\acute{a}'\acute{u} > t\bar{u}$; $t\acute{a}x\acute{a}\acute{i}a$, $t\acute{a}'\acute{a}\acute{i}a > t\acute{a}x\acute{e}$, $t\acute{a}'\acute{e} > t\bar{e}$; $t\acute{a}x\acute{a}\acute{u}a$, $t\acute{a}'\acute{a}\acute{u}a > t\acute{a}x\acute{o}$, $t\acute{a}'\acute{o} > t\bar{o}$. Таким образом, любой первоначальный долгий гласный мог возникать из различных по распределению ударения сочетаний силлабофоном, которые допускали смежные сочетания с сонорными силлабофонемами, превращавшиеся в новые слоги как с открытыми, так и с закрытыми гласными. Поэтому рядом с первоначальными долгими слогами в исторически засвидетельствованных индоевропейских языках оказываются в однокоренных словах как слоги с гласными открытыми (e , o), так и с закрытыми (i , u).

VI. Перечисленные закономерности распределения открытых и закрытых гласных в связи с распределением ударения на смежных с ними первоначальных силлабофонемах могут проявляться в виде параллелизма *e* — *i*, *o* — *u* не только в родственных (однокоренных) словах, но и в аффиксах, оформляющих разнокоренные слова. Это касается, в частности, огласовки слога нормального удвоения, оформляющего некоторые древние формы ряда индоевропейских глаголов. Названный вид удвоения заключается в повторении перед глагольным корнем начального согласного корня с каким-либо гласным, чаще всего *e* или *i* (перед корнем с *u* имеет место также удвоение с *u*: лат. *tutudī* «я толкнул», дринд. *tutude* «то же» и др.). Точные условия появления *e* или *i* в слоге удвоения до сих пор не установлены. Обычно считается, что огласовка *i* характерна для форм настоящего времени (например, гр. $\pi\acute{\iota}\tau\tau\lambda\eta\iota$ «наполняю», дринд. *pīparmi* «то же»), а огласовка *e* — для форм перфекта (гр. $\mu\acute{\epsilon}\mu\omicron\chi\alpha$ «стремлюсь», лат. *memini* «помню», вед. *matnāte* «они оба подумали»). Но от этого правила имеется целый ряд отклонений⁵⁵. Согласно другому мнению,

⁵⁵ См.: А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, стр. 196—199; 219—223, 287; П. Шантрэн, Историческая морфология греческого языка, М., 1953, стр. 155, 176, 189—190.

нормальное удвоение в индоевропейском первоначально везде имело огласовку *e*, которая впоследствии подверглась изменениям в результате ассимиляции к огласовке следующего корневого слога⁵⁶. Касаясь вопроса об огласовке удвоенных, Ф. де Соссюр писал. «*i* в *istḗmi* и в *píparti* задает загадку, которую мы не возьмемся разгадывать»⁵⁷. Между тем, общий обзор фактов приводит к заключению, что параллелизм *e* — *i* в слоге нормального удвоения был обусловлен с самого начала теми же акцентуационными факторами, которые лежат в основе аналогичного параллелизма во всех остальных случаях. Факты показывают, что огласовка *e* в удвоении чаще всего имеет место перед слогами с *e*, *o*, перед которыми огласовки *i*, *u* первоначально были невозможны. Ср.: гр. перф. βεβόηκα, βεβόημαι «я издал крик», γέγονα «я родился», δέδεκα «я связал», δέδεμαι: (мед.), δεδέηκα(ν) «нужно было», δεδέημαι «я нуждался», δεδόκημαι: «рассматриваю, считаю, кажусь», δεδοῖμαι «то же», δέδομαι «я дал», δέδορκα «вижу (увидел)», ἤθελον (<*eθélōn) «я захотел», ἤρωτηκα (<*eērōtēka) «я спросил», κελέειν «я приказал», κέκομι «я принес», κέκομιμαι: (медий), κέκοφα «я ударил», κέκομαι: (медий), κέκοσμηκα «я украсил», λέλεκται: «сказано» (медий), λελόγισμαι «я пересчитал», μεμέληκεν «я озабочен», μεμέλημαι: (медий), μεμένηκα «я остался, выдержал», μέμονα «я размыслил; стремлюсь», νενέμηκα «я присвоил, обладаю», νενέμημαι: (медий), νενόημαι «я замечен», πέπομφа «я послал, препроводил», πέπεμαι: (медий), πέπεμαι «я доведен до зрелости, испечен, сварен», πεπέτακα «я распростер», πεπέταμαι: (медий), πέπομαι «я вышил», πέπονθα (πέποζα) «я претерпел», πέπορδα, πεπότημαι «летаю», τέτεληκα «я окончил», τέτελεμαι: (медий), τέτοκα «я произвел, родил»; лат. перф. ēdī (<*eedai) «я съел», meminī (<*memenai) «помню», memordī (momordī) «я укусил», perulī (<*perelai) «я погнал, толкнул, ударил», rependī «я повесил, взвесил», peroscī (poroscī) «я попросил, потребовал», spondī (sporondī) «я торжественно обязался, ручился», tetendī «я натянул», tetinī (<*tetenai) «я взял, держал», tetulī (<*tetolai) «я понес, поднял», totondī «я постриг»; дринд. перф. āsa (<*ees-) «он был», dadārša (<*dedorška) «я увидел», cakāra «я сделал», jagāma «я пришел», jaghāna «я уларил», garāma «я остановил»; гот. перф. lailot «я оставил», saiso «я посеял», ирл. gegon «я ранил», *regege «он тянул»⁵⁸. Сюда же принадлежат и все случаи с гласными *e*, *o* в слоге удвоения перед слогом с дифтонгами *ei*, *eu*, *oi*, *ou* (о происхождении дифтонгов см. ниже). Ср. гр. перф. βεβούημαι «я захотел», δέδοικα «боюсь», εοικα (< FēFoika) «кажусь, похож», λέλοιπα «я оставил», λέλειπμαι: (медий), μέμειμαι «я смешался», νένεικα «я поплыл», πέπεικα «я убедил», πέπειραμαι «я испытан», πέπειμαι: (медий), πέποιδα «я повиновался», τέτεικα «я уплатил», πέπειμαι «я пощадил», πέφευγα «я убежал», κέχειρμαι «я покорен». Как уже отмечалось, перед слогами с закрытыми гласными *i*, *u* удвоение с огласовкой *e* (*o*) первоначально не могло иметь места. От этой закономерности в греческом языке засвидетельствованы отдельные отклонения. Большинство этих отклонений обнаруживается в поздних производных новообразованиях, возникших уже после того, как связь качества гласных с первоначальным распределением ударения в слове прекратилась. Ср.: δεδίδαχα «я учил», δεδίδαχμαι: (медий), образованные от формы с уже наличным удвоением διδάσκω «учу»; βεβιάμαι «я принужден» от глагола βιάζομαι «принуждаю», производного от βιά «сила, насилие»; δεδίωχα «я преследовал», δεδίωχμαι: (медий) от глагола δι-

⁵⁶ F. Sommer, указ. соч., стр. 547—548; В. М. Линдсей, указ. соч., стр. 93.

⁵⁷ Ф. де Соссюр, Труды по языкознанию, стр. 517.

⁵⁸ А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, стр. 221.

ωκω «преследую; прогоню», производного от διέμαι «спешу»; μεμίτημαι «я воспроизвел, воспроизведен» от глагола μιμέομαι «подражаю, воспроизвожу», производного от μίμος «подражание, воспроизведение; мим, актер»; μεμίσθω «я отдал взаймы» от глагола μισθόω «отдаю взаем; наймаю», производного от μισθός «мзда, вознаграждение»; νέμιμαι «я умыт» от глагола νίπτω «мою, умываю», образованного от νίω «то же»; πεπίασμαι «я накормлен» от глагола παίνω «кормлю, делаю тучным», производного от πῖαρ «жир», πῖον «жирный; плодородный»; πεφύλαχα «я стерегу», πεφύλαγμα (медий), от глагола φυλάττω «стерегу», образованного от φύλαξ «страж». Часть отклонений могла быть вызвана чередованием в родственных словах корневых *i*, *u* кратких с дифтонгами *ei*, *oi*, *eu*, *ou* (иногда с гласным *e*), или с *ī*, *ū* долгими, перед которыми закономерно выступало удвоение с огласовкой *e*. Ср.: βεβίωχα «я жил» от позднего новообразования βίωω «живу» при старом βέωμαι «буду жить»; μέμιγμα «я смешан» — μέμιγμα «то же»; νέμυμαι «я боднулся, укололся» от глагола νόσσω (νύττω) «бодать, прокалывать», сопоставляемого с νέωω «кивать, склоняться»; πεπίθειν (инфинитив аориста) «убедить» — παίδω «убеждаю», πέπεισμαι (перф. медия) «я убежден»; πέπρωμαι (перф.) «я расспросил, разузнал» — περωμαι «расспрошу», περωμαι (πυνθάνομαι) «расспрашиваю»; τέτιςμαι «мне отомщено» — τέτεισμαι «то же»; τετύχηχα «я достиг» — фут. τεύσμαι «достигну», ион. плюсквамперф. ἐτετεύχεε «он достиг» (ср. ниже τιτόσχομαι); πεφιδέσθαι (инфинитив аориста) «пощадить» — φείδομαι «щажу», πέφεισμαι «я пощадил»; δέδυμαι (перф. пассива) «я погружен» — δέδυχα (перф. актива) «я погрузил»; τέδυχα (перф.) «я принес жертву», τέδυμαι (медий) от глагола δύνω «приношу жертву», сопоставляемого с δύνω «бурно устремляюсь, бушую, неистовствую»; πέφυα «я произвел на свет, взрастил» — πέφυχα «то же». Среди зафиксированного материала не поддается убедительному объяснению всего шесть случаев с гласным *e* в удвоении перед слогами с *i*, *u*: δεδύνημαι (перф.) «я смог», λέλυχα (перф.) «я развязал», λέλυμαι (медий), μεμίασμαι «я осквернен», πεπίεσμαι «я стиснут», τετίμηχα «я почитал», лат. *perigi* «я уколол». Так или иначе, это формы явно не первичные, и такой вывод делали уже другие языковеды. «Тот факт, — писал А. Мейе об огласовке удвоения, что формы с *i* и *u* наблюдаются в языках периферии, понуждает считать их архаизмами; в лат. *scicidi* „я рассек“ с полным удвоением сочетания *sc-* имеется *i*, тогда как в форме, несомненно более нового типа, с сокращенным консонантизмом *sescidi*, как и в греческих формах, гласная *e*. Если в греческом, а равно в тохарском, тип с *e* получил общее применение, то это потому, что он стал характеризовать перфект»⁵⁹.

В языках, сохранивших глагольное удвоение, огласовки *i*, *u* в глагольных корнях встречаются редко. Поэтому и примеров с огласовками *i*, *u* в удвоении, закономерно проявляющимися перед такими корневыми слогами, можно привести немного. Сюда принадлежат, в частности, гр. μιμίω «ржу» при арм. *mayet* «блею», дринд. *tāyab* «конь»; πιπίω «пою (поить)», каузатив от πίω «пью»; τιτόσχομαι «мечу, целюсь; устраиваю» от основы τεύχ-, τυύχα-; лат. *didici* «я научился», перф. от *disco* «учусь»; *cisiggi* «я побежал» от *cirgo* «бегу»; *pirigi* «я уколол» от *pungo* «колю»; *tutudi* «я толкнул» от *tundo* «бью, ударяю»; дринд. *ūcūb* (<**u-ucub*) «они сказали» от *uac* «говорить»; *mutuda* «он обрадовался» от *mid* «радоваться»; *susuva* «он родил» от *sū* «рождать»; *tutudé* «я толкнул» от *tud* «ударять». В соответствии с установленной закономерностью, слоги удвоения с огласовками *i*, *u* перед корневыми слогами с *e*, *o* в принципе не выступают.

⁵⁹ А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, стр. 198.

Кажущиеся отклонения в формах мн. числа гр. τίθεμεν «кладем», δίδομεν «даем», ἵσμεν «пошляем» являются результатами замены более ранних форм *τιθήμεν, *διδόμεν, *ἱσμεν⁶⁰.

Что касается других огласовок корневого слога — нулевой (или любой огласовки корня, начинающегося с двух или трех согласных), огласовки *a* и любой долгой гласной, — то они закономерно допускают перед собой удвоение как с *e*, так и с *i* (*u*). Особенно часто обе фонетические разновидности удвоения встречаются перед невокализированными начальными согласными корня (восходящими к первоначальным непарным силлабофонамам). Поскольку значительная часть таких случаев приходится на нулевую ступень огласовки корня, характерную для удвоенных основ настоящего времени⁶¹, удвоение с гласным *i*, первоначально невозможное перед корнем с полной ступенью гласных *e*, *o*, в греческом языке закрепилось почти исключительно за основами настоящего времени. Ср.: гр. βιβράσκω «поедаю», γίγναμαι «рождаюсь», γινώσκω «узнаю», (ἀπο)διδράσκω «убегаю», διζήμαι (<*di-dīa-) «ищу», ἵζω (<*si-sdō) «сижу», ἵστημι «ставлю», ἰλάσσομαι (<*si-slō-sko-) «умилостивляю», ἴλαμαι «то же», ἰζω (<*si-sghō) «держу», κίχρησκω «зову», κίχρημι «даю в долг», μινήσκω «напоминаю», μένω «креню стою, остаюсь», πίμπλημι «наполняю», πίμπρημι (πίμπρώ) «воспламеняю», πτρώσκω «продаю», πτώω «падаю», τίκω (<*titō) «рождаю», τίτρημι «растираю, просверливаю», τιτρώσκω «раню», лат. gigno «рождаю», sīdo (<*sisdō) «сижу», sisto «стою», авест. hi-stāmi «то же», дринд. jīghrati «пахнет», ti-śthāmi «стою», при гр. перф. βέβληκα «я бросил», βέβληται «он поражен», γέγραφα «я написал», γέγραπται «это написано», δέδηκα «он укрощен», (ἀπο)δέδρακα «я убежал», κέκληκα «я позвал», κέκληκα «я устал», κέκτημαι «я обладаю», τέτνυμαι (перф. мед.) «я задушен», τέτροφα «я питал, воспитал», лат. перф. sescidi «я рассек», дринд. перф. jagrāha (jagrha) «я схватил», tamnāte «они оба подумали», tashimā «мы встали», saścuh «они последовали», наст. вр. sāscati «следует» и др. В целом перфектных основ, содержащих удвоение с *e*, в греческом языке значительно больше, чем основ настоящего времени с удвоением на *i*. В других индоевропейских языках такого последовательного перераспределения огласовок удвоения по временным формам не произошло, и в них еще отчетливо прослеживаются первоначальные звуковые закономерности. Ср. перфектные формы гр. δέιδμεν (<*deidμεν) «боимся» — дринд. didvēša «я возненавидел», гр. κέκλιμαι «я склонился» — дринд. śiśriye «то же», pipriye «он обрадовался», dudrāva «он поспешил», śucrāva «он услышал», ср.-валл. ciglen «то же».

Обычны, хотя и менее многочисленны, в одинаковой степени закономерные случаи с удвоением на *i* в основах настоящего времени и с удвоением на *e* в основах перфекта перед корневым слогом с *a* (ср. гр. διδάσκω «обучаю» — τέτακα «я натянул»). Поскольку для решения вопроса о генезисе вокализма эти случаи пока что безразличны, они здесь опускаются. В древнеиндийском формы перфекта с корневым *au* (>*o*) могут получать удвоение с гласным *u*: bubōdha (<*bu-baudha) «он заметил», tutoda «он толкнул».

Почти в такой же степени обычны и закономерны случаи с удвоением на *i* и на *e* перед корневым слогом с любой долгой гласной (ср. гр. διδμή «связываю», διδοίμι «даю», βέβηκα «я пошел», δέδωκα «я дал», δέδωκα «я погрузился», πέφωκα «я произвел на свет», дринд. jīgāmi «иду», babhūva «я сделался» и т. д.). Для решения рассматриваемого вопроса на данном этапе эти случаи также малопоказательны.

⁶⁰ См.: H. Hirt, указ. соч., стр. 200.

⁶¹ Ср.: J. S a f a r e w i c z, Zarys gramatyki historycznej języka łacińskiego, Warszawa, 1953, стр. 209—210.

По-видимому, ритмический закон распределения ударения на первоначальных силлабофонах сохранял свое действие в отдельных говорах индоевропейского праязыка уже и после слияния парных силлабофонов в новые слоги с качественно определенными гласными звуками. Об этом свидетельствуют особенности огласовки слога удвоения в древнеиндийском аористе, представляющие вместе с тем еще одно убедительное подтверждение описываемой здесь закономерности. В большинстве случаев древнеиндийский редуцированный аорист имеет в удвоении гласный *i*, реже *u*. В позиции перед корневым слогом, начинающимся с невокализованной согласной (в том числе и со следующим за ней слогаобразующим *r*), гласные *i*, *u* в удвоении остаются краткими: *āśiśvitat* (*śvit* - «блестеть»), *āśisyat* (*syand-* «течь»), *āśiśret* (*śri-* «направляться»), *āśiśnat* (*śnath-* «пронзать»), *adidyutat* (*dyut-* «бросать, метать»), *jihvaras* (*hvr-*, *hru-* «сбитый с пути»), *pīprāyat* (*pri-* «радовать»), *siśvap* (*svap-* «спать»), *jigrtā* (*gir-* «глотать»), *didhrta* (*dhar-* «держат»), *ācukrudhat* (*krudh-* «сердиться»), *acucyavīt* (*cyu-* «двигаться»), *adudrot* (*dru-* «бежать»), (*a*)*susrot* (*sru-* «струиться») и др. Но в большинстве форм редуцированного аориста, вопреки установленной здесь закономерности, удвоения с огласовками *i*, *u* по не известным пока причинам оказались в положении перед корневыми слогами с гласным *a*, отражающим чаще всего не *e*, *o*. Во всех этих случаях гласные *i*, *u* в удвоении получили долготу. Ср.: *ājījanat* (*jan-* «родиться»), *ājigar* (*gar-* «пробуждаться»), *ājigar* (*gir-* «глотать»), *āitape* (*tap-* «греть, мучить»), *adidharat* (*dhar-* «держат»), *apīpatat* (*pat-* «летать»), *apīparan* (*par-* «перевозить»), *ābībhayanta* (*bhī-* «бояться»), *amīmet* (*mā-* «реветь, блеять»), *āviramat* (*ram-* «успокаиваться»), *avīvaśat* (*vaś-* «желать»), *jīhipas* (*hā-* «оставлять»), *didhar* (*dhar-* «держат»), *nīnaśas* (*naś-* «теряться, исчезать»), *pīparat* (*par-* «наполнять»), *bībhīśathas* (*bhī-* «бояться»), *mīmayat* (*mī-* «менять»), *sīśadhas* (*sādh-* «достигать цели»), *āsūśubham* (*śumbh-* «блестеть»), *anūnot* (*nu-* «реветь, кричать»), *arūrot* (*pū-* «очищать»), *abūbudhat* (*budh-* «пробуждаться»), *tūtōt* (*tu-* «быть сильным»), *dūdhot* (*dhu-* «трясти»), *pūpīrantu* (*par-* «наполнять»), *yūyot* (*yu-* «удерживать») ⁶². Связь этого удлинения с первоначальной закономерностью ритмического распределения ударения совершенно очевидна. Оказавшись в не свойственной им позиции перед слогами с *e*, *o*, сохранявшими еще в произношении на своей начальной части (первой море) след старого ударения, гласные *i*, *u*, обнаруживавшие след такого ударения на своей конечной части (второй море), развивали в себе после этой части дополнительную безударную мору звучания, закономерно отделявшую друг от друга ударные вершины двух смежных слогов.

Аналогичное рассмотренному позиционное удлинение исконно кратких гласных *i*, *u*, до сих пор по-разному объясняемое, произошло на ранних этапах развития индоевропейских языков и в ряде других случаев ⁶³.

VII. Изложенное понимание генезиса индоевропейского вокализма открывает возможность принципиально нового решения вопроса о происхождении качественного чередования гласных *e* (*i*): *o* (*u*) в индоевропейских языках. Неудовлетворительность всех прежних попыток исторического объяснения качественного чередования *e* : *o* продемонстрирована в недавно опубликованной статье Й. Хилмарссона ⁶⁴. Сам автор объясняет чередование гласных *e* : *o*, существование которых предполагается уже в период

⁶² См.: Т. Я. Елизаренкова, Аорист в «Ригведе», М., 1960, стр. 111—112.

⁶³ См.: J. Kurylowicz, L'apophonie en indo-européen, стр. 125—127. Ср.: E. Benveniste, Le redoublement au parfait indo-iranien, сб. «Symbolae linguisticae in honorem Georgii Kurylowicz», Wrocław — Warszawa — Kraków, 1965, стр. 25—33.

⁶⁴ J. Hilmarsson, On qualitative apophony in Indo-European, «Norwegian journal of linguistics», 31, Oslo, 1977, стр. 174—183.

до возникновения этого чередования, как результат «реинтерпретации» нулевой ступени гласного *e* в условиях количественных чередований *e*:нуль, *o*:нуль. При этом автору приходится иметь дело с рядом трудностей, обычных и при других подобных объяснениях.

В свете изложенного понимания генезиса индоевропейского вокализма вопрос о происхождении чередования гласных *e* (*i*) : *o* (*u*) в индоевропейских языках необходимо решать в рамках общей теории индоевропейской инфиксации, разработка которой в последнее время значительно продвинулась благодаря опубликованию монографической работы Г. Карстина⁶⁵. В этой работе получила убедительное обоснование давно уже назревшая мысль о том, что наряду с известным инфиксом *-n-* в индоевропейском имелись и другие инфиксы. В их роли выступали, в частности, все сонанты — *r*, *l*, *m*, *n*, *i*, *u*, а также *s* и какой-то не получивший точного определения согласный «*T*», скорее всего ларингальный. В отличие от Карстина, считавшего что инфиксы включались в состав слова уже в период существования качественно различных гласных, следует принять, что процесс инфиксации развивался еще в период существования силлабофонема, лишенных качественно определенных гласных, на таком этапе развития языка, когда формирующиеся слова еще не составляли неразрывного структурного единства, а легко допускали перестановки, пополнения и замены первичных слогов в любой своей части. Так, например, наряду с первичным словом **palā*, сохранившимся в индоевропейском корне с нулевой огласовкой **pt-* (ср. гр. πῆ-πα-μαι «я распростер»), существовал его осложненный вариант **palata*, отраженный в нулевой ступени корня ие. **pēt-* (ср. гр. πλατός «широкий; плоский», дринд. *pruh* «широкий»); от простейшего слова **pasā*, отраженного в ие. **ps-*, **bhs-* (ср. гр. φύχω «дую», дринд. *pnu-* «дыхание», родственные псл. *raznōti*, *za-pazъ*, дринд. *bhas-* «дуть; дышать»), было образовано путем первоначальной инфиксации слово **paḡasā*, сохранившееся в ие. **pṛs-* (ср. псл. *pṛstъ* «пыль», дринд. *pṛsāp* «пятнистый, пестрый», родственные псл. **porxъ* «порох, пыль», лтш. *pārsla* «снежинка; клочок» и др.). Одно и то же первичное слово в различных случаях могло осложняться различными инфиксами. Так, например, первичное слово **kasā*, сохранившееся в нулевой ступени корня ие. **ks-* (ср. гр. ξέω «строгаю, обтесываю», ξαίνω «чешу; молочу, бью», ξοίς «резец»), в различных случаях осложнялось инфиксами *ga*, *la*, *da*, в результате чего возникали структурные варианты этого слова **kaḡasā* (ие. **krs-*, представленное, по-видимому, в псл. **kṛza* «кроха»), **kaḡasā* (ие. **kes-/kis-*, отраженное в псл. *česati*, гр. κάζω < **kesa-* «раскалываю»), **kaḡasā* (ие. **kos-/kus-*, представленное в псл. *kosa*, лтш. *kass* «чесотка», арм. *kos* «короста»). Как наиболее активные элементы звукового состава, сонанты *i* и *u* могли использоваться в роли инфиксов особенно часто, образуя параллельные ряды близких по значению осложненных слов типа **gaḡasā*: **gaḡasā* (ср. ие. **gegh-* «ветвь; кол; куст»: **ḡogh-* «то же»), **gaḡasā*: **gaḡasā* (ср. ие. **ghedh-* «соединять, быть тесно связанным; подходить друг другу»: **ghodh-* «то же»), **daḡasā*: **daḡasā* (ср. ие. **del-* «раскалывать; вырезать»: **dol-* «то же»), **daḡasā*: **daḡasā* (ср. ие. **dem-* «строить»: **dom-* «дом») и т. д. При этом не обязательно в каждом отдельном случае обе сонорные силлабофонеми должны были появиться в обоих вариантах слова как инфиксы: в одном из вариантов, например, в **daḡasā*, внутренняя сонорная силлабофонема могла существовать с самого начала образования этого слова (даже еще до присоединения к нему конечной силлабофонеми, в данном случае *ma*), между тем как в дру-

⁶⁵ H. Karstien, *Infixe im Indogermanischen*, Heidelberg, 1971.

гом варианте параллельная внутренняя сонорная силлабофонема (в данном случае *ja*) могла просто заменить собой исконный внутренний элемент слова, превратившись таким образом в инфикс и придав тем самым другому, заменяемому, элементу тоже характер инфикса.

По-видимому, инфиксация осуществлялась при различном размещении ударения на силлабофонемах первоначального слова. Возможно, однако, что инфикс, как новый и в какой-то степени определяющий компонент слова, чаще принимал на себя главное ударение (*tála* — *tajáta*, *tačáta*). Поэтому на этапе образования определенных гласных *e*, *i*, *o*, и чередование гласных *e: o* как рефлексов двух инфиксов *ja* и *ča* не могло быть более обычным, чем чередование гласных *i: u*. Наряду с этим возможны были и чередования *e: u*, *o: i* (из *ája*: *áča*, *áča*: *ája*), отражавшие различное распределение ударения на неодинаковых инфиксах. Остатки таких чередований сохранились в индоевропейских языках до настоящего времени. Ср. усилительные частицы лит. *-ga: -ge: -gi: -gu*, дейктические частицы гр.-вз: *-vi: -vo*; гр. τέρας «конец, край, предел», лат. *termen* «межевой камень, граница», дринд. *tarati* «перевозит; переезжает; преодолевает»: *tirati* «то же»: *turati* «то же»; гр. βρέχος (вид гусеницы): βρέχοι: βρέχος «то же»; прѣмчов «пень, ствол»: прѣмчѣс «нижняя часть ствола»; дрвн. *belih-ha* «птица лысуха»: лат. *fulica* «то же»; псл. *xoditi: šědъ* (<*xǵd-); *gromъ: grǵmēti*; *zvonъ: zvonēti*; *komarъ: čъmelъ*; псл. *gora*: лит. *giria* «лес»; стсл. *сколька* «ракушка»: лат. *siliqua* (<*sciliqua) «стручок»; гр. πόλις «город»: дринд. *purih* «то же»: лит. *pilis* «крепость, замок», лтш. *pils* «то же»; гр. κομέω «забочусь», дринд. *šamyati* «трудится»: *šimyati* «то же»; гр. κόνις «пыль, прах»: лат. *cinis* «пепел»; лтш. *dibens* «дно»: диалектн. *dubens* «то же»; *tūst* «темнеть»: *tumst* «то же»; лат. *ignis* «огонь»: лит. *ugnis* «то же»; лат. *tibi* «тебе»: гр. τί «ты»; лат. *ibi* «там»: *ubi* «где»; *inde* «оттуда»; *unde* «откуда» и др. Столь же обычными были и чередования долгих гласных *ē/ī* (*ájaHā/ájaHā*): *ō/ū* (*áčaHā/áčaHā*). Пережитки их еще наблюдаются в таких примерах, как лит. *gėda* «стыд, позор», прус. *gidan* (вин. п.) «то же»: псл. *gadъ* (<*gōd-) «гад», *gydъ* (<*gūd-) «гадость» и др. Постепенно, однако, на передний план выдвинулось чередование *e: o*, за членами которого стали закрепляться некоторые общие, категориальные оттенки лингвистических значений (например, значения глагольное и именное, в рамках глагольной семантики — значения настоящего и прошедшего времени или активности и каузативности). Это послужило основой для тенденций к аналогическим образованиям форм с корневым *o* при формах с *e* и наоборот.

Отражением древнейших процессов инфиксации является и количественное чередование индоевропейских гласных. Выше уже говорилось о роли силлабофонеи *ha*, *ča*, *ʔa* в образовании дифтонгов *ai*, *au*. Но эти силлабофонемы могли оказываться в составе первичных корней, содержащих звуко сочетания *ta* и *ja* или *ča*, и не в роли исконного компонента, а в роли дополнительно введенного инфикса. В таких случаях возникали, в частности, звуковые сегменты типа *taħája*, *taħáča* (или *tajáħa*, *tačáħa*), которые в период исчезновения *h*, подобно сегментам с исконным (не инфигированным) *h*, превращались в *taja*, *tača* (или *taja*, *tača*), а в период исчезновения интервокальных *j*, *č* становились такими же дифтонгическими или долгими слогами *tai*, *tau*, *tē*, *tō*, как и соответствующие им первоначальные (не инфигированные) трехсиллабофонемные сочетания. Но, в отличие от них, дифтонгические и долгие слоги, получавшиеся из инфигированных структур, вступали в количественные чередования с теми краткими слогами, которые возникали из неинфигированных вариантов тех же основ: *tai* (<*taħája*): *ti* (<*tajá*), *tē* (<*tajáħa*): *te* (<*taja*) и т. д. На более позднем этапе, при исчезновении ларингальных *x*, *ʔ*, выполнявших

роль инфиксов, возникали новые случаи чередований $\bar{e}:e$, $\bar{o}:o$ ($t\bar{e} < t\bar{a}x\bar{a}i\bar{a}$: $te < t\bar{a}i\bar{a}$, $t\bar{e} < t\bar{a}i\bar{a}x\bar{a}$: $te < t\bar{a}i\bar{a}$ и т. д.).

VIII. Наряду с сонантами $\bar{i}$, $\bar{u}$, во многом аналогичную роль в формировании звуковой структуры индоевропейского слова играли сонанты r , l , m , n . В период превращения звукосочетаний $\bar{a}i\bar{a}$, $\bar{a}u\bar{a}$ в e/i , o/u звукосочетания $\bar{a}r\bar{a}$, $\bar{a}l\bar{a}$, $\bar{a}m\bar{a}$, $\bar{a}n\bar{a}$ еще в основном сохраняли свое первоначальное звучание с ударением перед сонантом или после него. Когда после исчезновения последних ларингальных (x и $'$) в отдельных индоевропейских языках произошла окончательная редукция первоначального неопределенного гласного $\bar{a}$, звукосочетания $\bar{a}r\bar{a}$, $\bar{a}l\bar{a}$, $\bar{a}m\bar{a}$, $\bar{a}n\bar{a}$ либо превратились в слоговые r , l , m , n , либо были усилены при помощи одного из новых гласных — чаще всего a , u или i , нередко также e или o . При этом первоначальные различия в распределении ударения типа $\bar{a}r\bar{a}:\bar{a}r\bar{a}$ могли отразиться в различной рефлексации соответствующих старых звукосочетаний в отдельных индоевропейских языках (ср. гр. $\chi\rho\delta\iota\alpha$: $\chi\rho\delta\iota\eta$ и др.)⁶⁶. Подробное рассмотрение этих соотношений в рамках настоящей статьи не представляется возможным.

Некоторые факты указывают на то, что в составе первоначальных слов сонорные силлабофонемы нередко удваивались. Следы такого удвоения можно усмотреть в тех случаях, когда древнеиндийским рефлексам долгих слоговых сонантов соответствуют хеттские формы, не обнаруживающие в своем составе ларингальных, но отличающиеся необычной огласовкой сонанта (например, дринд. *dirghah* «длинный, долгий», *irgha* «шерсть» при хетт. *daluk-/da-lu-ga-*, *hulana-*).

Подобно силлабофонемам $\bar{r}\bar{a}$, $\bar{l}\bar{a}$, $\bar{m}\bar{a}$, $\bar{n}\bar{a}$ удвоению подвергались и силлабофонемы $\bar{i}\bar{a}$, $\bar{u}\bar{a}$, в результате чего возникали первичные звукосочетания типа $t\bar{i}\bar{i}\bar{a}$, $t\bar{a}\bar{a}\bar{a}$. В зависимости от способа размещения ударения каждое из этих звукосочетаний выступало в трех акцентуационных вариантах: $t\bar{i}\bar{i}\bar{a}$, $t\bar{i}\bar{i}\bar{a}$, $t\bar{i}\bar{i}\bar{a}$; $t\bar{a}\bar{a}\bar{a}$, $t\bar{a}\bar{a}\bar{a}$, $t\bar{a}\bar{a}\bar{a}$. После исчезновения сонантов $\bar{i}$ и $\bar{u}$ эти звукосочетания закономерно превратились в слоги с дифтонгами и монофтонгами — соответственно, ei , ei , i , ou , ou , $\bar{u}$. Впоследствии, после появления долгих гласных (в том числе $\bar{i}$, $\bar{u}$) из сочетаний кратких гласных с поздно исчезавшими ларингальными силлабофонемами $x\bar{a}$ и $'\bar{a}$, гласные $\bar{i}$, $\bar{u}$, возникшие из удвоенных силлабофонем $\bar{i}\bar{i}\bar{a}$, $\bar{u}\bar{u}\bar{a}$, в основном сократились, однако в части случаев их первоначальная долгота сохранялась и позже⁶⁷.

Так возникли индоевропейские дифтонги ei , ou , и именно таким образом, в соответствии с общей системой рассматриваемых фактов, может быть объяснено их чередование с монофтонгами $i(\bar{i})$, и $u(\bar{u})$. Общераспространенная теория о зависимости этого чередования от размещения ударения на новых слогах с фонологически различающимися гласными и о редуцированном характере монофтонгов i , u , участвующих в таком чередовании, создана, по существу, ad hoc и не согласуется с большим количеством фактов⁶⁸.

Различия в происхождении дифтонгов ei , ou как результатов удвоения силлабофонем $\bar{i}\bar{a}$, $\bar{u}\bar{a}$ и дифтонгов ai , au , возникших вследствие исчезновения слабого ларингального h в первоначальных звукосочетаниях $\bar{a}h\bar{a}\bar{i}\bar{a}$, $\bar{a}h\bar{a}\bar{u}\bar{a}$, обусловило неодинаковую роль этих дифтонгов в системе индоевропейских чередований. Если дифтонги ei , ou совершенно естественно чередуются с i , u как рефлексy двух акцентуационных вариантов одних

⁶⁶ См.: К. Brugmann, указ. соч., стр. 134; Н. Hirt, указ. соч., стр. 92—93; Р. Kretschmer, указ. соч., стр. 391.

⁶⁷ См.: Н. Hirt, указ. соч., стр. 95—96; Н. Güntert, указ. соч., стр. 114.

⁶⁸ Ср.: К. Brugmann, указ. соч., стр. 139; J. Kurylowicz, *L'apophonie en indo-européen*, стр. 97; Р. Kretschmer, указ. соч., стр. 366, и др.

и тех же древних звуко сочетаний, то все три прежних акцентуационных варианта звуко сочетаний $\lambda\lambda\lambda\lambda$ или $\lambda\lambda\lambda\lambda$ совпали в одной и той же звуковой форме дифтонга ai или au , и поэтому чередование дифтонгов ai , au , подобное чередованию ei , ou с i , u , оказалось в принципе невозможным. Отсутствие такого чередования в индоевропейском языковом материале уже констатировалось⁶⁹. Единичные случаи отмечаемого все-таки параллелизма $ai:i$ и $au:u$ в однокоренных словах (гр. $\alpha\iota\delta\omega$ «жгу»: $\iota\delta\alpha\rho\acute{o}s$ «чистый, ясный»; гр. $\alpha\upsilon\delta\acute{o}s$ «сухой»: дринд. $\acute{s}us\text{-}ka$ «то же») могут быть результатами только что упомянутой древней инфиксации силлабофонемы $\lambda\lambda$ в состав корневых звуко сочетаний $\lambda\lambda\lambda\lambda$ ($\lambda\lambda\lambda\lambda$), $\lambda\lambda\lambda\lambda$ ($\lambda\lambda\lambda\lambda$) и т. п. Приводимые Г. Хиртом другие подобные примеры (лат. $caedit$ «бьет»: дринд. $khid\acute{a}ti$ «толкает; давит», гр. $\alpha\iota\nu\omega\mu\alpha\iota$ «хватаю, беру»: дринд. $inoti$ «посылает», гр. $\alpha\iota\nu\acute{o}s$ «страшный»: дринд. $in\acute{a}h$ «сильный», гр. $\kappa\alpha\upsilon\lambda\acute{o}s$ «стебель»: гот. $us\text{-}hulon$ «выдалбливать»⁷⁰ представляют собой ошибочные или весьма ненадежные сопоставления⁷¹.

Значительную роль в становлении количественных и качественных чередований, а также в образовании долготных дифтонгов сыграло исчезновение поздно сохранявшихся ларингальных x и $'$, которые в части случаев тоже выступали в качестве инфиксов. Выше уже говорилось, что, исчезая в положении между определенными гласными (всегда однородными по степени открытости), ларингальные x , $'$ создавали возможность слияния двух одинаковых кратких гласных в один долгий гласный соответствующего качества ($\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda > \acute{t}\acute{e}x\acute{e} > \acute{t}\acute{e}$; $\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda > \acute{t}\acute{e}'\acute{e} > \acute{t}\acute{e}$; $\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda > \acute{t}\acute{o}x\acute{o} > \acute{t}\acute{o}$; $\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda > \acute{t}\acute{i}x\acute{i} > \acute{t}\acute{i}$, $\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda\lambda > \acute{t}\acute{u}'\acute{u} > \acute{t}\acute{u}$ и т. д.). Но в тех случаях, когда силлабофонемы $\lambda\lambda$, λ включались в состав первоначального слова в качестве инфикса, наряду с инфигируемыми вариантами корня могли сохраняться и неинфигируемые варианты типа $tei < \lambda\lambda\lambda\lambda\lambda$, $ti < \lambda\lambda\lambda\lambda\lambda$, $tou < \lambda\lambda\lambda\lambda\lambda$, $tu < \lambda\lambda\lambda\lambda\lambda$ и т. д. (ср. лат. $tango$ — $tactum$ и др. с инфиксом $-n$). Это привело к возникновению параллелизма огласовок $ei:i$, $\acute{e}:\acute{e}$ в одних и тех же корнях, причем взаимовлияние огласовок ei и $\acute{e}$ вызывало в отдельных случаях появление вторичных огласовок $\acute{e}i$ и e . Так возник в различных индоевропейских языках параллелизм звуковых вариантов корней типа $*dh\acute{e}:-*dh\acute{i}:-*dh\acute{e}i:-*dh\acute{e}i-$ «сосать», $*s\acute{e}:-*s\acute{i}:-*s\acute{e}i:-*s\acute{e}i-$ «вязать», $*s\acute{e}:-*s\acute{i}:-*s\acute{e}i:-*s\acute{e}i-$ «отсылать, бросать, сеять», $*s\acute{u}\acute{e}:-*s\acute{u}\acute{e}i:-*s\acute{u}\acute{e}i-$ «гнуть; крутить; размахивать», $*g\acute{e}:-*g\acute{i}:-*g\acute{e}i-$ «петь; кричать», $*g\acute{h}\acute{e}:-*g\acute{h}\acute{i}:-*g\acute{h}\acute{e}i-$ «зевать; зиять», $*p\acute{e}:-*p\acute{i}:-*p\acute{e}i-$ «причинять боль; повреждать», $*s\acute{e}dh:-*s\acute{i}dh:-*s\acute{e}idh-$ «идти прямо к цели», $*r\acute{e}:-*r\acute{e}i:-*r\acute{e}i-$ «кричать; рычать», $*g\acute{h}\acute{e}:-*g\acute{h}\acute{e}i-$ «быть пустым, отсутствовать», $*k\acute{e}:-*k\acute{e}i-$ «острить, точить», $*l\acute{e}:-*l\acute{e}i-$ «хотеть», $*l\acute{e}:-*l\acute{e}i-$ «предоставлять; приобретать», $*a\acute{u}\acute{e}(-*g\acute{e}):-*a\acute{u}\acute{e}i-$ «веять, дуть»; $*g\acute{u}\acute{o}dh:-*g\acute{u}\acute{o}dh:-*g\acute{u}\acute{o}dh$ «гадить». $*m\acute{o}l:-*m\acute{u}l:-*m\acute{o}ul$ «корень, растение», $*m\acute{o}r:-*m\acute{u}r:-*m\acute{o}ur$ «тупоумный», $*tr\acute{o}:-*tr\acute{u}:-*tr\acute{o}u$ «ранить; повреждать; сверлить», $*d\acute{o}:-*d\acute{o}u-$ «давать», $*\acute{c}\acute{i}\text{-}om:-*\acute{c}\acute{i}\text{-}om$ «яйцо» и др. Обычно параллелизм огласовок $\acute{e}i:\acute{e}$, $\acute{e}i:\acute{e}$ в однокоренных словах принято объяснять как результат древнего оглашения второго компонента долготного дифтонга⁷². Такое объяснение представляется более простым, однако оно не отражает действительного соотношения соответствующих огласовок на этапе возникновения долготных дифтонгов.

⁶⁹ См.: L. Meyer, *Vergleichende Grammatik der griechischen und lateinischen Sprache*, I, 2-te Aufl., Berlin, 1882—1884, стр. 296; A. Meyer, *Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков*, стр. 174, 185.

⁷⁰ Н. Нирт, указ. соч., стр. 25.

⁷¹ Ср.: H. Frisk, *Griechisches etymologisches Wörterbuch*, I, 2-te Aufl., Heidelberg, 1973, стр. 41, 803; M. Mayrhofer, *Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen*, I, Heidelberg, 1956, стр. 87, 309, и др.

⁷² K. Brugmann, указ. соч., стр. 88; Н. Нирт, указ. соч., стр. 54—55.

Рассматривая случаи паралелизма ие. $\bar{o}:\bar{u}$ и, А. Мартине⁷³ специально подчеркивает неапофонический характер такого $\bar{o}$, т. е. ту его особенность, что оно не чередуется с $\bar{e}$ ⁷³. Важность этой характеристики заключается в том, что она определяет способность исконого $\bar{o}$ выделять из себя элемент *и* как органическое свойство этого долгого гласного, отсутствующее у $\bar{o}$, возникавшего вторично в качестве члена апофонического ряда $\bar{e}:\bar{o}$ под действием аналогии. (Это, конечно, не означает, что вариант *би* невозможен у такого $\bar{o}$, которое с самого начала состояло в апофонической связи с $\bar{e}$). Пытаясь объяснить рассматриваемое явление при помощи ларингальной гипотезы, А. Мартине квалифицирует элемент *и*, «выделяемый» гласным $\bar{o}$, как рефлекс реконструированного ларингального, хотя тут же вынужден признать, что для такого «ларингального» вовсе не обязательно предполагать ларингальную артикуляцию и что одним из его фонических компонентов следует признать лабиовелярную артикуляцию⁷⁴. Совершенно очевидно, что в действительности здесь должна идти речь об обычном сонанте $\bar{u}$, принимавшем участие в образовании исконого $\bar{o}$ и затем появившемся рядом с $\bar{o}$ в результате только что упомянутого взаимодействия огласовок $\bar{o}$ (< $\bar{a}\bar{z}\bar{a}\bar{z}\bar{a}$, $\bar{a}\bar{z}\bar{a}'\bar{a}\bar{z}\bar{a}$) и *ou* (< $\bar{a}\bar{z}\bar{a}\bar{z}\bar{a}$), к противопоставлению которых свелось древнее различие инфигированного и неинфигированного вариантов одних и те же корней.

Изложенное здесь понимание генезиса индоевропейского вокализма подлежит дальнейшим уточнениям, дополнениям и детализации.

⁷³ A. Martinet, Non-apophonic o-vocalism in Indo-European.

⁷⁴ Там же, стр. 256.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

КРИВОНОСОВ А. Т.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СООТНОШЕНИЯ ЯЗЫКА И ЛОГИКИ

1. Каждая из соотносимых наук — языкознание и логика — имеет свой собственный объект исследования. Области интересов этих наук недопустимо смешивать друг с другом, как это имело место в языкознании ранее, когда идеи «универсальной» грамматики, основанной на закономерностях одного языка (латинского), довели над чисто языковыми исследованиями. Однако возможно и их объединение как смежных наук при четком разграничении целей, задач и возможностей каждой из них.

Представители психологического направления в истории языкознания А. А. Потебня и Х. Штейнталь в свое время писали о несовместимости языковых и логических категорий¹. В наше время некоторые ученые также считают, что стремление сопоставить языковые и логические категории и найти соответствующие способы выражения «логических форм мышления» в «языковых формах выражения» представляется бесперспективным для решения проблемы соотношения языка и мышления, ибо при этом якобы сопоставляются категории одного (логического) языка с категориями другого (естественного) языка². Как показал В. З. Панфилов, критика психологистами логического направления выявила не отсутствие корреляций между структурой мышления и грамматическим строем языка, а лишь ошибочность попыток найти прямое и однозначное соответствие в мышлении всем языковым явлениям³.

Формы мышления, изучаемые логикой, возникли на базе анализа предложений естественного языка. Связь логических категорий и средств их выражения в языке проявляется в том, что 1) логические категории не существуют изолированно от языка, вне его просодического, лексического и грамматического оформления, 2) система просодических, лексических и грамматических категорий в языке полностью покрывает потребности логики для выражения любых логических категорий⁴.

¹ См.: А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, I—II, М., 1958, стр. 70; Н. Steintal, Grammatik, Logik und Psychologie, Berlin, 1855, стр. 221—222.

² См.: С. А. Васильев, Философский анализ гипотезы лингвистической относительности, Киев, 1974, стр. 134.

³ См. В. З. Панфилов, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971, стр. 5. Ср. также: «Мысль выражается средствами языка в речи во всем ее составе, в том числе и в ее структуре... Очевидно, путей восприятия речи человек может знать также, какую форму имеют сообщаемые в речи мысли. Следовательно, должны существовать языковые средства выражения логических форм мыслей» (А. С. Ахманов, Логические формы и их выражение в языке, сб. «Мышление и язык», М., 1957, стр. 181).

⁴ См.: Д. П. Горский, Н. Г. Комлев, К вопросу о соотношении логики и грамматики, ВФ, 1953, 6, стр. 80—81.

Логика изучает мысли со стороны их структуры, применяет различные операции к различным формам мысли и устанавливает на этой основе правила получения истинных выводов, законы правильного мышления без обращения к языковым формам, в которых реализуются соответствующие формы мышления и на основе которых строятся правильные умозаключения. Философы никогда не занимались проблемой языковой формы как средства реализации форм мышления. Лингвистика же изучает формы языка без обращения к формам мысли, ради которых эти языковые формы существуют (изучение языковых значений хотя и свидетельствует о том, что в данном случае лингвист имеет дело с мыслительными категориями, однако этого далеко не достаточно, чтобы сказать, что лингвист изучает формы мышления). Как показали исследования В. З. Панфилова⁵, разработавшего теорию «логико-грамматического уровня» предложения, языкознание берет на себя миссию объединить некоторые языковые и некоторые логические категории (не подменяя в то же время логику, за которой остается ее истинная область исследования — формы и законы правильного мышления) и показать закономерные взаимодействия между определенными формами языка и определенными формами мышления.

Собственно, в языкознании всегда существовала тенденция изучать язык в тесной связи с логикой. Однако эта тенденция выливалась либо в подчинение языка логике (логическое направление), либо в подчинение логики языку (психологическое направление). Комплексное же изучение языка и логики, вернее, языковых форм для тех или иных логических целей, должно строиться на их объединении в едином коммуникативном процессе со строгим разграничением специфики каждой из наук — языка и логики — и на основе их тесного взаимодействия.

II. Взаимодействие между языком и логикой обычно видят только в соотношении таких языковых и логических категорий, как слово и понятие, предложение и суждение. Однако соотношение между языком (формой языка) и логикой (формой мысли) значительно сложнее. Оно охватывает взаимодействие всех уровней языка и всех категорий логики. Уровни языка (просодический, лексический, морфологический, синтаксический, семантический) и категории логики (понятия, суждения, умозаключения) взаимодействуют между собой самым разнообразным образом, конституируя своего рода «логико-грамматические» (шире: «логико-языковые») единства, одни из которых являются универсальными для многих языков, другие — специфичными для каждого отдельного языка. К таким универсальным логико-грамматическим единствам можно отнести наивысшие логические формы мышления — умозаключения. Вопрос о выражении в языке одной из основных форм абстрактного мышления — умозаключения — представляет собой часть общепhilософской проблемы взаимоотношения языка и мышления.

Ниже будут рассмотрены лишь некоторые аспекты соотношения языка и логики, почти не изученные в современном языкознании, в частности, способность некоторых неизменяемых классов слов немецкого языка участвовать в соотношении двух и более суждений, а также в построении умозаключений.

1. Все грамматические и семантические признаки сочинительных союзов (закрытый класс, насчитывающий 22 слова: *und, oder,*

⁵ См.: В. З. Панфилов, указ. соч., стр. 138 и сл.; его же, К вопросу о логико-грамматическом уровне языка, «Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», 15, 3—4, 1962; его же, Грамматика и логика, М.—Л., 1963; его же, О структуре предложения, «Zeichen und System der Sprache», III, Berlin, 1966.

sowie, als, wie, aber и др.) подчинены их свойствам на логико-грамматическом уровне. В силу того, что сочинительные союзы стоят между двумя знаменательными словами или двумя предложениями, связывая их синтаксически, не подчиняясь ни одному из них, они соотносят два понятия (а через них два суждения, одно из которых соприсутствует в свернутом виде, будучи представленным лишь субъектом или предикатом: *Anna und Martha baden* = *Anna badet* + *Martha badet* «Анна и Марта купаются» = Анна купается + Марта купается), или непосредственно два суждения (*Ich zündete die Kerze an und es wurde hell* «Я зажег свечу, и стало светло») при обязательной эксплицитной выраженности в языке обоих соотносимых понятий или суждений. Соотносимые понятия или суждения не строятся по правилам логического силлогизма, между ними лишь осуществляется логическая связь, которая заключается в конъюнкции (*und* «и»), дизъюнкции (*oder* «или»), импликации (*denn* «так как») или антиимпликации (*aber* «но») ⁶.

2. Все грамматические и семантические свойства логических частиц (закрытый класс, насчитывающий 39 слов: *nur, sogar, auch, schon, eben, bloss, ausgerechnet* и др.) подчинены их логическим свойствам: логические частицы немецкого языка, в отличие от сочинительных союзов, непосредственно соотносят ряд понятий (но не суждений) при эксплицитной выраженности только одного из них, а через понятие — ряд суждений.

Выполняя функции адъюнкта (зависимого члена) какого-либо знаменательного слова, логическая частица соотносит понятие, выраженное данным словом, с целым рядом смежных (близких в данном контексте) понятий. Например, в предложении *Nur sie kann diese Frage beantworten* «Только она может ответить на этот вопрос» логическая частица *nur* соотносит понятие *sie* «она» со смежным, эксплицитно не выраженным в языке понятием *niemand anders* «никто другой» или с понятиями *er* «он», *wir* «мы», *ich* «я», *ihr Nachbar* «ее сосед» и т. д., которые в функции субъектов должны употребляться с предикатом, имеющим при себе отрицание *nicht* «не». Указанное предложение содержит в себе два суждения (или бесконечное количество суждений, если предикат не выражен отрицательным словосочетанием *niemand anders* «никто другой»), одно из которых не находит эксплицитного выражения в языковых формах, хотя и присутствует в сознании: (а) *Nur sie kann diese Frage beantworten* «Только она может ответить на этот вопрос» = (б) *Sie kann diese Frage beantworten* «Она может ответить на этот вопрос» + (в) *Niemand anders kann diese Frage beantworten* «Никто другой не может ответить на этот вопрос», т. е. предложение (а) есть сумма предложений (б) и (в). В этой незримой логической конъюнкции все решает слово *nur* «только», которое, само по себе, не имеет самостоятельного лексического значения, но в сочетании с другим, знаменательным словом, сразу же выстраивает логический ряд. Предложение без логической частицы не включено в ряд соотносимых предложений. Благодаря логической частице смежные соотносимые словопонятия оказываются в тех же логических связях, что и характеризуемое частицей слово. Логические частицы, будучи адъюнктами полнозначных слов, вносят в них, благодаря своей абстрактно-логической семантике, некоторое «скрытое» сообщение, которое реализуется в предложении как объединение нескольких логических понятий, а через них и нескольких логических суждений, только одно из которых эксплицитно выражено в языке.

⁶ См.: К. Ф. Ромашкин, Логико-грамматическая характеристика сочинительных союзов (на материале современного немецкого языка). АКД, М., 1972, стр. 7—8.

Необходимо подчеркнуть, что и слова других классов, не входящие в класс логических частиц (логические частицы в русском языке, кстати, до сих пор не выделенные в самостоятельный класс, выполняют те же функции, что и в немецком языке), могут также соотносить два смежных понятия. Например, русские местоименные слова *каждый, всякий, этот, тот*, обладая ограничительным, включительным и указательным значениями, отграничивают лексически член, который определяется этим словом, от другого смежного члена. Этой же логической функцией соотнесения суждений могут обладать и некоторые русские прилагательные, наречия, числительные. Например, в предложениях *Появление нового гения становится более вероятным, Эта проблема нашла более достойное место в работах советских лингвистов, Он в своей первой книге об этом писал слова нового, более, первой* соотносят, соответственно, понятия уже известного (гения), не очень достойное (место), в последующих (книгах). Более того, уже каждое знаменательное слово, отграничивая то, что им выражено, от всего того, что им не выражено, участвует в логической дифференциации высказывания. В предложении *Ich kaufte mir einen Anzug* «Я купил себе костюм» каждое слово соотносит понятие, выраженное данным словом, со всеми другими понятиями, не выраженными в этом предложении, по принципу включения их из понятий данного круга. Слово *ich* соотносит понятие деятеля с понятиями того же класса — *er* «он», *du* «ты», *wir* «мы», *mein Vater* «мой отец» и т. д. Слово *kaufte* соотносено со словами *verkaufte* «продал», *verbrannte* «сжег», *zerriss* «порвал», *verschmutzte* «испачкал» и др. Слово *den Anzug* указывает на то, что куплен «костюм», а не «стол», «книга» и т. д. Однако существует принципиальная разница в способах логического соотнесения смежных понятий (а через них и суждений) логическими частицами типа *nur* «только», *auch* «также», *sogar* «даже», *schon* «уже» и др., с одной стороны, и всеми остальными словами, с другой стороны. Предложение *Ich kaufte mir einen Anzug* «Я купил себе костюм» противопоставлено всем бесчисленным структурно однотипным предложениям типа *Er verbrannte sich einen Finger* «Он обжег себе палец» путем исключения всех остальных и утверждения только одного, данного суждения *Ich kaufte mir einen Anzug*. Логические частицы, напротив, соотносят логически не понятия, выраженные в них сам их (они не обладают понятиями предмета, действия, качества), а понятие, выраженное в другом слове. Происходит автоматическое противопоставление или, можно сказать, «включение» в бесконечный ряд смежных понятий только того слова-понятия, которому синтаксически подчинена логическая частица. С включением в предложение *Der Schüler liest ein Buch* «Ученик читает книгу» логических частиц *nur, auch, sogar, eben, nicht* и др., поочередно подчиняя их каждому слову предложения, мы соотносим данное понятие с целым рядом смежных понятий, не выраженных в языке, на основе его отрицания (*Nicht der Schüler liest ein Buch* «Не ученик читает книгу»), универсального ограничения (*Nur der Schüler liest ein Buch* «Только ученик читает книгу»), частного ограничения (*schon, noch, erst, bereits*), присоединения (*auch, noch*), выделения (*gerade, eben, ausgerechnet*) и др.⁷ Таким образом, логические частицы, не участ-

⁷ Логические значения некоторых логических частиц на материале немецкого языка исследуются в работах Н. А. Тороповой. См.: Н. А. Торопова, Логическая смысловая частица *gerade* в современном немецком языке, сб. «Структура предложения и классы слов в романо-германских языках», 1, Калинин, 1972, стр. 129; е е же, Опыт структурно-логического анализа одного класса слов (на материале слова *nur*), сб. «Структура предложения и классы слов в романо-германских языках», 2, Калинин, 1973, стр. 233; е е же, Логические функции частицы *schon* в современном немецком языке, сб. «Структура предложения и классы слов в романо-германских языках»)

вужа, как и сочинительные союзы, в построении логического силлогизма, являются как бы словами без «взвешенного» семантического значения, словами, не выражающими понятий предмета, действия, качества, признака, но лишь соотносящими понятия, а через них — суждения.

3. Все грамматические и семантические признаки подчинительных союзов (закрытый класс, насчитывающий 63 слова: *weil, da, obwohl, obschon, falls, wenn, als* и др.), выступающих как структурные форманты сложно-подчиненных предложений, подчинены их логическим функциям — соотносению двух суждений с причинно-следственными или иными логическими связями. Эти суждения участвуют в построении логического силлогизма. Если подчинительный союз изъять из сложно-подчиненного предложения, то синтаксическая связь между предложениями остается невыраженной с помощью формального элемента. Вследствие этого часто затухает связь или вообще «обрывается» причинно-следственная или иная логическая связь. Подчинительные союзы служат средством соотносения двух логических суждений (но не понятий) при эксплицитной выраженности в предложении их обоих. Они всегда вводят предложение, выступающее в качестве второй посылки логического силлогизма: *Er kam zur Arbeit nicht, weil er krank war* «Он не пришел на работу, так как был болен». Первая посылка (в языке не выражена): *Wenn man krank ist, geht man zur Arbeit nicht* «Если человек болен, он не ходит на работу» + вторая посылка: *... weil er krank war* «...так как он был болен» (причина) = Тезис: *Er kam zur Arbeit nicht* «Он не пришел на работу» (следствие); *Er kam zur Arbeit, obwohl er krank war* «Он пришел на работу, хотя был болен». Первая посылка (в языке не выражена): *Zur Arbeit geht man, wenn man nicht krank ist* «На работу ходят тогда, когда не болеют» + вторая посылка: *... obwohl er krank war* «...хотя он был болен» (причина) = Тезис: *Er kam zur Arbeit* «Он пришел на работу» (*Aber er sollte nicht zur Arbeit kommen* «Но он не должен был приходить на работу») (противоречащее следствие, уступка причине).

4. Логические слова немецкого языка (закрытый класс, насчитывающий 32 слова: *deswegen, darum, deshalb, jedoch, nichtsdestoweniger, folglich, trotzdem* и др.), выступая, в полном соответствии с их структурно-семантическими признаками, как структурный элемент суждения с причинно-следственной связью, соотносят два суждения при обязательной эксплицитной выраженности в языке их обоих. Эти суждения участвуют в построении логического силлогизма (с любым логическим значением, кроме значения причины)⁴. Логические слова вводят предложения, служащие тезисом логического силлогизма: *Er war krank, deshalb kam er nicht zur Arbeit* «Он был болен, поэтому он не пришел на работу». Первая посылка (в языке не выражена): *Wenn man krank ist, geht man zur Arbeit nicht* «Если человек болен, он не ходит на работу» + вторая посылка: *Er war krank* «Он был болен» = Тезис: *Deshalb (deswegen, darum, folglich, infolgedessen) kam er zur Arbeit nicht* «Поэтому (из-за этого, потому, следовательно, вследствие

4, Калинин, 1975, стр. 232; е е же, Логические функции частицы *noch* в современном немецком языке, там же, стр. 241; е е же, К исследованию логических частей, ВЯ, 1978, 5.

⁸ В русском языке средством выражения умозаключения служат многие типы сложно-сочиненных предложений с сочинительным союзом *и*: *Становилось жарко, и я поспешил домой* (М. Лермонтов); *Зима была снежная, и все ждали большого половодья* (Д. Мамин-Сибиряк). Однако причинно-следственные отношения в русском языке, как и в немецком, выражаются, главным образом, употреблением логических слов (в русском традиции они все еще называются «наречиями» и «модальными словами») *потому, оттого, потому, следовательно, стало быть, значит* и др.

этого) он не пришел на работу» (значение следствия); *Es regnete oft, d e n n o c h w a r d e r U r l a u b s c h ö n* «Часто шел дождь, тем не менее отпуск прошел хорошо». Первая посылка (в языке не выражена): *Wenn es regnet, ist d e r U r l a u b n i c h t s c h ö n* «Если идет дождь, то отпуск не может быть хорошим» + вторая посылка: *Es regnete oft* «Часто шел дождь» = Тезис: *D e n n o c h (trotzdem, doch, ungeachtet dessen, dessenungeachtet, nichtsdestoweniger) w a r d e r U r l a u b s c h ö n* «Тем не менее (однако, все-таки, несмотря на это, все же, невзирая на это, тем не менее) отпуск прошел хорошо» (значение противопоставления, противоречия)⁹.

При опущении логических слов типа *deshalb, deswegen, darum, folglich* и др. в сложносочиненном предложении логическое «замыкание» двух посылок (вывод логического силлогизма) может происходить на основе значения предложений: *Es war heiss, d a r u m g i n g e r o h n e M a n t e l* «Было жарко, поэтому он пошел без пальто» → *Es war heiss. Er ging ohne Mantel*. «Было жарко. Он пошел без пальто». Причинно-следственная связь, хотя и менее четкая, остается выраженной в указанных предложениях и без использования логического слова *darum* «поэтому»¹⁰. Предложение *Es war heiss* распознается как выражение логической причины, предложение *Er ging ohne Mantel* — как выражение логического следствия только на основе семантики, опирающейся на человеческий опыт (этот опыт имплицирован здесь первой, общей посылкой, не выраженной в языке): *Wenn es heiss ist, geht man ohne Mantel* «Когда жарко, тогда ходят без пальто». Если указанные предложения поменять местами, от этого не изменится причинно-следственное взаимодействие между ними: *Er ging ohne Mantel* «Он пошел без пальто». *Es war heiss* «Было жарко». Однако с введением слов *deshalb, deswegen, darum* «поэтому» причинно-следственные отношения между связываемыми предложениями приобретают более четкий характер: *Es war heiss, d e s h a l b g i n g e r o h n e M a n t e l* «Было жарко, поэтому он пошел без пальто». Более того, сами слова *deshalb, deswegen, darum* и др. способны «преобразовывать» причину в следствие, а следствие в причину: *Er war krank, d e s w e g e n k a m e r n i c h t z u r A r b e i t* «Он был болен, поэтому он не пришел на работу». *Er kam nicht zur Arbeit, d e s w e g e n w u r d e r e r k r a n k* «Он не пришел на работу, поэтому он заболел». Если же изъять из предложения логические слова, выражающие противоречие (*dennoch, trotzdem, doch, nichtsdestoweniger* и др.), то между двумя образовавшимися самостоятельными предложениями утрачивается всякая логическая связь и она может быть восстановлена только с введением логического слова в одно из предложений: *Es regnete oft. Der Urlaub war schön* «Часто шел дождь. Отпуск был прекрасным» → *Es regnete oft, d e n n o c h w a r d e r U r l a u b s c h ö n* «Часто шел дождь, тем не менее отпуск был прекрасным»;

⁹ С. Д. Кацнельсон предлагает выделять «большой синтаксис» (в противоположность «малому синтаксису», изучающему формы связи между словами в предложении), который исследует связи между предложениями или речевыми единицами сверхфразового формата, относя к средствам «большого синтаксиса» средства логической организации текста» (поэтому, вследствие этого, следовательно, итак, однако и др.) (см.: С. Д. Кацнельсон, Типология языка и речевое мышление, Л., 1972, стр. 119—120). Нам представляется, что такой путь не ведет к размежеванию языковых и логических категорий, ибо формы связи в «малом» и в «большом» синтаксисе принадлежат только синтаксическому уровню. Средства же логической организации текста, относимые С. Д. Кацнельсоном к «большому синтаксису», суть средства не синтаксического, а логико-грамматического уровня.

¹⁰ В русском языке умозаключения могут также выражаться в бессоюзных сложных предложениях: *Я отбери́л руку: из самой середины цветка с яростным жужжанием вылетела пчела* (Л. Толстой), или в двух связанных по смыслу простых предложениях: *Писатель пробормотал что-то неясное. Он был застигнут врасплох* (К. Паустовский).

Es regnete oft, d e s h a l b w a r d e r U r l a u b s c h o n «Часто шел дождь, поэтому отпуск был прекрасным»¹¹.

Логические слова (*deshalb, deswegen, darum* и др.) могут быть заменены подчинительными союзами (*weil, obwohl, da* и др.), а, наоборот, подчинительные союзы могут быть заменены логическими словами с сохранением в предложении тех же причинно-следственных отношений, которые, однако, в случае замены уже выражаются различными синтаксическими построениями: *Er war krank, d a r u m k o n n t e e r n i c h t k o m m e n* «Он был болен, поэтому он не пришел (логическое слово)» = *Er k o n n t e n i c h t k o m m e n, w e i l e r k r a n k w a r* «Он не пришел, так как он был болен» (подчинительный союз); *Er war krank, t r o t z d e m g i n g e r a n d i e A r b e i t* «Он был болен, тем не менее он пошел на работу» (логическое слово) = *Er g i n g a n d i e A r b e i t, o b w o h l e r k r a n k w a r* «Он пошел на работу, хотя он был болен» (подчинительный союз). Логические слова и подчинительные союзы в немецком языке (и в других языках) находятся в корреляционных отношениях. Причина предпочтения говорящим (пишущим) слов того или другого класса в одних и тех же логических целях остается пока не выясненной.

5. Модальные частицы немецкого языка (закрытый класс слов, насчитывающий 24 слова: *denn, doch, ja, mal, schon, bloss, auch, eben* и др.) принимают активнейшее участие в логической дифференциации высказываний.

Разберем прежде простейший случай. Модальные частицы служат структурным формантом вопросительных субъективно-модальных предложений (риторических вопросов)¹², в основе которых лежит логическое суждение. По характеру своего содержания это такие вопросы, ответ на которые содержится в самом вопросе, — он всегда противоположен тому, о чем спрашивается (если в предложении нет отрицания *nicht*, то суждение будет отрицательным, если есть отрицание *nicht*, то суждение будет положительным). Например, вопросительные предложения *B i n i c h d e n n e i n K l o t z ?* (F. Wolf) «Разве я чурбан?», ... *w e i s s m a n d e n n a l l e s ?* (F. Wolf) «...разве можно все знать?», *N a, m e i n s t d u d e n n, i c h h a b e A n g s t ?* (W. Bredel) Ты что же, думаешь, что я боюсь? равны логическим суждениям: *I c h b i n k e i n K l o t z* «Я не чурбан», *M a n w e i s s n i c h t a l l e s* «Невозможно знать все», *I c h h a b e k e i n e A n g s t* «Я не боюсь».

¹¹ Некоторые исследователи считают, что форма умозаключения выражается как связь простых предложений, независимо от того, получила ли эта связь формальное выражение (см.: А. С. А х м а н о в, Логические формы и их выражение в языке, сб. «Мышление и язык», М., 1957, стр. 211), что в языке не существует якобы формальных средств для выражения умозаключения, что форма умозаключения создается с помощью не формальных, а субстанциональных (лексических средств языка, особым образом соотносящихся по значению (см.: П. В. Ч е с н о к о в, О взаимосоответствии формальных типов языковых и логических построений, сб. «Язык и мышление», М., 1967, стр. 99—101). Однако многочисленные факты употребления языковых форм, служащих для выражения логической формы вывода (этим целям в первую очередь служат подчинительные союзы и логические слова), не подтверждают высказанные А. С. Ахмановым и П. В. Чесноковым соображения.

¹² Мы опираемся на понятие «модальности», предложенное В. З. Панфиловым: «Бесспорно модальными являются два типа значений: объективная (онтологическая) и субъективная (персуазивная) модальности. Первая из них отражает характер объективных связей, наличных в той или иной ситуации, на которую направлена познавательный акт, а именно связи возможные, действительные и необходимые. Вторая выражает оценку со стороны говорящего степени познаемости этих связей, т. е. она указывает на степень достоверности мысли, отражающей данную ситуацию, и включает проблематическую, простую и категорическую достоверности» (В. З. Панфилов, Категория модальности и ее роль в конституировании структуры предложения и суждения, ВЯ, 1977, 4, стр. 39). Средства выражения эмоциональных отношений говорящего к содержанию сообщения мы рассматриваем как э м о ц и о н а л ь н о о ц е н о ч н ы е с р е д с т в а и не относим их к средствам выражения какого-либо из двух названных типов модальности.

Но цель вопросительных предложений с модальными частицами состоит не только в том, чтобы выразить логическое суждение. Это можно было бы сделать более простым путем: *Ich bin kein Klotz, Man weiss nicht alles, Ich habe keine Angst*. Вопросительное предложение с модальной частицей содержит как бы три слоя информации: 1) рациональный вопрос (объективно-модальное содержание вопроса, т. е. постановку вопроса с целью получения какой-либо информации), 2) эмоционально-оценочное значение (раздражения, недовольства и др.), 3) проблематическое суждение (субъективно-модальное значение сомнения, уверенности) (*Meinst du denn, ich habe Angst?* «Ты что же, думаешь, что я боюсь?» = *Sie sollen nicht meinen, ich hätte Angst* «Вы не должны думать, что я боюсь»). Третий слой информации в предложениях данного типа — проблематическое суждение — является главным, основным. Следовательно, в субъективно-модальных общевпросительных предложениях с модальной частицей *denn* фактически нет вопроса с целью получения новой информации, а содержится лишь выраженное в эмоциональной форме логическое суждение.

Однако подавляющее большинство предложений с модальными частицами (мы называем их субъективно-модальными и эмоционально-оценочными предложениями) функционирует не изолированно, а опирается на предшествующие или последующие реплики и находится с ними в формальной и смысловой связи. В этом случае мы имеем дело с диалогом, в котором реплики разных собеседников коммуникативно образуют диалогическое единство¹³, имеющее строго определенную структуру: оно состоит из исходной и ответной реплик, последняя, в свою очередь, состоит из первичного и вторичного предложений. Первичное предложение ответной реплики — это непосредственная субъективно-модальная и эмоционально-оценочная отрицательная реакция на исходную реплику (или на сложившуюся ситуацию), а вторичное предложение ответной реплики — обоснование этой отрицательной реакции, (1) *Und wieviel Geld haben Sie denen geschickt?* (2) *Geld? Zu was denn Geld?* (3) *Die haben doch alle Geld genug!* (Н. Fallada) (1) «А сколько денег вы им послали?» (2) «Денег? Для чего же им деньги?» (3) У них ведь у всех достаточно денег», где (1) — исходная реплика, (2) — первичное предложение ответной реплики, выражающее отрицательную эмоциональную реакцию говорящего и (3) — вторичное или обосновывающее предложение ответной реплики (все три предложения формируют трехчленное диалогическое единство).

Диалогическое единство характеризуется смысловой завершенностью, которая достигается благодаря смысловому «замыканию» исходной и ответной реплик. В диалогическом единстве было бы достаточно одной исходной реплики (1) и первичного предложения ответной реплики (2) для того, чтобы осуществилось смысловое замыкание. Но говорящий вводит также вторичное, обосновывающее предложение (3), причем в качестве обоснования первичной эмоциональной реакции (как правило, отрицательной) вводится такое предложение, которое в данной ситуации является наиболее убедительным, а значит наиболее логичным. Привести в качестве обоснования логичное предложение — значит высказать такую мысль, которая служила бы причиной, на фоне которой первичное предложение было бы следствием. Именно поэтому диалогические единства, состоящие из исходной реплики (1) и первичного (2) и вторичного (3) предложений ответной реплики, являются языковой формой выражения причинно-следственного умозаключения, т. е. логического силлогизма:

¹³ См.: Н. Ю. Шведова, Очерки по синтаксису русской разговорной речи, М., 1960, стр. 17.

первичное предложение со значением непосредственной эмоциональной реакции (2) есть тезис (следствие) логического силлогизма; вторичное, обосновывающее предложение (3) есть вторая (большая, конкретная) посылка логического силлогизма. Первая (общая) посылка логического силлогизма в языке не отображена, хотя и присутствует в логическом силлогизме а priori в виде некоего общего суждения, само собой разумеющегося для говорящего и слушающего и в силу свойств человеческого сознания не находящего отображения в языке. Ответная реплика диалогического единства (в приведенном ниже случае не ответная реплика, а реплика-реакцию говорящего на ту или иную ситуацию): (2) *Was machen Sie denn hier in der Wohnung von Persicke? Was schleppen Sie denn hier raus?* (3) *Sie sind doch ohne Koffer gekommen!* (H. Fallada) (2) Что же вы здесь делаете в квартире Перзике? Зачем же вы всё тащите? (3) Вы ведь пришли без чемодана? имеет следующую логическую структуру: первая посылка (эксплицитно не выражена): *Wenn der Koffer dir gehört, hast du das Recht ihn mitzunehmen* «Если чемодан принадлежит тебе, ты имеешь право его взять» + вторая посылка: (3) *Der Koffer gehört dir nicht* («*Sie sind doch ohne Koffer gekommen!*») «Чемодан не принадлежит тебе» («Вы ведь пришли без чемодана!») = Тезис: (2) *Du hast kein Recht, den Koffer mitzunehmen* («*Was machen Sie denn hier in der Wohnung von Persicke? Was schleppen Sie denn hier raus?*») «Ты не имеешь права брать чемодан» («Что же вы здесь делаете в квартире Перзике? Зачем же вы всё тащите?»).

Первичные предложения (2) *Was machen Sie denn hier in der Wohnung von Persicke? Was schleppen Sie denn hier raus?* выступают как эмоциональная реакция на исходную реплику или ситуацию, служат эмоционально-оценочной формой выражения логического суждения, которое в умозаключении играет роль следствия (говорящий начинает, и это особенно важно подчеркнуть, со «следствия» в логическом умозаключении и лишь затем «подбирает» для этого следствия соответствующую «причину»). Вторичное предложение (3) *Sie sind doch ohne Koffer gekommen!*, обосновывающее эмоциональную реакцию, выраженную в первичном предложении, служит субъективно-модальной формой выражения логического суждения (со значением «уверенности»), которое в умозаключении играет роль причины. Предложения с модальными частицами, тесно взаимодействующими с интонацией предложения (чаще всего это вопросительные предложения, в том числе чисто риторические вопросы, рассмотренные выше), выражают такие субъективно-модальные (чаще всего «уверенности» или «сомнения») и (или) эмоционально-оценочные значения (чаще всего удивление, раздражение, недовольство, т. е. отрицательную эмоциональную реакцию¹⁴, которые являются эмоциональной и субъективно-модальной формами выражения логического суждения. Следовательно, эмоциональное и субъективно-модальное есть обратная сторона рационального.

Подобно тому, как предложение является языковой формой выражения суждения, точно так же диалогическое единство является языковой формой выражения умозаключения. В связи с этим можно сделать следующий

¹⁴ Субъективно-модальное и эмоционально-оценочное значения могут быть переданы одной интонацией. «И н т о н а ц и я является универсальным средством выражения самых разнообразных субъективно-модальных значений» (Н. Ю. Шведова, Простое предложение, «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 611). Однако интонация проявляет в полной мере свое действие лишь в живой, звучащей речи, ибо в зафиксированных в письменной форме диалогах разговорной речи нет формальных признаков, которые предполагали бы однозначную интонацию. Этим единственным однозначным средством служат модальные частицы, выступающие как сигналы и соответствующей интонации, и соответствующего субъективно-модального и эмоционально-оценочного значений.

вывод: в языке существует реально не только предложение как форма выражения суждения, но и более высокая коммуникативная единица — коммуникативное (сверхфазовое) единство как форма выражения умозаключения — логического силлогизма, в котором модальные частицы как структурные форманты субъективно-модальных и эмоционально-оценочных предложений во взаимодействии с интонацией служат средством соотношения двух и более суждений. Модальные частицы функционируют в таких коммуникативных единствах, которые служат эмоциональной и субъективно-модальной языковой формой выражения логического силлогизма.

III. К средствам выражения логико-грамматического уровня, кроме уже известных (интонация, ударение, порядок слов, лексические способы выражения модальных отношений, аффиксы, морфемы и др.)¹⁵, как выяснилось, относятся также некоторые классы неизменяемых слов. Их исследование на логико-грамматическом уровне показало, что они, будучи структурными формантами, призванными служить целям организации языка (на синтаксическом уровне), служат одновременно определенным логическим целям (на логико-грамматическом уровне) в полном соответствии с их грамматическими и семантическими признаками. Однако они участвуют не в выражении понятий, как знаменательные слова, а в соотношении понятий, суждений, в построении логических силлогизмов.

Поскольку все рассмотренные выше неизменяемые классы слов обладают некоторой общностью признаков на грамматическом и семантическом уровнях, постольку проявляется и их общность на логико-грамматическом уровне: все они участвуют в реализации наивысших форм мышления — суждений и умозаключений. Но так как все эти классы слов обладают, кроме того, различным набором грамматических и семантических признаков, то различно и их «поведение» на логико-грамматическом уровне. Так, сочинительные союзы (*und, oder, sowie, als, wie, aber* и др.) и логические частицы (*nur, sogar, auch, schon, eben, bloss* и др.) участвуют в соотношении логических понятий, а через них и суждений, не образующих логических силлогизмов, причем а) сочинительные союзы соотносят два логических понятия при эксплицитной выраженности в языке их обоих, тогда как б) логические частицы соотносят два логических понятия, одно из которых в языке эксплицитно не выражено. Подчинительные союзы (*weil, da, obwohl, obschon, falls, wenn, als* и др.), логические слова (*deswegen, deshalb, darum, folglich, jedoch, trotzdem, nichtsdestoweniger* и др.) и модальные частицы (*denn, doch, ja, mal, schon, bloss, auch, eben* и др.) принимают участие в соотношении двух суждений (при обязательной эксплицитной выраженности в языке их обоих), строящихся по правилам логического силлогизма, в котором всегда отсутствует первая (большая) посылка. Однако эти три класса слов различаются на логико-грамматическом уровне тем, что а) подчинительные союзы вводят предложения, выражающие логические суждения со значением причины, цели, уступки, условия и др. (кроме следствия), т. е. выступающие в качестве второй (меньшей) посылки логического силлогизма, б) логические слова вводят предложения с логическим значением следствия, противоречия, противопоставления, сравнения (кро-

¹⁵ Некоторые исследователи не без основания считают, что логико-грамматический уровень имеет свои особые единицы, особые средства, свой набор элементов с их специфическими связями и соотношениями, с их своеобразной регламентацией (см.: В. З. Паифилов, Взаимоотношение языка и мышления, стр. 74, 162, 221, 228, 229; А. И. Введенский, Логика как часть теории познания, СПб., 1912, стр. 51—53; Н. З. Котелова, О логико-грамматическом уровне в языке, сб. «Язык и мышление», М., 1967, стр. 127).

ме причины, цели, условия), служащие тезисом логического силлогизма, в) отличие подчинительных союзов и логических слов, с одной стороны, от модальных частиц, с другой стороны, состоит в том, что 1) подчинительные союзы и логические слова суть структурные форманты логического силлогизма, выраженного в рациональной (объективно-модальной) языковой форме, тогда как модальные частицы суть структурные форманты такого коммуникативного единства, которое служит субъективно-модальной и (или) эмоционально-оценочной языковой формой выражения логического силлогизма; 2) если подчинительные союзы употребляются только в предложении, служащем второй посылкой логического силлогизма, а логические слова употребляются только в предложении, выражающем тезис логического силлогизма, то модальные частицы употребляются как во вторичном, обосновывающем предложении диалогического единства, служащем второй (конкретной) посылкой логического силлогизма, так и в первичном предложении диалогического единства со значением непосредственной эмоциональной реакции, служащем тезисом (следствием) логического силлогизма.

Таким образом, 1) одни классы слов — сочинительные союзы и логические частицы, — участвуя в соотношении логических понятий, а через них и суждений, не участвуют в построении логических силлогизмов, т. е. являются как бы классами слов более низкого логического уровня, 2) другие неизменяемые классы слов — подчинительные союзы, логические слова, модальные частицы, — участвуя в соотношении суждений, а через них — в построении умозаключений, являются словами более высокого логического уровня. Обнаруживается логическая иерархия среди всех классов слов. Если знаменательные слова — существительные, глаголы, прилагательные, наречия, числительные, — выражающие понятия, считать словами первого, наиболее низкого логического уровня, то сочинительные союзы и логические частицы, которые сами по себе не выражают понятий, но соотносят два других понятия при их эксплицитной выраженности в языке и даже при эксплицитной выраженности в языке только одного из них, надо считать словами более высокого, второго логического уровня, а подчинительные союзы, логические слова и модальные частицы, соотносящие суждения и тем самым участвующие в построении логических силлогизмов, следует считать словами третьего, наивысшего логического уровня. Между языковыми единицами и логическими категориями существует некая «асимметрия»: лексически наиболее полные (знаменательные) слова в языке относятся к низшему логическому уровню — понятиям, лексически наиболее «опустошенные» (незнаменательные) слова участвуют в построении высшего уровня — умозаключения. Кстати, в этом и состоит известная трудность исследования семантического значения слов некоторых неизменяемых классов, которое не поддается анализу теми же методами, что и семантическое значение знаменательных слов.

IV. Исследование роли некоторых неизменяемых классов слов в формировании логико-грамматического уровня приводит к постановке еще одного, пожалуй наиболее важного, но почти не разработанного вопроса теоретического языкознания — о возможности элиминации языковой формы при наличии соответствующей мысли в сознании или, иначе говоря, об «экономии языковой материи».

Условно можно было бы указать два пути экономии языковой материи:

1. Экономия языковой материи зависит от свойств процесса коммуникации, когда некоторые промежуточные мысли не находят своего отображения в потоке речи: знание ситуации, предмета беседы ведет к опущению некоторых звеньев речевой цепи, хотя и удерживаемых собеседниками

в сознании. Процесс коммуникации от этого не страдает, ибо опущенные языковые формы присутствуют в сознании говорящего и слушающего в виде ситуации, контекста, знания предмета беседы и др., т. е. в виде каких-то пропущенных в языке, но обязательно присутствующих в сознании понятийных категорий. «Если бы все, что мы желаем высказать, заключалось бы в формальных значениях употребленных нами слов, нам нужно было бы употреблять для высказывания каждой отдельной мысли гораздо более слов, чем это делается в действительности. Мы говорим только необходимыми намеками...»¹⁶.

2. Экономия языковой материи зависит от свойств языка. Язык «выработал» определенные синтаксические конструкции, а также некоторые лексические средства, употребление которых ведет к компрессии речи при полном сохранении мыслительного содержания. Некоторые лексические единицы, введенные в предложение, приносят экономию языковых средств значительно большего объема, чем сами эти единицы, так как они приносят дополнительную мысль, в любом другом случае потребовавшую бы введения в «оборот» значительно больших языковых ресурсов. На материале некоторых неизменяемых классов слов немецкого языка было обнаружено три различных пути компрессии речи.

а) Сочинительные союзы способны соотносить два эксплицитно выраженных понятия, а через них два суждения как более высокие логические единицы, одно из которых сопричастствует как суждение лишь имплицитно, но не в формах языка. В одном предложении в «сжатой», редуцированной языковой форме содержится два суждения (*Anna und Martha baden* «Анна и Марта купаются» = *Anna badet* «Анна купается» + *Martha badet* «Марта купается»).

б) Логические частицы способны соотносить два логических понятия при эксплицитной выраженности только одного из них, а через него и два логических суждения, одно из которых присутствует лишь имплицитно. Логические частицы обладают уникальной способностью автоматически вызывать в сознании говорящего (слушающего) весь круг смежных понятий, являющихся предметом речи говорящего (пишущего), не называя их (*Nur sie kann diese Frage beantworten* «Только она может ответить на этот вопрос» = *Sie kann diese Frage beantworten* «Она может ответить на этот вопрос» + *Mein Vater (Der Nachbar u.s.w.) kann diese Frage nicht beantworten* «Мой отец (сосед и т. д.) не может ответить на этот вопрос»).

в) Подчинительные союзы, логические слова, модальные частицы способны участвовать в качестве структурных формантов сокращенных логических силлогизмов — энтимем¹⁷. Формальная логика доказала, что мышление не обязательно разворачивается в форме полных силлогизмов. В практике повседневного мышления сокращенность умозаключения вполне возможна и обусловлена особенностями человеческой памяти. Силло-

¹⁶ Е. Д. Поливанов, По поводу «звуковых тестов» японского языка, сб. «Поэтика», I, Пг., 1919, стр. 28.

¹⁷ В русском языке сокращенные умозаключения (энтимемы) могут быть переданы (в русском языке используются те же средства, что и в немецком языке, о чем свидетельствуют переводы немецких предложений на русский язык) также простыми предложениями с распространенным приложением: *Сосна, как дерево смолистое, с трудом поддается египетцу* (К. Аксаков), простыми предложениями с дееспричастным оборотом: *Пантелей Прокофьевич ушел, почувствовав себя лишним* (М. Шолохов), сложносочиненными предложениями: *Зима была снежная, и все ждали большого половодья* (Д. Мамин-Сибиряк), бессоюзными сложными предложениями: *Я отдернул руку: из самой середины цветка с яростным жужжанием вылетела пчела* (Л. Толстой). Но наиболее типичной формой энтимемы, по мнению А. И. Шориной, служит сложноподчиненное предложение с придаточным причины [см.: А. И. Шорина, К вопросу о выражении умозаключения в современном русском литературном языке, «Уч. зап. Пермск. ун-та», XVI, 1(68), Языкознание, 1960, стр. 97—109].

гизмы чаще выступают не в своей полной форме, а в сокращенной — в виде энтимем, в которых не выражена в явной форме какая-либо ее часть — либо первая (большая) посылка, либо вторая (меньшая) посылка, либо тезис (вывод) как само собой разумеющиеся для говорящего и слушающего. Эти особенности мышления находят полную поддержку языковых форм. Язык «выработал» лексические единицы и синтаксические построения, которые специально служат для выражения энтимем. Наиболее типичной языковой формой энтимем в немецком и русском языках является сложно-подчиненное предложение с придаточным причины: *Всякий труд важен, ибо облагораживает человека* (Л. Толстой), сложносочиненное предложение с причинно-следственными связями: *Становилось жарко, и я поспешил домой* (М. Лермонтов) и диалогическое единство: *Geld? Zu was denn Geld? Sie haben doch alle Geld genug!* (H. F a l l a d a) «Денег? Ну, а для чего им деньги? У них ведь у всех достаточно денег!» Во всех трех языковых формах пропущена первая (большая, общая) посылка. Формальная логика предполагает, что умозаключение не обязательно должно осуществляться на основе двух логических посылок, присутствующих в умозаключении. Одна из них, как выяснилось, не обязательна, ибо в силу особенностей человеческого мышления первая, общая посылка, отражающая «самоочевидные» суждения, выражается «между строк», имплицитно, так как для говорящего и слушающего она является результатом жизненного опыта, опыта предшествующих поколений и, следовательно, само собой разумеющейся. В сознании каждого человека имеется некоторая сумма накопленных знаний о связях между предметами, явлениями, которые, будучи закрепленными человеческой практикой, приобрели устойчивый характер. Эти устойчивые связи и позволяют нам открыто их не высказывать, но подразумевать, «держат в уме» (отсюда и термин «энтимема» — «то, что держится в уме»). Благодаря языковым построениям с сочинительными союзами, логическими частицами, подчинительными союзами, логическими словами, модальными частицами, служащим для выражения «скрытых», «свернутых» суждений и логических энтимем, мы получаем возможность придавать нашим рассуждениям чрезвычайно разнообразную, гибкую и изящную словесную форму.

Сравнение степени участия различных классов слов в формировании логико-грамматического уровня и характера этого участия дает возможность сделать вывод о свободе правил логики (необязательность одного из трех компонентов в построении логического силлогизма — первой посылки) и о еще большей свободе выбора языковых средств для этих же целей. В логике существует не только способ построения логического силлогизма, при котором обязательно наличие всех трех посылок. В логике существуют и сокращенные силлогизмы-энтимемы. Более того, человеческая мысль движется в основном в формах энтимем. Для построения того же сокращенного логического силлогизма язык предоставляет в распоряжение говорящего четыре способа, два из которых свойственны, в основном, письменной форме речи, и два — устной форме речи (последние находят широкое отражение в художественной литературе в виде диалогической речи персонажей). ■

Мы «умозаключаем» постоянно и для выражения наших умозаключений используем самые разнообразные языковые формы. Однако выбор синтаксических конструкций для выражения умозаключения не может быть произвольным: он определяется специфичностью умозаключения и сферой речевого употребления. Как было показано выше, умозаключения могут быть выражены как сложным предложением, так и языковой формой более сложной, чем предложение, — сложным синтаксическим целым или коммуникативным (сверхфразовым) единством, состоящим из нескольких пред-

I. Логика		II. Язык			
1. Полный логический силлогизм	2. Сокращенный логический силлогизм (энтимема)	1. Рациональный стиль Письменная форма (постановка на первое место «причины», т. е. второй посылки логического силлогизма)	2. Рациональный стиль Письменная форма (постановка на первое место «следствия», т. е. тезиса логического силлогизма)	3. Эмоциональный стиль Устная форма (полная) (постановка на первое место «следствия», т. е. тезиса логического силлогизма)	4. Эмоциональный стиль Устная форма (редуцированная) (постановка на первое место «следствия», т. е. тезиса логического силлогизма)
1-я посылка: <i>Если чемодан принадлежит не тебе, ты не имеешь права его брать.</i> 2-я посылка: <i>Чемодан принадлежит не тебе.</i> Тезис <i>Ты не имеешь права брать чемодан.</i>	1-я посылка — 2-я посылка <i>Чемодан принадлежит не тебе</i> Тезис <i>Ты не имеешь права брать чемодан.</i>	1-я посылка — 2-я посылка <i>Sie sind hierher ohne Koffer gekommen</i> «Вы пришли сюда без чемодана» Тезис <i>deswegen dürfen Sie hier keinen rausschleppen</i> «поэтому Вы не имеете права его выносить отсюда».	1-я посылка — Тезис <i>Sie dürfen hier keinen Koffer rausschleppen</i> «Вы не имеете права отсюда выносить чемодан» 2-я посылка <i>weil Sie hierher ohne Koffer gekommen sind</i> «так как Вы сюда пришли без него».	1-я посылка — Тезис <i>Was machen Sie denn hier in der Wohnung von Persicke?</i> <i>Was schleppen Sie denn hier raus?</i> «Что же Вы здесь делаете в квартире Перзике? Зачем же Вы все тащите?» 2-я посылка <i>Sie sind doch ohne Koffer gekommen!</i> «Вы ведь пришли без чемодана».	1-я посылка — Тезис <i>Was denn? Wohin denn?</i> «Что же это?» «Куда же Вы?» 2-я посылка <i>Das ist doch unmöglich</i> «Это же невозможно!»

ложений. Несмотря на то, что в языке есть целый ряд построений, являющихся показателем одного и того же логического содержания, тем не менее они не бесполезны в языке. Это связано с тем, что разные языковые формы несут различную дополнительную смысловую и стилистическую нагрузку, от которой логика отвлекается. Язык не мог бы быть полноценным средством общения между людьми, если бы он игнорировал эту богатую возможность выражать самые различные смысловые, стилистические, субъективно-модальные и эмоционально-оценочные нюансы. Разнообразие языковых форм, предназначенных для выражения умозаключений, свидетельствует о богатстве естественного языка и позволяет пользоваться синонимичными средствами выражения умозаключений в соответствии с конкретными коммуникативными и стилистическими потребностями говорящего.

Приводимая схема реализации в языке логического силлогизма в виде четырех языковых вариантов свидетельствует о гибкости выражения логического силлогизма в живом (не искусственном, придуманном логиками) языке. Эта свобода проявляется не только в том, что язык предоставляет говорящему четыре способа построения логического силлогизма (этих способов, по-видимому, больше, и было бы небезынтересно всех их исследовать для каждого языка), но главным образом в том, что в языке почти всегда отсутствует первая, общая, исходная посылка логического силлогизма. Это свидетельствует о движении мысли преимущественно в формах энтимем, а не полных логических силлогизмов¹⁸. Можно говорить об экономии чисто языковой формы выражения, об экономии языковой материи (но не об экономии мысли!) при сохранении мыслительного, понятийного. Например, Л. В. Щерба давно обратил внимание лингвистов на исследование этой стороны языка. «Имею в виду здесь не только правила синтаксиса, но, что гораздо важнее, правила сложения смыслов, дающее не сумму смыслов, а новые смыслы, — правила, к сожалению, учеными до сих пор мало обследованные, хотя интуитивно отлично известные всем хорошим стилистам»¹⁹. Эта проблема волнует лингвистов и сегодня. «Хотя всем словам, словосочетаниям и синтаксическим конструкциям всегда что-то соответствует в мысли, далеко не все содержание мысли непосредственно выражается в словах, словосочетаниях и синтаксических конструкциях. Поэтому возникает все еще почти совсем не изученная проблема: как следует понимать степень передачи означаемого с помощью означающего и каковы границы „полноты“ подобной передачи?»²⁰.

Таким образом, наука о языке как одна из многих наук, занимающихся проблемой мышления, показала, что в живом языке, как и в формальной логике, мы наблюдаем регулярное выпадение строго определенных звеньев логической цепи, что свидетельствует о движении мышления также вне эксплицитно выраженных языковых форм. Какие это формы реализации мышления — дело исследования других наук, и в первую очередь психологии и нейрофизиологии.

¹⁸ Согласно исследованию А. Н. Мосейко, в научной и в художественной речи умозаключение употребляется чаще всего в виде энтимем. Те громоздкие схемы, которые приводятся в учебниках логики как примеры умозаключений, почти не встречаются в языке. Из 443 примеров встретились только 11 полных умозаключений и 432 умозаключения в виде энтимем. Отсюда А. Н. Мосейко делает вывод, что «умозаключение употребляется в речи преимущественно в сокращенном виде, в виде энтимемы, которую можно считать формой выражения умозаключения» (А. Н. Мосейко, Способ выражения умозаключения в языке. АКД, М., 1954, стр. 3—4).

¹⁹ Л. В. Щерба, О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языковедении, в его кн.: «Языковая система и речевая деятельность», Л., 1974, стр. 24.

²⁰ Р. А. Будагов, Категория значения в общей теории языка, сб. «Проблемы языковедения. Доклады и сообщения советских ученых на X Международном конгрессе лингвистов (Бухарест, 28 VIII — 2 IX 1967), М., 1967, стр. 12.

АХМАНОВА О. С., ДАНЧИНОВА И. А.

К ВОПРОСУ О СИНХРОНИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ НАЗВАНИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В 1963 г. при кафедре английского языка филологического факультета МГУ была создана проблемная группа под названием «Типология топонимических систем»¹. Ее целью было выяснение того, как в той или иной стране принята там система названий населенных пунктов (и их частей) входит в жизнь и, следовательно, в язык данного человеческого коллектива и какие в этой области возможны типологические обобщения.

Как известно, изучение названий населенных пунктов составляет существенную часть сравнительно-исторического языкознания: многие его открытия, наблюдения и выводы не были бы научно надежны, если бы они не находили подтверждения в данных топонимического характера. Вместе с тем, «собственно топонимика», доказавшая актуальность и достоверность для развития сравнительно-исторического языкознания, естественно, не занимается изучением современных синхронических состояний и системных явлений в этом разделе словаря человеческого языка. А между тем (и это было главной причиной, почему проблемная группа получила поддержку ректора МГУ) уже тогда были достаточно выяснены современные проблемы, разработка которых настоятельно необходима, а именно: 1) вопрос об о п т о л о г и и топонимов, о специфических особенностях бытия (или «существования») слов этой категории в данном национальном языке, с одной стороны, и их «наднациональных» свойствах, с другой; 2) вопрос о наименовании («названии») населенных пунктов и их частей и переименовании старых, но уже не в дескриптивном, а в п р е с к р и п т и в н о м плане; 3) вопрос о том, каким образом уже существующая, данная, действующая, живая система названий населенных пунктов входит в национальную художественную литературу. Понятно, что транспозиция этих особых лексических единиц в сферу словесно-художественного творчества — практически единственный способ не только для выяснения того, как фактически воспринимаются те или иные названия, но и единственный объективно надежный способ создания соответствующих представлений у носителей данного языка. По замыслу и плану проблемной группы, этот вопрос должен исследоваться и в рамках более широкой проблематики «вертикального контекста»².

Понятно, что эти три направления, явившиеся основанием для создания особой проблемной группы, не могли развиваться без изучения уже

¹ См.: В. Д. Б е л е н ь к а я, Проблемная группа по типологии топонимических систем на филологическом факультете, «Вестник МГУ», Серия филологии и журналистики, 1964, 4; «В Московском университете», в кн.: «Изучение географических названий», М., 1966, стр. 188; «Топонимическая комиссия в 1967—68 гг.», в кн.: «Топонимика», 3, М., 1969, стр. 3; «Топонимика на романско-германском отделении филологического факультета МГУ», там же, стр. 31—32; Н. В. П о д о л ь с к а я, В. Э. С т а л ь м а н е, Ономастическая работа в СССР, в кн.: «Исследования по топонимике», М., 1974, стр. 49.

² См.: О. С. А х м а н о в а, И. В. Г ю б б е н е т, «Вертикальный контекст» как филологическая проблема, ВЯ, 1977, 3.

сложившегося состояния науки в области синхронической топонимики как раздела общей, а не специально английской филологии. Поэтому естественно, что первые 5—6 лет работы проблемной группы и состояли в том, чтобы не только уточнить, но, в ряде случаев, развить методику синхронического изучения названий населенных пунктов. Хотя без привлечения материала разных языков — и в первую очередь русского — было бы трудно получить необходимые теоретические выводы, собственно исследовательская работа была основана на изучении топонимов Англии, потому что проблемная группа состояла главным образом из специалистов кафедры английского языка филологического факультета.

Возвращаясь к уже обнародованным результатам работы проблемной группы³, очень важно подчеркнуть, что всякий раз, говоря об изучении такого сложного материала, как названия населенных пунктов, задача исследователя состоит вовсе не в том, чтобы непременно *расклассифицировать*, разделить материал на какие-то классы или группы. Ведь, по существу, все виды языковедческого исследования имеют своим предметом одни и те же факты, один и тот же материал естественной человеческой речи. Поэтому вопрос отнюдь не в том, чтобы делить на «классы» или «группы» монолитный и целостный материал, который не поддается и не подлежит разделению, разрезыванию на самостоятельные куски или части, а в том, что предметом научного рассмотрения являются разные аспекты исследования, — в нашем случае морфологический, этимологический, исторический и семантический.

И тогда, когда впервые эта работа проводилась на кафедре английского языка, и, особенно, в настоящее время, после того, как результаты работы проблемной группы (в частности, материал диссертации И. А. Данчиновой) получили такое широкое распространение⁴, на первом месте остается раскрытие внутреннего строения изучаемых слов и словосочетаний. Именно морфологический раздел топонимики получил сейчас настолько широкое освещение, что один из ведущих специалистов в данной области, В. А. Никонов, нашел даже возможным говорить о существовании здесь определенного закона — закона топонимических рядов⁵.

Для английского материала, по-видимому, здесь и до сих пор наиболее интересным остается различие между лексическим и синтаксическим соположением элементов сложного названия: хотя составляющие основы остаются одними и теми же, сложное наименование имеет совершенно другое строение⁶.

Что касается аффиксальных образований, то в английском материале мы встречаем гораздо меньшее разнообразие и гораздо менее пеструю картину, чем, например, в русских топонимах, потому что в английском языке

³ См.: И. А. Данчинова, Синхроническая стратификация английских топонимов (на материале названий населенных пунктов). КД, М., 1971 (депонент); В. Д. Белевская, И. А. Данчинова, Синхроническая стратификация топонимов, «Вестник МГУ», Серия Х. Филология, 1969, 5; В. Д. Белевская, Принципы классификации топонимии, «Питання ономастики», Київ, 1965; О. С. Ахманова, В. Д. Белевская, Топонимика как социолингвистическая проблема (на материале новых наименований), ФН, 1967, 6.

⁴ См., например: В. Д. Белевская, Топонимика как междисциплинарная проблема, «Actes du XI-e Congrès International des sciences onomastiques», Sofia, 1974.

⁵ В. А. Никонов, Закон ряда, в его кн.: «Введение в топонимику», М., 1965, стр. 33—38. Перечень подобного рода элементов теперь можно найти в работе В. Д. Белевской «Очерки англоязычной топонимики» (М., 1977), но, как легко убедиться, ничего равного тем рядам, о которых пишет В. А. Никонов для русского языка, здесь нет.

⁶ См.: Е. Б. Яковлева, Просодия атрибутивной синтагматики в современном английском языке. КД, М., 1976; Г. И. Ахманова, И. А. Данчинова, Атрибутивное отклонение в топонимической системе англоязычных стран, ВЯ, 1970, 6.

ке несравненно меньше аффиксальных элементов и гораздо больше единиц, которые до сих пор все-таки воспринимаются не как суффиксальные, а как корневые морфемы, сопоставляемые с другой корневой же морфемой⁷. Повторяющиеся конечные компоненты английских топонимов весьма немногочисленны и строго ограничиваются только определенным историческим комплектом названий населенных пунктов. Понятно, что собственно морфологический анализ требует рассмотрения топонимии как своеобразной системы⁸.

В отличие от системного синхронического исследования, диахроническое исследование имеет целью установление документированного происхождения топонима и его дальнейшей исторической судьбы. Однако на практике четкое разграничение процесса и состояния далеко не всегда оказывается возможным, особенно в связи с непрерывно идущим опрощением сложных образований. Следует заметить, что явление, которое при диахроническом подходе выступает как опрощение, в синхроническом плане квалифицируется как большая или меньшая утрата «мотивированности», как возможность более или менее непосредственного соотнесения данного содержания с данным выражением.

Общим принципом советского языкознания является обязательное включение определенных исторических сведений в систему синхронического изучения языка. Для советских ученых неприемлема концепция, согласно которой синхроническое изучение непременно требует как бы забвения того, что было раньше. Как мы знаем, в крайних проявлениях структурализма принято считать, что историческая информация, сведения о прежних состояниях изучаемого объекта могут повредить его строго структурному системно-знаковому восприятию. В корне не соглашаясь с этим мнением, мы обязательно начинаем изучение синхронической системы с возможно подробных и надежных этимологических сведений.

Как правило, этимологические сведения редко отличаются новизной и при современном состоянии науки не требуют от исследователя детального проникновения в сущность первоначальных связей или первоначальных значений, соответствующих «этимонов». Поэтому, когда мы, в нашей проблемной группе, начали с выяснения соотношения названий населенных пунктов кельтского, скандинавского, латинского и французского происхождения в современной английской топонимии, мы, естественно, не были ни в какой степени оригинальны. Тем не менее, этот материал необходимо было учесть. Для синхронического изучения английской топонимии этимологические сведения важны потому, что они позволяют рассмотреть отражение в современных названиях населенных пунктов Англии кельт-

⁷ Любопытно напомнить в этой связи, что уже И. Г. Чернышевский отмечал богатство и разнообразие средств словообразования в русском языке по сравнению с другими европейскими языками: «Словопроизводство в русском языке, подобно словоизменению, отличается, сравнительно с тою же стороною других новейших европейских языков, гораздо большим разнообразием. Можно даже сказать, что русский язык (подобно [некоторым] другим славянским наречиям) развил в себе много таких способов произведения слов, которые остались мало развитыми в греческом и латинском языках, по богатству словопроизводственных способов стоящих несравненно выше новых европейских языков» (И. Г. Чернышевский, О словопроизводстве в русском языке, Полн. собр. соч., II, стр. 315).

⁸ А. В. Суперанская, Типы и структура географических названий (на материале топонимии СССР), в кн.: «Лингвистическая терминология и прикладная топонимика», М., 1964, стр. 59. Автор связывает вопрос о системности топонимии со структурными и типологическими проблемами. Об определении системы географических названий и синхроническом изучении географических названий см.: Э. М. Мурзав, Очерки топонимики, М., 1974, стр. 24, 86 (ср.: «Система географических названий Монголии», там же, стр. 235—258); его же, Основные направления топонимических исследований, кн.: «Принципы топонимики», М., 1962.

ских, скандинавских, латинских и французских элементов, причем, главным образом, с точки зрения особенностей, которые в названиях, возводимых к разным языкам, оказываются связанными с внутренней формой наименований. Так, например, для англосаксонского периода, т. е. для собственно английских названий, была типична связь с личными именами, которые просто могли переноситься на названия населенных пунктов. Напротив, для латинского слоя было типично присваивать новому, воздвигнутому римлянами населенному пункту название соседней реки.

Теперь остановимся несколько подробнее на различии этимологического и исторического подходов к изучению названий населенных пунктов. Для этимологического анализа не являются существенными особенности бытования того или другого топонима в ту или иную эпоху или в тот или иной период развития данной страны. Топоним здесь берется как таковой. Внимание исследователя сосредоточивается на времени его возникновения, его первоначальной смысловой и морфологической структуре и тех изменениях, которые произошли в его семантике и морфонологическом облике на протяжении веков.

Исторический подход принципиально отличается от этимологического тем, что в основу исследования кладутся уже не особые признаки отдельных топонимических единиц, а синхроническое представление о некоторых системах названий, характерных для разных периодов в истории данного народа и соответственно данного языка. Хотя количество исторических исследований в указанном выше смысле до сих пор очень невелико, все же нельзя не обратить внимания на возможности, тающиеся при этом подходе и в английской топонимии⁹.

Перечисленные три аспекта исследования являются не только традиционными, но и собственно или узколингвистическими. Материал для этих исследований организуется на строго «внутриязыковой» основе. Строение термина, его первоначальный этимон, дальнейшее изменение его структуры или значения как такового, — все эти аспекты исследуемого предмета не требуют выхода за пределы собственно языка и его категорий. Хотя историческое изучение и отличается в этом отношении от морфологического и этимологического, так как здесь основным критерием является не состав того или другого наименования, а более широкие лингвистические категории периодизации истории языка, тем не менее отправной точкой является все же язык и его внутренние закономерности¹⁰.

От сказанного принципиально отличается семантический анализ материала. Отправным пунктом здесь оказываются именно внеязыковые явления и категории. Речь теперь идет уже не о том, как построено (или «устроено») данное наименование, а о том, что явилось источником данного наименования, какие внеязыковые факторы определили его семантическое содержание. Вряд ли требует специального упоминания также тот факт, что исследователь, исходя из экстралингвистических закономерностей строения данного наименования, не может (и не будет даже стремиться)

⁹ См.: G. L a n g e n f e l t, *Toponymics or derivations from local names in English*, Uppsala, 1920; W. W. S k e a t, *A primer of English etymology*, Oxford, 1910, стр. 2, 9, 10.

¹⁰ Правда, периодизация языка вообще представляет собой весьма сложную проблему потому, что внеязыковые категории обязательно должны приниматься во внимание. Иными словами, деление истории на древне-, средне- и новоанглийский период не может не учитывать соответствующие социально-экономические структуры, их возникновение, расцвет и отмирание и возникновение новых. Однако исходным для периодизации и здесь остается язык, т. е. те специфические свойства данной языковой системы, которые на разных этапах его развития с достаточной степенью ясности отличаются как от предыдущего состояния, так и от последующей системы или систем.

полностью отвлекаться от его формы, поскольку каждое слово, включая название населенного пункта, есть неразрывное единство формы и содержания. Тем не менее, все сказанное выше остается в силе. То, что может быть без необходимой точности обозначено как «семантическое рассмотрение материала», это особый вид анализа, принципиально отличный от трех предыдущих, поскольку исходным моментом, основой всей таксономии в данном случае являются понятия и категории в н е я з ы к о в ы е.

Попытки семантического подхода к изучению названий населенных пунктов весьма многочисленны¹¹. Исходя из особенностей нашего материала, мы предложили следующее его расположение, считая, что оно позволит представить его в разумной логической последовательности.

1. Топография местности. Например, названия населенных пунктов, конечные элементы которых *-ton*, *-ham*, *-worth*, *-stoke*, *-ford*, *-garth*, *-bury*, *-park*, *-hay*, *-harrow*, означающие «огороженное место» или «прикрытие, ограждение, защита», свыше тысячи лет отражали ее действительный топографический ландшафт¹².

2. Относительное расположение объекта, место отдельных объектов по отношению друг к другу. Например, *North*, *South*, *East* и *West Brunton* в Нортумберленде и *Upper* и *Lower Caldecote* в Бедфордшире. *Le* в составе названий выполняло ту же функцию, например, *Chester-le-Street* означало «*Chester* у дороги римлян».

3. Соотносительная величина объектов или особенности их конфигурации, например, *Great* и *Little Rissington* в Глостершире, *Long Buckby* в Нортгемптоншире.

4. Флора. Около 24 названий разновидностей деревьев встречается в английских названиях населенных пунктов, среди них наиболее употребительны следующие: дуб, береза, ольха, ясень, ива. Среди фруктовых деревьев: яблоня (и дикая яблоня) и сливовое дерево, например, *Greenoak* в Восточном Райдинге, *Birchington* в Кенте, *Aller* в Девоншире, *Ash* в Дербишире, *Wilby* в Норфолке, *Apley* в Линкольншире, *Plumley* в Чешире.

5. Фауна. Например, *Swinbrook* в Оксфордшире, *Shiplake* в Оксфордшире, *Oxford* в Оксфордшире, *Catfield* в Норфолке, *Larkfield* в Кенте и др.

Эти пять категорий выделяют те аспекты наименования, которые можно объединить как «объективные» в том смысле, что они присущи данной местности в соответствии с ее природными, географическими, топографическими и другими свойствами.

От перечисленных категорий принципиально отличается «культурно-историческая основа наименования»: например, *Kingsdon* в Сомерсетшире, *Bishops Castle* в Шропшире, *Freefolk* в Гемпшире и *Chorley* в Чешире. К культурно-историческому фактору следует отнести и явления надстроечные, причем в некоторых английских названиях населенных пунктов отражается древняя религия англосаксов перед крещением страны, например, *Woodnesborough* в Кенте, *Wormhill* в Дербишире и *Thundersley* в Эссексе¹³.

Культурно-исторический фактор не сводится, конечно, к высшим сферам духовной деятельности человека. Важное место занимают здесь и такие источники наименования, как характер занятий населения, экономика и сельское хозяйство. Так, например, частое употребление эле-

¹¹ См. описание разных классификаций в работе: Е. М. Черныховская, История разработки топонимических классификаций, сб. «Развитие методов топонимических исследований», М., 1970.

¹² См.: J. Taylor, Words and places, London, 1873.

¹³ Ср.: Fr. L. U t l e y, The linguistic components of onomastics, «Names», 11, 3, 1963.

мента *-wick* в топонимах свидетельствует о развитии молочного хозяйства. Понятие «*Madres*» и *Madresfield*, по-видимому, возводится к др.-англ. *māferesfeld*, совр. англ. *mower's field* «поле косца». «Охотник» встречается в Суффолке в топониме *Hunston* (др.-англ. *hunteres tūn*); в Оксфордшире — *Huntercombe*. К категории «деятельности людей» следует отнести также названия, отражающие историческую последовательность возникновения объектов, например, *Old Sodbury* в Глостершире, *Old* и *New Hutton* в Вест-морленде.

Совершенно особый и очень интересный аспект семантического исследования материала представляют личные имена, которые не только являются очень распространенным источником наименования населенных пунктов, но и могут вступать в весьма сложные и своеобразные отношения с названиями географических объектов, что особенно ярко проявлялось в англосаксонский период.

И, наконец, то, что можно назвать социальнo-идеологическим принципом наименования. Этот принцип, который приобрел особенно большое значение для советской топонимии, принципиально отличается от всех предыдущих и представляет собой как бы максимум «человеческого фактора», максимальное использование свободной творческой инициативы давнего человеческого коллектива в названии географических объектов, в использовании наименования населенных пунктов для особых социальных целей.

Семантический анализ материала представляет совершенно исключительный интерес потому, что позволяет исследователю названий населенных пунктов выйти за пределы собственно лингвистических понятий и категорий. Вместе с тем он страдает существенными недостатками, потому что его таксономии не основываются на другой уже сложившейся научной дисциплине, в которой имелась бы уже своя система строго определенных понятий и категорий. Иными словами, описанные выше систематические наблюдения в значительной степени основываются на «здравом смысле», на таких допущениях и гипотезах, которые достаточно фундированы, чтобы не вызывать прямых возражений, но и не покоятся на твердой основе безупречных, научно обоснованных таксономий. Хотя, теоретически рассуждая, и предполагается существование науки о значении или «семасиологии», фактически такая наука еще не создана.

Итак, для того, чтобы можно было говорить о системе названий населенных пунктов как об интердисциплинарной области знания, необходимо выяснить подлинные связи двух (или более) уже достаточно определенных и достаточно четко оформившихся наук. Таковыми науками являются языковедение и география. Поэтому было совершенно необходимо обратиться к географии и изучить уже выработанные там таксономии. Без этого было бы невозможно достичь реального синтеза наук и научно установить, как и когда языковедческие понятия и категории находят прямое и четкое соответствие в научных понятиях и категориях географии.

Наиболее распространенным является в этом случае обращение к терминологии физической географии, элементы которой находят отражение в топонимии. Для этого особенно плодотворными оказываются классификации соответствующих физических объектов, таких, как положительный и отрицательный рельеф, разновидности водных пространств и т. п.¹⁴.

¹⁴ Этот аспект был изучен в работе: Г. А. Лангана, Терминология и номенклатура физической географии (на материале английского языка). АКД, М., 1975. См. также: В. Д. Беленькая, Очерки англоязычной топонимики, стр. 42—46; Ю. А. Карпенко, Топонимы и географические термины, в кн.: «Местные географические термины», М., 1970, стр. 36—45; А. И. Яценко, Топонимы и географическая среда, Л., 1974, стр. 51—56; Э. М. Мурзаев, Очерки топонимики, стр. 94—125.

Гораздо меньше внимания уделяется обычно таксономиям экономической географии. Английские географы¹⁵ сходятся в общем на одинаковой классификации населенных пунктов городского типа, разделяя их на *major cities, cities, major towns, towns* и *sub-towns* — деление, построенное на экстралингвистической дифференциации социально-экономической иерархии населенных пунктов городского типа.

Не касаясь собственно географических и экономико-географических признаков, на которых основано это деление, мы обратились к тому, как оно отражается в названиях этих разновидностей населенных пунктов¹⁶. На основе этой части исследования можно выделить целый ряд параметров и обосновать утверждение, что топонимика действительно интердисциплинарная наука, т. е. особая область знания, требующая одновременного учета данных разных наук. Параметры эти следующие: 1) знание данных названий носителем английского языка и, таким образом, включение их в общий словарь; 2) способность наименования составлять основу словообразовательного ряда; 3) способность наименования образовывать узуальные словосочетания (коллокации) с другими словами языка; 4) способность наименования использоваться для обозначения разных городов и таким образом входить в омонимический ряд¹⁷; 5) продолжительность существования населенного пункта; 6) форма, в которой название данного населенного пункта передается на картах.

Эти основные признаки, выступая как собственно топонимические параметры, т. е. такие, которые основываясь на вполне определенных географических и экстралингвистических факторах, тем не менее находят достаточно определенное выражение и в собственно языковой стороне этих единиц.

Перечисленные признаки (или «параметры») наиболее отчетливо реализуются в названиях самых крупных населенных пунктов городского типа, т. е. *major cities*. По мере того, как мы постепенно спускаемся, следуя экономико-географической иерархии населенных пунктов, возникают другие особенности или черты. Оказывается, например, что данное наименование известно носителям языка, но уже не потому, что оно само по себе выступает как устойчивая единица словарного состава, а потому, что в пределах данного города расположен известный университет, систематически проводятся общественно важные традиционные мероприятия и т. п. Так, например, *Hereford* — фестивальная столица; почти все *cities* являются городами старинных соборов, например, *Canterbury, Carlisle, Chester, Durham, Exeter, Gloucester*.

Major towns или *minor cities* представляют собой группу населенных пунктов, которые гораздо менее отчетливо выделяются, и, конечно, отделить *minor cities* или *major towns* от следующей категории, т. е. *towns*, оказывается уже не так легко, тем более, что в их названиях появляется некоторая неоднородность.

Выделяя разные параметры, мы, естественно, старались поставить во главу угла такие моменты, которые реально носят интердисциплинарный характер, т. е. действительно располагаются на границе между географией

¹⁵ A. E. Smiles, *The urban hierarchy in England and Wales*, «Geography», XXIX, 1944; H. Carter, *Urban grades and spheres of influence in South West Wales*, «Scottish geographical magazine», LXXI, 1955; R. E. Dickinson, *The distribution and function of the smaller urban settlements of East Anglia*, «Geography», XVII, 1932.

¹⁶ Эта работа, в основном выполненная в диссертации И. А. Данчиновой, была в дальнейшем обнародована в докладе В. Д. Беленькой «Топонимия как интердисциплинарная проблема» (см. примеч. 4).

¹⁷ Ср.: В. Д. Беленькая, Наблюдения в области топонимической омонимии, в кн.: «Питання сучасної ономастики», Київ, 1976, стр. 45.

и языкознанием. Но это отнюдь не значит, что в исследованиях, выполненных проблемной группой, не ставился вопрос и о возможных отражениях в самой морфологической структуре, в самом построении топонимов принадлежности называемых ими объектов к тем или другим географически выделенным подразделениям населенных пунктов. В частности, когда мы переходим к названиям городов (*towns*), то здесь отмечаются с достаточным основанием не только уже перечисленные параметры — степень вхождения в язык, степень знания о них (последняя, естественно, значительно меньше, чем у *cities*) и др., но и своеобразие самого их строения. Так, в отличие от названий *cities*, которые имеют ярко выраженную двучленную структуру, среди наименований *towns* большую группу составляют простые, т. е. однокорневые, топонимы. Элементы такого рода легко этимологизируются или вообще могут оказаться употребительными лексемами современного языка. В названиях *towns* часто встречаются топографические термины и другие элементы, отличающие их от названий населенных пунктов более высоких разрядов. В названиях *sub-towns* практически отсутствуют реликтовые слова, ставшие конечными элементами названий более крупных населенных пунктов, и значительное распространение получают составные названия.

Понятно, что установление корреляций между географическими таксономиями и структурной дифференциацией наименований требует дальнейшего изучения, потому что ни географическое, ни тем более лингвистическое деление ни в коем случае не является стационарным, фиксированным, раз и навсегда данным. Переходы названий из одних категорий в другие составляют основной закон их объективного существования. Понятно, что работа в этой области должна вестись и впредь. Однако эта сторона исследования не выдвигает больших, насущных проблем. Поэтому она и не была выделена наряду с наиболее актуальными проблемами топонимики, которые были перечислены выше.

На этом мы заканчиваем описание результатов работы проблемной группы (как уже указывалось выше, теоретическая, принципиально важная ее часть была отражена в диссертации И. А. Данчиновой и основанных на ней последующих докладах и публикациях). Перейдем теперь к рассмотрению тех трех направлений исследования, которые, как уже указывалось выше, были 15 лет тому назад выдвинуты кафедрой в качестве основания для создания специальной проблемной группы. Начнем с первого из них — вопроса об онтологии названий населенных пунктов.

Вряд ли можно сомневаться в том, что основной формой существования названий населенных пунктов является национальная звуковая и графическая оболочка данного языка. Вместе с тем, фактически невозможно представить себе ни одного значительного топообъекта, который ограничивался бы, в плане выражения, только формой одного национального языка. Такие топонимы, как Лондон, Париж, Москва и т. д., объективно существуют в большом числе и разнообразии форм, простая инвентаризация которых представляет собой важную и в высшей степени актуальную проблему. Таким образом, проблема онтологии топонимов имеет не только принципиальное общезыковедческое значение но и практическую значимость и теснейшим образом связана с вопросами транслитерации и транскрипции¹⁸. Вопрос осложняется как вариативностью названий

¹⁸ См.: А. В. Суперанская, Идентификация и различение в практической транскрипции, «Actes du XI-e Congrès International des sciences 'onomastiques», Sofia, 1974; «75-th anniversary — 1890—1965. The Board on geographical names», Washington, 1965; M. A. Urosuea, The rendering of geographical names, London, 1957.

в основном слое данного национального языка, так и тем, как называют данный населенный пункт его жители в отличие от остальных членов данной языковой общности¹⁹.

В этой части деятельности проблемной группы, последовательно ориентировавшейся (как уже было сказано выше) на соотношение двух языковых систем, русской и английской, вопрос рассматривался в двух вполне определенных разрезах: мы пытались как можно более ясно показать важность и необходимость обязательного сопровождения каждого английского названия его русской транскрипцией. Именно таким образом был оформлен уже упоминавшийся список названий населенных пунктов городского типа, полученный в результате сплошного сопоставления материала словаря Эквалла с картой. Выявленные таким образом 292 названия, не вошедшие в тезаурус Эквалла, существенно дополнили список, который и был затем оформлен в виде систематического сопоставительного списка на двух языках — русском и английском²⁰.

По второй из перечисленных выше проблем до сих пор нами сделано очень мало, особенно по сравнению с трудами таких специалистов, как А. В. Суперанская²¹. Насколько остро стоят эти вопросы, видно, в частности, из того, что Организацией Объединенных Наций были созваны специальные конференции (в 1967 г. в Женеве и в 1972 г. в Лондоне), посвященные этой проблеме, где группе экспертов ООН по географическим названиям было поручено изучить вопрос о возможности выработки специального международно-правового акта, который дал бы общую правовую и научную основу для принятия правил и процедуры наименования и переименования географических и внеземных топографических объектов, находящихся за пределами юрисдикции государств²².

Результаты сплошного исследования английского материала в сопоставлении с русским языком представлены в диссертации И. А. Данчиновой (стр. 107—127). См. также: А. А. Реформатский, Топономастика как лингвистический факт, в кн.: «Топономастика и транскрипция», М., 1984; А. В. Суперанская, Имена собственные в чужой языковой среде, там же; А. М. Комков, Е. М. Поспелов, Problems of correlation of national and international standardization of geographical names, «United Nations Conference on the standardization of geographical names», Geneva, 1967; А. М. Комков, Problems of standardization of geographical names under the conditions of multinational state, там же; L. J. Rosova, V. J. Savina, Some problems of the rendering of geographical names from one system of writing into another, там же.

¹⁹ М. Аутоусеау, указ. соч.; A. R. Duckert, Place-nicknames, «Names», 21, 3, 1973.

²⁰ См.: И. А. Данчинова, указ. соч.; стр. 107—127.

²¹ См.: А. В. Суперанская, Наименования и переименования в городах, сб. «Изучение географических названий», М., 1966, где дан самый подробный и в высшей степени квалифицированный анализ огромного материала; В. Д. Беленькая, Современные тенденции в наименовании населенных пунктов (к вопросу о методе синхронии в топонимике), сб. «Топонимия Центральной России», М., 1974, где содержатся описания более общего характера; см. также: К. М. Ярхо, Первые переименования в Калужской области, сб. «Топонимика», вып. 2, М., 1967; Н. С. Студенов, Названия улиц Обнинска, там же. Очень полезно также использовать опыт антропонимии; см., например: В. А. Ивашко, Социолингвистический и психолингвистический анализ ситуации выбора имени при наречении. КД, Минск, 1978.

²² Однако по мнению А. М. Комкова (входящего в группу экспертов ООН), «нет возможности даже перечислить проблемы, ожидающие своего решения» в этом вопросе. См.: А. М. Комков, Проблемы стандартизации (нормализации) географических названий в национальном и международном аспектах, в кн.: «Ономастика и норма», М., 1976, стр. 7. Тем не менее имеются попытки нормализовать эти процессы также в административном порядке [см., например, Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1964 г. «О порядке наименования и переименования краев, областей, районов, а также городов и других населенных пунктов, предприятий, колхозов, учреждений и организаций», «Ведомости Верховного Совета СССР», № 45 (1236), 4 ноября 1964 г., стр. 787—788; Постановление Совета Министров СССР от 29 ноября 1966 г. «О порядке наименования и переименования государственных об-

Еще больше остается сделать для развития третьего из перечисленных направлений, где нередко дело сводится к простому повторению давно известных общих истин²³. Как уже указывалось выше (см. стр. 2), эта работа теперь включена в систему исследований, посвященных развитию учения о «вертикальном контексте как филологической категории»²⁴. Характеристика этого рода работ и показ соответствующих материалов должны составить предмет отдельной статьи. Но это отнюдь не единственное направление в этой части работы. Английская филология располагает интересными материалами, которые уже давно ждут активной разработки с изложенных методологических позиций²⁵.

актов союзного подчинения и физико-географических объектов», «Собрание Постановлений Правительства СССР», № 24, 1966, стр. 538].

²³ В. Д. Б е л е н к а я, Очерки англоязычной топонимики, стр. 79—83.

²⁴ О. С. А х м а н о в а, И. А. Д а н ч и н о в а, Ингерентная и адгерентная социолингвистика: эвристика и онтология (в печати); И. В. Г ю б б е н е т, И. А. Д а н ч и н о в а, Топонимы в составе вертикального контекста художественного произведения (депонент); И. А. Д а н ч и н о в а, Топонимы в составе названий произведений английской художественной литературы (депонент); И. А. Д а н ч и н о в а, Топонимия «Саги о Форсайтах» в социолингвистическом освещении (депонент).

²⁵ См., например: W. M i e d e r, International bibliography of explanatory essays on proverbs and proverbial expressions containing names, «Names», 24, 4, 1976.

ПАЗУХИН Р. В.

ЯЗЫК, ФУНКЦИЯ, КОММУНИКАЦИЯ

1.0. Уже Аристотель заметил, что в человеческом обществе функция, т. е. назначение, способ употребления объектов¹, становится их доминирующей характеристикой: «Ибо все вещи определяются способностью к определенной работе (τῷ ἔργῳ καὶ τῇ δυνάμει), так что, если этой [способностью] они уже не обладают, то нельзя говорить, что это — та самая вещь, но это — [другая вещь], обладающая лишь тем же самым названием»². Таким образом, установить функцию предмета в обществе значит дать этому предмету определение.

Сказанное особенно справедливо по отношению к языку, ибо, как полагают, именно функция языковых единиц и является критерием лингвистической реальности³. Отсюда — постоянный интерес лингвистов к такому, казалось бы, «внешнему» обстоятельству, как общественная функция языка: не разгадав этой функции, т. е. не поняв природы языка, трудно рассчитывать на получение адекватных описаний его структуры⁴.

1.1. Исследователи обычно приписывают языку самые разнообразные функции, что отражает противоречивость понимания природы языка в различных современных школах лингвистики.

Спор по поводу функций языка, который при этом возникает, сводится главным образом к вопросу о количестве функций, которыми обладает язык⁵. Поскольку же общепризнано, что языку по необходимости свойственна коммуникативная функция (функция передачи сообщений)⁶, то основное содержание спора можно свести к еще более узкому вопросу: обладает ли язык какими-либо дополнительными функциями наряду с коммуникативной?⁷

Данный спор ведется по преимуществу между «моно-» и «полифункционалистами», причем главным аргументом в споре является возможность или невозможность логического сведения к коммуникативной функции прочих постулируемых функций языка⁸. В конечном итоге, основной вопрос состоит в том, можно ли указать на такие органические употребления языка, которые бы не представляли собой коммуникации.

¹ Ср.: «Словарь современного русского литературного языка», XVI, М.—Л., 1964, стр. 1593.

² Politica, 1253a, 23—25.

³ A. Martinet, A functional view of language, Oxford, 1962, стр. 3—5.

⁴ A. Martinet, La notion de fonction en linguistique, Louvain, 1971, стр. 10. Не все лингвисты, однако, разделяют эту точку зрения (ср.: J. H. Greenberg, Essays in linguistics, Chicago, 1957, стр. 80).

⁵ Fr. Kainz, Psychologie der Sprache, I, Stuttgart, 1954, стр. 174 и сл.

⁶ Точки зрения, отрицающие наличие коммуникативной функции у языка (например: G. A. Laguna, Speech, its function and development, New Haven, 1927, стр. 19), можно считать сейчас устаревшими.

⁷ В. А. Аврорин, Проблемы изучения функциональной стороны языка, Л., 1975, стр. 34 и сл.

⁸ Ср.: Fr. Kainz, указ. соч., стр. 174; В. А. Аврорин, указ. соч., стр. 36—37; Р. В. Пазухин, Учение К. Бюлера о функциях языка как попытка психологического решения лингвистических проблем, ВЯ, 1963, 5, стр. 94.

В настоящей статье мы, очевидно, не сможем рассмотреть всех аспектов этого спора. Мы остановимся здесь на двух типичных неточностях, допускаемых «полифункционалистами» в дискуссии с «монофункционалистами». Эти неточности связаны с вопросом о иерархии языковых функций (2.0—2.3, 3.5—3.6) и с определением понятия коммуникации (3.0—3.4). Этих неточностей я уже касался и прежде⁹. В этой статье я возвращаюсь к данной теме для ее подробного обсуждения на основе некоторых новых наблюдений.

2.0. Язык представляет собой сложное образование, состоящее из многих компонентов, и потому для наглядности его удобно сравнивать в функциональном отношении с каким-нибудь механическим агрегатом (хотя это сравнение, разумеется, несколько упрощает картину). Характерной чертой агрегатов является, как известно, и е р а р х и я ф у н к ц и й.

Здесь имеет смысл выделить прежде всего конститутивную функцию агрегата, которая характеризует его как целое. Так, если в качестве примера агрегата мы возьмем трактор, то его можно определить как (Ф₁) сухопутное транспортное средство, предназначенное для буксировки различных объектов по произвольным грунтам. Но функция (Ф₁) вытекает в свою очередь из функций составных частей трактора: способности двигателя (Ф₂) вращать оси, способности осей (Ф₃) передавать вращение колесам, способности колес (Ф₄) катиться по земле и т. п. Это — так называемые с у б ф у н к ц и и, особое сочетание которых и приводит к возникновению конститутивной функции агрегата.

С другой стороны, конститутивная функция агрегата может быть реализована самыми разнообразными способами. Здесь мы имеем дело с так называемыми э п и ф у н к ц и я м и агрегата: так, с помощью тракторов можно буксировать (Ф₅) плуги, (Ф₆) автоприцепы, (Ф₇) артиллерийские орудия и пр. Эпифункции трактора практически не ограничены в своем разнообразии. Поэтому конструктор, создавая агрегат (здесь: трактор), имеет в виду обычно только его конститутивную функцию (Ф₁). Он не может предвидеть всех конкретных ее реализаций: ведь в зависимости от стечения обстоятельств трактор можно использовать и для буксировки судов (например, вдоль берега канала) и для вытягивания из трясины другого трактора.

2.1. Итак, говоря о функциях языка, мы должны последовательно разграничивать их три уровня: к о н с т и т у т и в н ы й (функция или функции, определяющие природу языка в целом), с у б у р о в е н ь (функции отдельных составных элементов языка) и э п и у р о в е н ь (употребление языка в конкретных ситуациях). Так, если мы примем за конститутивную функцию языка функцию коммуникации, мы потеряем право сравнивать с ней как равноценные «назывную» или «символическую» функцию (слова, словосочетания) или предикативную функцию (сказуемого). Исследователи языка, как правило, отдают себе отчет в этом¹⁰, но на практике мы постоянно наблюдаем, как они среди определяющих функций языка перечисляют и такие явные субфункции языка, как «символическая», «семантическая», «репрезентативная», «концептуальная», «назывная» и подобные¹¹. При этом авторы таких утверждений не замечают или не желают замечать подмены термина, которую они совершают, относя ко всему языку то, что является свойством одного из его элемен-

⁹ Р. В. Пазухин, указ. соч., стр. 102—103.

¹⁰ Ср.: В. А. Аврорин, указ. соч., стр. 33.

¹¹ Например: L. Z a w a d o w s k i, Les fonctions du texte et des catégories des propositions, BPTJ, XV, 1956, стр. 39; R. J a k o b s o n, Linguistics and poetics, «Style in language», ed. by Th. Sebeok, New York, 1960, стр. 353.

тов. Так, Б. Рассел, утверждающий, что сущность языка определяют постоянные ассоциации между «чувственным» и стоящей за ним «идеей чего-то иного»¹², по сути дела лишь повторяет августиновское определение знака (т. е. с л о в а)¹³. В то же время М. Халлидей не скрывает того, что предлагаемые им функции языка — «концептуальная», «интерсубъективная» и «текстообразующая» — соответствуют предложению (clause) и компонентам структуры последнего¹⁴.

2.2. Равным образом мы не имеем права сопоставлять между собой коммуникативную функцию языка и такие эпифункции, как «поэтическая», «фатическая» (установление контакта с собеседниками), «магическая», «этическая», «эстетическая» и пр.¹⁵. В этих случаях речь идет об употреблении языка в виде конкретных высказываний (текстов), обладающих специфическим содержанием. Хотя высказывания такого типа могут быть свойственны неповторимые формальные характеристики, хотя они могут сообщать очевидные и уже известные сведения, а также могут быть адресованы к воображаемым собеседникам, у нас нет оснований утверждать, что эти высказывания не представляют собой коммуникативных актов¹⁶.

В связи с этим обстоятельством следует обратить внимание на несправедливость часто повторяемого утверждения о том, что монофункционалисты будто бы признают одну-единственную функцию языка, коммуникативную, и отрицают все прочие¹⁷. Это — неверное и примитивное представление концепции лингвистического монофункционализма. Из сказанного выше следует с недвусмысленной ясностью, что эта концепция требует только одного: признания, что одна коммуникативная функция и только она определяет сущность и назначение языка, который представляет собой средство общения¹⁸. При этом монофункционалисты готовы признать существование любой субфункции (любого элемента языковой структуры), если она подтверждается наблюдениями и обеспечивает в определенном отношении способность языка служить средством общения, а также существование любой эпифункции, которая вытекает из использования языка как средства общения¹⁹.

Таким образом, монофункционалисты готовы признать наличие не только «поэтической» и «фатической» функций языка, но также таких функций, как «телеграфная», «ругательная», «барковская», «райкинская» (средство эстрадной путки), «озеровская» (средство спортивного репортажа), «талейрановская» (дезинформация собеседника), число которых можно продолжить до бесконечности²⁰. Монофункционалисты возражают лишь против рассмотрения этих эпифункций на одном уровне с функцией коммуникативной и против несистематического их перечисления.

¹² B. Russell, *The analysis of mind*, London, 1949, стр. 191.

¹³ Ср.: Р. В. Пазухин, О моделях вообще и моделях в лингвистике, «Вестник ЛГУ», 1975, 2, стр. 107, примеч. 14.

¹⁴ M. Halliday, *Language structure and language function*, в кн.: «New horizons in linguistics», ed. by J. Lyons, Harmondsworth, 1972, стр. 142—143, 164—165.

¹⁵ R. Jakobson, указ. соч., стр. 354—355; Fr. Kainz, указ. соч., стр. 224—245.

¹⁶ Ср.: A. Nehrning, *Sprachzeichen und Sprechakte*, Heidelberg, 1963, стр. 17 и сл.; K. Horálek, *K otázce tzv. vedlejších jazykových funkcí*, SaS, XXI, 1, 1960, стр. 5.

¹⁷ Например: В. А. Аврорин, указ. соч., стр. 34.

¹⁸ Например: J. P. Le Coq, *The function of language*, «The modern language journal», XXXIX, 4, 1955, стр. 177.

¹⁹ Ср., например: A. Martinet, *La notion...*, стр. 10—11.

²⁰ Р. В. Пазухин, *Учение К. Бюлера...*, стр. 102; J. H. Greenberg, указ. соч., стр. 84; и др.

Классификация эпифункций языка может иметь, очевидно, научный смысл лишь при соблюдении следующих условий: (1) все возможные случаи употребления языка рассматриваются как коммуникация; (2) в каждом конкретном случае должно быть выбрано такое основание классификации, которое предусматривало бы конечное число достаточно обобщенных эпифункций, охватывающих все возможные случаи употребления языка (так, можно, например, выделить функции побудительных и непобудительных высказываний²¹); (3) избранная в зависимости от конкретных целей (стилистических, социологических и пр.) классификация эпифункций не должна смешиваться с другими подобными классификациями, относительно других логических оснований (число подобных возможных классификаций может быть неограниченно велико). Так, например, «побудительные — непобудительные» высказывания не следует смешивать в одном перечислении с высказываниями «вежливыми — нейтральными — оскорбительными».

2.3. Термин «эпифункции языка» удобен тем, что подчеркивает зависимость, производность этих функций от конститутивной функции языка, реализацией которой они являются. Конечно, можно пользоваться и другими наименованиями, но при этом следует избегать двусмысленности, которая давала бы основание усомниться в производном характере эпифункций.

Так, можно было бы говорить о вторичных функциях (Sekundärfunktionen) языка²². К сожалению, однако, этот термин не исключает понимания этих функций как второстепенных функций языка, обладающих известной независимостью по отношению к функции коммуникативной. Ибо при этом им приписываются задачи, которые язык будто бы выполняет помимо своих «главных» функций (neben und über primären Funktionen)²³.

Иногда эпифункции понимают как «функции речи»²⁴. Это было бы оправданно только в том случае, если бы «язык» и «речь» понимались только как мнемическая предпосылка и физическая реализация речевого акта (langage)²⁵. В этом случае можно было бы утверждать, что коммуникативная функция свойственна и «языку» (в ее обобщенно-потенциальной форме), и «речи» (в конкретно-индивидуальной форме, т. е. в виде конкретных функций отдельных высказываний, сообщений, текстов). Мы бы имели дело, таким образом, с разными этапами осуществления коммуникативной функции, которые, естественно, не могли бы противопоставляться друг другу как две разные функции языка²⁶.

Но не все ученые разделяют данную точку зрения. Некоторые из них, например, считают «язык» и «речь» двумя самостоятельными, хотя и связанными между собой «сущностями»²⁷. В связи с этим они решительно

²¹ Р. В. П а з у х и я, Целенаправленность высказывания, «Уч. зап. [ЛГУ]», 301, 1961, стр. 165.

²² Fr. K a i n z, указ. соч., стр. 219 и сл.

²³ Там же, стр. 221.

²⁴ А. А. Л е о п т е в, Общественные функции языка и его функциональные эквиваленты, в кн.: «Язык и общество», М., 1968, стр. 101.

²⁵ Ф. де С о с с ю р, Курс общей лингвистики, в кн.: Ф. де С о с с ю р, Труды по языкознанию, М., 1977, стр. 49 и сл.

²⁶ L. Z a w a d o w s k i, указ. соч., стр. 32.

²⁷ Данное мнение связано с распространенной терминологической неточностью: лингвисты очень часто неверно называют «дихотомией» противоположение «язык — речь» (ср., например, комментарий к указ. соч. Ф. де Соссюра). Эта неточность, видимо, вытекает из неправильного понимания места, где Соссюр указывает на то, что теории речевой деятельности могут, согласно ему, быть двух типов: (1) недифференцированные и (2) основанные на противоположении «язык — речь» (указ. соч., стр. 58). При этом термин «дихотомия» ошибочно относят не к теориям, но к «языку» и «речи».

возражают против взаимозамены терминов «функция языка», «функция речи» (и «функция текста»), полагая, что мы имеем здесь дело с совершенно различными функциями²⁸. Другие же, хотя они и считают «язык» и «речь» аспектами процесса языковой коммуникации, утверждают, что «речь» может обладать некоторыми функциями, которые не наблюдаются у «языка». Отсюда они делают вывод о том, что «функции речи» — это **дополнительные функции**, которые могут либо сочетаться с коммуникативной функцией²⁹, либо противопоставляться ей³⁰. При таких подходах термин «функция речи» уже не является эквивалентом термина «эпифункция». Эта многозначность термина «функции речи» делает его не очень удобным. Вопрос о конститутивной функции языка и о его эпифункциях лучше вообще не связывать с противопоставлением «язык — речь».

3.0. Серьезные недоразумения в споре о функциях языка вызывает также расхождение в понимании термина «коммуникация». Лингвисты под коммуникацией обычно понимают процесс общения между людьми, а простейшим случаем коммуникации считают общение между двумя собеседниками. В соответствии с этим коммуникативную функцию обычно отождествляют с диалогической функцией³¹ и утверждают, что речевую деятельность находящегося в изоляции одного индивида нельзя считать коммуникативной³². По этой же причине отказываются рассматривать как коммуникацию участие языка в мыслительных, познавательных актах и постулируют существование таких самостоятельных функций языка, как «монологическая», «ментальная», «познавательная», «выразительная», «концептообразующая», «мыслеоформительная» и пр.³³.

3.1. Но в современной кибернетике определение коммуникации уже не связывают с типовыми ситуациями общения и с типовыми исполнителями. В основе этого определения лежит обобщенная абстрактная схема: (1) источник информации — (2) канал связи — (3) потребитель информации³⁴, которая может прилагаться к самым разнообразным типам ситуаций и исполнителей. Так, например, наряду с «интерсубъективной» коммуникацией (общение между двумя индивидами), выделяют также «интра-субъективную» («интраперсональную», «интраиндивидуальную») коммуникацию, которая предполагает общение индивида с самим собой. Последний тип коммуникации, как полагают, характерен для мыслительных процессов³⁵.

Как известно, «дихотомия» (Н. И. Кондаков, Логический словарь-справочник, М., 1975, стр. 156) представляет собой разновидность логического деления, которое заключается в разбиении совокупности объектов на подгруппы объектов (там же, стр. 137). Так, *мебель* можно расклассифицировать на *стулья* и *нестулья* и пр. От этой операции следует отличать **физическое деление**, когда мы делим какой-нибудь объект на части: можно, например, отделить *спинку* стула от его *сидения*. Таким же образом мысленное разложение «речевой деятельности» (langage) на «язык» (langue) и «речь» (parole) тоже следует рассматривать как физическое деление: «язык» и «речь» — это не две разновидности «речевой деятельности», но ее две стороны (фазы). Ср.: Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 47—49. В связи с этим бессмысленное выражение *дихотомия язык — речь* следует перестать употреблять.

²⁸ A. Furdal, Językoznawstwo otwarte, Opole, 1977, стр. 43.

²⁹ А. А. Леонтьев, указ. соч., стр. 106.

³⁰ В. А. Аврорин, указ. соч., стр. 35.

³¹ F. Kainz, указ. соч., стр. 172—173.

³² Там же, стр. 185 и сл.; В. А. Аврорин, указ. соч., стр. 37.

³³ Ср.: «Где здесь та пара участников, которая минимально необходима для акта коммуникации?» (В. А. Аврорин, указ. соч., стр. 37). См. также: А. А. Леонтьев, указ. соч., стр. 100, 102—103; К. Нораке, указ. соч., стр. 4; E. Głodzik, Mowa wewnętrzna, Wrocław, 1976, стр. 21, 23.

³⁴ «Энциклопедия кибернетики», I, Киев, 1975, стр. 395. Схема дана в упрощенном виде.

³⁵ Например: J. Ruesch, W. Kees, Non-verbal communication, Berkeley, 1956, стр. 5. Сейчас это представление служит базой для попыток моделирования мыс-

Впрочем, последнее утверждение отнюдь не ново: через всю историю европейской науки проходит догадка о том, что мыслить — значит разговаривать в уме с самим собой. Так, уже для Платона мышление (*διάνοια*) является тем же, что и речь (*λόγος*), только при этом мышление — это «происходящая в душе беззвучная беседа ее с самой собой» (*ὁ ἐντὸς τῆς ψυχῆς πρὸς αὐτὴν διάλογος, ἄνευ φωνῆς γινόμενος*)³⁶.

3.2. В каком же виде предстает эта догадка сейчас, во второй половине XX в.? В связи с этим следует прежде всего вспомнить о явлении обратной связи (*feed-back*): так в кибернетике называют информацию, поступающую в центр управления механизмом или организмом (например, в мозг) о деятельности этого механизма (организма)³⁷. Мы не могли бы, например, осуществить ни одного целесообразного действия, если бы наш мозг не получал постоянно сигналов о положениях нашего тела, о воздействии среды и пр.³⁸.

Способность говорить, строить фразы и сообщения также обеспечивается обратной связью: мы непрерывно воспринимаем нашу речевую деятельность как с помощью слухового (в случае письменной речи — зрительного) органа, так и при помощи кинестетических (мышечных) ощущений³⁹. Таким образом, в действительности ситуация «говорящий — слушатель» не представляет собой, как утверждают, простейшего случая коммуникации (ср. 3.0.): здесь необходимо участвуют один адресант и два адресата⁴⁰. Ибо как первый адресат необходимо выступает всегда сам адресант⁴¹. Без этого мы бы не были в состоянии дать себе отчет даже в том, что мы уже успели сказать и что нам еще предстоит сказать.

3.3. Наличие постоянной кинестетической обратной связи при говорении объясняет ту легкость, с какой наша речь в некоторых ситуациях может из ее внешней (акустической) формы переходить в форму внутреннюю (беззвучную)⁴². «Внутренняя речь» представляет собой своеобразную эгоцентрическую коммуникацию: «разговаривающий с собой» индивид ощущает ту ослабленную «скрытую» артикуляцию речевых органов, которую он сам же производит⁴³. Внутренняя речь наблюдается чаще всего в случаях, когда нам приходится решать какую-нибудь сложную задачу: это «беззвучное рассуждение» помогает нам отчетливее представить себе и запомнить ход решения задачи⁴⁴.

Внутренняя речь, таким образом, уже представляет собой мыслительную операцию, что может служить довольно точной современной интер-

лительной деятельности (ср.: В. В. Мартынов, Семиологические проблемы искусственного интеллекта, ИАН СЛЯ, 1978, 1, стр. 5). Однако о неадекватности «диалогического» определения коммуникации свидетельствуют и такие тривиальные случаи, как использование заметок на память (в графической, электромагнитной и др. форме). Здесь в качестве адресанта и адресата выступает попеременно одно и то же лицо (ср.: Р. В. Пазухин, Учение К. Бюлера..., стр. 103).

³⁶ *Sophistes*, 263-е.

³⁷ «Энциклопедия кибернетики», II, Киев, 1975, стр. 100; Дж. Милсум, Анализ биологических систем управления, М., 1968, стр. 22—23, 45—46, 51, 300 и сл.

³⁸ «Энциклопедия кибернетики», II, стр. 102; Л. Телов, Очерки о кибернетике, М., 1959, стр. 61 и сл.

³⁹ Ср. Н. А. Аггониов, Материальная основа сознания, в кн.: «Проблемы сознания», М., 1966, стр. 81.

⁴⁰ Предполагается, что эта схема является еще более сложной: А. Н. Соколов, Внутренняя речь и мышление, М., 1968, стр. 77 и сл.

⁴¹ Ср.: J. Lotz, Speech and language, JASA, XXII, 6, 1950, стр. 712.

⁴² А. Н. Соколов, указ. соч., стр. 3.

⁴³ Там же, стр. 131 и сл.

⁴⁴ Там же, стр. 165.

претацией догадки Платона и его последователей (см. выше)⁴⁵. Сейчас, однако, мышление не сводят только к внутренней речи⁴⁶. Можно в связи с этим предполагать, что в мыслительных операциях язык выступает как сочетание кинестетических, слуховых и зрительных ощущений (которые, видимо, могут перемежаться и замещаться неречевыми ощущениями и образами). Воспроизводя (синтезируя) эти ощущения в ослабленной форме (часто независимо от внешних раздражителей) и комбинируя их, думающий осуществляет мыслительные операции⁴⁷. Особенно наглядно это проявляется в случаях, которые мы называем собственно логическим мышлением, т. е. когда думающий контролирует, проверяет и исправляет результаты интуитивных актов мышления. Именно поэтому можно говорить о наличии в мышлении обратной связи⁴⁸ и понимать мышление как интрасубъективную коммуникацию, в которой язык (в той мере, в какой он в мыслительных процессах участвует) выполняет постоянно присущую ему коммуникативную функцию⁴⁹. При таком подходе, очевидно, отпадает необходимость допущения самостоятельных «ментальной», «монологической» и подобных функций, не совпадающих с коммуникативной функцией.

3.4. Следует признать, что обе гипотезы — признающая участие языка в мыслительных операциях эгоцентрической коммуникацией (3.3) и отрицающая это (3.0) — в равной мере не подтверждены экспериментами и наблюдениями. Вернее, те немногие надежные эмпирические данные, которыми мы располагаем, не противоречат ни первой, ни второй гипотезе. И все же гипотеза интрапсихической коммуникации уже сейчас обладает существенным методологическим преимуществом.

Как известно, гипотезы (и теории) могут быть описательными и объяснительными. Первые только регистрируют (иногда с высокой точностью) наблюдаемые факты, вторые же не только описывают факты, но и дают представление о причинах, источниках, скрытых механизмах явлений. Очевидно, что объяснительные гипотезы (теории) представляют собой значительно большую ценность для науки, которая стремится превратить (если это возможно) каждое свое утверждение в объяснительное.

Гипотеза, предусматривающая существование специальной «ментальной» («выразительной») функции языка (3.0), принадлежит, несомненно, к низшему (описательному) уровню. Она лишь декларирует участие языка в мыслительных операциях, связывает это явление с внутренней речью, но не содержит в себе даже намека на то, каким конкретным способом может осуществляться использование языка в мыслительных операциях. В этом отношении гипотезу «ментальной» функции языка полезно

⁴⁵ Как несомненное недоразумение следует, видимо, воспринимать утверждение Е. Гродзинского о том, что внутренняя речь не является речевой деятельностью, но представляет собой какое-то самостоятельное явление непонятной природы, возникающее у человека независимо от возникновения у него «внешней речи» и мышления (Е. G r o d z i ŋ s k i, указ. соч., стр. 20—21, 121).

⁴⁶ О дискуссии на эту тему см.: Б. А. Серебряников. К проблеме «язык и мышление» (Всегда ли мышление вербально?), ИАН СЛЯ, 1977, [1, стр. 9 и сл.

⁴⁷ А. Н. Соколов, указ. соч., стр. 28 и сл.

⁴⁸ А. И. Леонтьев, Мышление, в кн.: «Философская энциклопедия», III, М., 1964, стр. 516.

⁴⁹ Очевидно, что эта точка зрения не имеет ничего общего с тем монсфункционализмом, который утверждает, что внутренняя речь (которая приравнивается здесь к мышлению) имеет свой собственный «предметно-изобразительный» код, а языку остается только роль «транспортера» мысли собеседнику; ср.: Н. И. Жинкин, О кодовых переходах во внутренней речи, ВЯ, 1964, 6, стр. 29, 36, 37. Н. И. Жинкин, по-видимому, является единственным языковедом, который пытался решить данный вопрос экспериментальным путем, но он, к сожалению, очень произвольно интерпретирует результаты своих интересных экспериментов.

сравнить с другой описательной гипотезой, пресловутой гипотезой «чистого мышления». Как известно, последняя, в своей наиболее радикальной форме отрицавшая участие языка в мышлении, представляла мышление как оперирование отвлеченными категориями (например, такими, как «подобие», «отношение», «зависимость», «предметность»), не имеющими наглядно-чувственной формы⁵⁰. В тех случаях, когда сторонники этой гипотезы спрашивали о физиологических механизмах мыслительных операций, они отвечали, что субстратом этих операций является «душа» (die Seele), которая непознаваема⁵¹.

Хотя гипотеза «чистого мышления» стала сейчас уже историческим курьезом, а гипотеза «ментальной» функции представляет собой современную научную гипотезу, основанную на убедительных допущениях, между этими двумя гипотезами есть нечто общее, характерное для описательных гипотез. А именно, утверждение о непознаваемости «души» в первом случае и утверждение о некоммуникативном характере процессов мышления во втором случае в равной степени означают отказ от всяких предположений о материальной (физиологической) основе мышления.

Наоборот, концепция, рассматривающая мышление как интраперсональную коммуникацию (3.3), открывает дорогу к возможному объяснению того, как в действительности функционируют механизмы мыслительной деятельности. Эта гипотеза трактует мышление как разновидность целенаправленной деятельности, общие свойства которой нам достаточно известны. Мы знаем, в частности, что всякая целенаправленная деятельность должна быть хотя бы частично контролируемой. Для этого (1) она должна включать в себя материально-чувственные элементы, и (2) по крайней мере исходное задание и результаты операций должны восприниматься деятелем. Язык, в той мере, в какой он участвует в мыслительных процессах, и сообщает осязаемую материальную форму (в виде речевых ощущений) этим процессам.

При этом гипотеза интраперсональной коммуникации отнюдь не игнорирует специфики употребления языка в мыслительных процессах, особой структуры эгоцентрических высказываний, их фрагментарности, предикативности и пр. (в рамках данной гипотезы эти структурные особенности также находят свое объяснение: их обычно рассматривают как следствие различных «коротких замыканий», по выражению Л. С. Выготского, неизбежно возникающих в общении индивида с самим собой). Иными словами, сторонники данной гипотезы признают существование «ментальной» функции, но только как одной из э п и ф у н к ц и й языка. В соответствии с принципом (2.2) они считают вполне обоснованным разделение всех (коммуникативных) высказываний на «эгоцентрические» и «внешние».

Конечно, никто не может гарантировать того, что гипотеза интраиндивидуальной коммуникации в дальнейшем будет подтверждена экспериментально. Вполне возможно даже, что в результате проверки она будет отвергнута. Но она дает непротиворечивый и довольно конкретный образ того, как могли бы осуществляться мыслительные операции, образ, над опровержением или подтверждением которого будут думать исследователи. В результате этого мы получим какое-то новое знание о скрытых механизмах мышления (хотя бы негативное). Предвидение такого результата очень часто заставляет нас предпочесть даже плохую объяснительную гипотезу — удовлетворительной описательной гипотезе.

⁵⁰ Например: O. K ü l p e, *Einleitung in die Philosophie*, Leipzig, 1921, стр. 57—58, 61—62; е г о ж е, *Vorlesungen über Psychologie*, Leipzig, 1920, стр. 98, 166.

⁵¹ O. K ü l p e, *Vorlesungen...*, стр. 25.

3.5. В заключение несколько слов о так называемых «аккумулятивной» и «метаязыковой» функциях языка.

Иногда утверждают, что язык обладает способностью аккумулировать общественно-исторический опыт человечества и служить «формой существования» этого опыта. Изучая язык, человек одновременно познает мир, который отразился в структуре языка. Считается, что мы имеем здесь дело с особой функцией языка, которая не связана с коммуникацией⁵².

Очевидно, что концепция «аккумулятивной функции» очень неточно сформулирована. Ибо, если даже допустить, что в структуре языка адекватно отражается опыт человечества, и что люди могут извлекать этот опыт, изучая структуру языка, не подлежит сомнению, что ни о каком функционировании, способе использования языка здесь нет и речи. Язык выступает здесь не как средство, но как объект изучения: это — весьма распространенный в обучении и лингвистическом исследовании случай, когда наблюдатель изучает семантические соответствия элементов структуры языка элементам внешнего мира. Пожалуй, в этом случае можно было бы говорить только о том, что наблюдатель познает функции языковых элементов, т. е. субфункции языка (2.1). Для сравнения представим себе новичка, который изучает устройство и функционирование трактора (2.0). Было бы странным утверждать, что этот новичок работает на тракторе.

По этим соображениям предположение об «аккумулятивной» функции языка следует решительно отклонить.

3.6. Характерной и неповторимой особенностью языка является его способность служить средством описания самого себя. Некоторые исследователи ставят в связи с этим вопрос о существовании специфической функции языка, которую называют «метаязыковой» (metalingual)⁵³.

Очевидно, однако, что данная способность является следствием неограниченности коммуникативной функции языка, т. е. его способности сообщать о любых (произвольных) сюжетах⁵⁴. Если это действительно так, то, наряду с возможностью сообщения об экстралингвистических сюжетах, мы должны также допустить возможность языковых сообщений о самом языке и его элементах (ср., например, грамматику русского языка, написанную по-русски)⁵⁵. Мы имеем здесь дело, таким образом, с особой реализацией коммуникативной функции, т. е. со специфической эпифункцией языка (2.2). Следовательно, требование принятия особой «метаязыковой» языка также ведет к нарушению иерархии функций.

4.0. Лингвистический полифункционализм пользуется среди лингвистов несравненно большей популярностью, чем монофункционализм. Эта популярность связана, по-видимому, с тем, что в своем большинстве утверждения «полифункционалистов» кажутся простыми, естественными, очевидными. Наука, однако, ищет прежде всего существенные и определяющие связи между явлениями, отнюдь не смущаясь тем, что иногда эти связи могут показаться с первого взгляда неестественными, странными и противоречащими здравому смыслу. В данной статье я старался показать, что лингвистика в этом отношении не представляет собой исключения среди прочих наук.

⁵² А. А. Леонтьев, указ. соч., стр. 103; В. А. Аврорин, указ. соч., стр. 41.

⁵³ Например: R. Jakobson, указ. соч., стр. 356.

⁵⁴ Р. В. Пазухин, К определению универсального кода, ВЯ, 1969, 5, стр. 55 и сл.

⁵⁵ Таким же образом наш трактор (2.0), наряду с прочими объектами, способен, очевидно, буксировать также и тракторы или их детали.

КОЛШАНСКИЙ Г. В.

ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Развитие различных направлений в современном языкознании характеризуется прежде всего одной главной линией, а именно, охватом языка в его целостности с учетом его реального функционирования в обществе. Крайние концепции, имевшие широкое распространение в недавнем прошлом, страдали прежде всего явной односторонностью рассмотрения языка как средства общения. Рассмотрение языка как объекта для построения формализованных моделей, изучение языка в узколингвистическом, формальном или позитивистском, а также феноменологически-концептуальном плане, поиски формализации семантического плана, прагматические исследования и ряд других направлений продемонстрировали несостоятельность любого, пусть даже глубокого, но одностороннего исследования языка.

Язык представляет собой действительно уникальный объект, диктующий не только методологическую, но и методическую необходимость сохранения его интегральности во всех конкретных исследованиях. В принципе задаче изучения языка как первоосновы человеческого общения может отвечать только лингвистика, не упускающая из виду его тотальность на всех уровнях и в любых конкретных проявлениях. По существу такая лингвистика должна быть коммуникативной, поскольку она обязана исходить из единственной существенной характеристики языка как средства человеческой коммуникации.

Коммуникативный подход к языку предопределяет путь анализа языка. В связи с тем, что коммуникация осуществляется минимум на уровне высказывания, которое способно выражать некоторое утверждение относительно чего-то, высказывание становится во главу угла исследования языка. Структура высказывания, по существу, должна вскрывать весь механизм функционирования языка, поскольку все существенные черты сознания и понятийного аппарата как идеального мира человека должны адекватно отображаться в построении этой языковой единицы.

Из положения Маркса о том, что «язык есть непосредственная действительность мысли...»¹, глубина содержания которого еще далеко не исчерпана в современной лингвистике и до сих пор различно интерпретируется языковедами и философами, на наш взгляд, неотвратимо следует, что структура языка должна быть соотнесена со структурой закономерностей существования материального мира. Истинное познание возможно лишь при условии, что язык в своей структуре точно передает эту истину, по не искажает ее. Более того, сама истина формируется в определенной познавательной и объективно адекватной структуре, основной единицей которой всегда в философии признавалось суждение, а его языковым выражением — высказывание.

Уровень высказывания должен быть признан поэтому первой точкой отсчета для структурирования языка вообще. Лингвистика — это прежде

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., 3, стр. 448.

всего теория высказывания. Поведение высказывания в рамках некоторой совокупности текста открывает для исследователя путь описания вербального общения. Составляющим элементом общения является высказывание², а сама коммуникация должна быть определена как текст; единицы же, входящие в само высказывание, должны рассматриваться как составляющие компоненты минимальной смысловой единицы³. Словосочетания и отдельные слова получают в этом случае статус не единиц, образующих высказывание, а единиц, возникших в результате разложения самого высказывания. В процессе коммуникации человек формирует первоначально высказывание, а поэтому целостность высказывания есть предварительное условие вхождения в него тех или иных слов и словосочетаний. Другими словами, высказывание не складывается как простая сумма из слов с их значениями, а скорее наоборот — слова с их значением получают свое реальное существование только как часть контекста в рамках высказывания. Само высказывание есть продукт синтезирующей мыслительной деятельности, направленной на отображение не разрозненных элементов деятельности, а на отображение их как звена во взаимосвязанной цепи событий, процессов и т. д. Семантика высказывания доминирует, естественно, над дискретным смыслом слов и словосочетаний и скрепляет отдельные значения в единый смысл. Лексические значения словарного типа являются продуктом аналитической деятельности сознания, т. е. деятельности, вычленившей из цельной единицы высказывания его части и закрепляющей таким образом в словаре относительно изолированные семы.

Для русского и советского языкознания проблема коммуникативной функции языка, связанной с передачей определенного мыслительного содержания в языковых единицах, всегда базировалась на том исходном пункте, что язык во всех своих формах предназначен именно для обмена мыслями. Напомним, что эта концепция в значительной мере была развита А. Потемной⁴, в теоретических исследованиях и практических рекомендациях Л. В. Щербы⁵ и фундаментально обоснована в трудах Мещанинова⁶. Столбовой дорогой для русского и советского языкознания было признание и разработка в том или ином аспекте семантических проблем языка.

Многие концепции лингвистической семантики, в той или иной форме затрагивающие вопрос о семантической организации высказывания, и прежде всего концепции интерпретирующей и порождающей семантики, исходят из того положения, что семантическое наполнение высказывания

² Ср.: «Предложение — образование неопределенное, неограниченно варьирующееся: это сама жизнь языка в действии. С предложением мы покидаем область языка как системы знаков и вступаем в другой мир, в мир языка как средства общения, выражением которого является речь (*le discours*)» (Э. Бенвенист, Уроки лингвистического анализа, в его кн.: «Общая лингвистика», М., 1974, стр. 139).

³ Ср.: «Коммуникация образует целенаправленный и относительно законченный ряд элементарных речевых актов» (Е. У. Грозе, *Text und Kommunikation*, Stuttgart — Berlin, 1976, стр. 14).

⁴ «В истории языка общего внимания заслуживает, конечно, исследование не звуковой наружности слов, которое при всей своей важности имеет лишь служебное значение, а мысленного содержания слов, невозможного, не существующего без языка, создаваемого и воспроизводимого вместе с звуковой внешностью слов» (А. А. Потемная, Из записок по русской грамматике, III, М., 1968, стр. 5).

⁵ «Ведущим началом для активного усвоения языка должен быть смысл...» (Л. В. Щерба, Новая грамматика, в его кн.: «Языковая система и речевая деятельность», Л., 1974, стр. 77).

⁶ «Как предложение, так и слово являются носителями выраженной в них семантики и благодаря ей получают свое внешнее оформление. Поэтому, при анализе строя предложения приходится обращать усиленное внимание на смысловую его сторону» (И. И. Мещанинов, Члены предложения и части речи, М. — Л., 1945, стр. 113).

происходит на базе синтаксической структуры, и как бы ни были тесны связи между лексикой и синтаксисом, лексика лишь специфицирует значение членов синтаксической конструкции, заполняет определенное место на синтаксическом дереве. Начиная с работ Каца и Фодора и кончая работами Хомского, а также работами Лакова, Маккоули и др., основной упор в объяснении содержательного плана высказывания делался все-таки на то обстоятельство, что общая синтаксическая структура (пусть даже и в чисто формальном плане — как крайний случай синтаксической теории) диктует смысл фразы (например, на основе глубинной структуры или на основе логических падежей), детерминирует конкретное семантическое наполнение структуры, которое определяется классом лексем, занимающих место в узлах синтаксического дерева. В данном случае нам важно подчеркнуть не явно слабые стороны всех видов семантико-синтаксических теорий, а еще раз обратить внимание на тот момент, что лингвисты сходятся чаще всего в том мнении, что механизм языкового порождения нацелен прежде всего на порождение целых высказываний, а не на алгоритм простого сложения слов⁷. Другими словами, коммуникативная направленность высказывания и его структура предопределяют семантическую структуру и включают ее в общий коммуникативный аспект, задавая тем самым разнообразные связи и отношения с семантической системой определенного языкового фрагмента.

Если даже не касаться вопроса о том, существует ли довербальная стадия формирования смысла, то в общем гносеологическом плане можно оспаривать то положение, что смысл образуется многоэтапным путем, от значения слова, и, далее, через сложение его в блоки до уровня цельного высказывания. Можно предполагать за отсутствием каких-либо экспериментальных данных, что по меньшей мере смысл высказывания образуется, исходя из некоторой интенции говорящего, т. е. из некоторой глобальной установки на смысл будущего высказывания. В этом случае доминирующим для самого содержания высказывания все равно оказывается тотальный смысл, а не алгоритм сложения слов и словосочетаний в единую фразу. Если бы существовал этап составления некоторого смысла из разрозненных слов, то в этом случае эта процедура была бы безрезультатной, поскольку связывание слов потребовало бы так или иначе наличия некоторого цельного содержания, в звеньях которого должны были бы войти отдельные слова.

Смысл высказывания является изначально цельной единицей, поэтому адекватное отражение действительности в человеческом сознании возможно только потому, что оно охватывает цельность любого кусочка действительности. Семантическое единство высказывания является предпосылкой функционирования отдельных языковых единиц, начиная от слова, входящего в словосочетание и предложение, и кончая самим предложением, входящим в определенный текст. Вся совокупность окружений любой языковой единицы образует тот контекст, который в микро- или макро-размерах определяет смысловое содержание конкретного фрагмента коммуникации. Вот почему контекстуальные условия высказывания являются необходимым условием, релевантным для исследования семантики языка вообще.

Языковая семантика начинается только на уровне высказывания, лексическое же значение можно рассматривать лишь как продукт классифицирующей деятельности человеческого сознания, как предварительный этап формирования адекватного отображения того или иного явления.

⁷ П. А. Соболева, Семантика в трансформационной грамматике, сб. «Слово-образовательные и семантико-синтаксические процессы в языке», Пермь, 1977.

Высказывание есть интегральное формальное и смысловое единство, членение которого дает в итоге лишь номинативные единицы, а не единицы коммуникации, объединение которых дает в итоге текст как законченную единицу коммуникации⁸.

Коммуникация есть реализация языковой системы, но не в том смысле, что некоторая абстрактная языковая система получает свое реальное выражение в конкретном коммуникативном отрезке. Коммуникация реализует систему языка в том смысле, что сама коммуникация есть существование языка, она насквозь пронизана языковой системой, как и любое явление, неразрывно сочетающее в себе индивидуальное и общее, конкретное и абстрактное. Именно эта диалектика конкретного и абстрактного и позволяет рассматривать любой коммуникативный фрагмент только в его цельности как в плане формальных категорий, так и в плане смысловой структуры. В конечном итоге любое конкретное высказывание отображает всю систему языка и его категориальных отношений, естественно, в качественном, а не в количественном отношении (например, категорию времени, хотя и не весь набор средств выражения времен, или категорию падежа, хотя и не всю сумму конкретных падежей), его организацию и одновременно все возможные его связи в бесконечной цепи потенциальных речевых актов. На этом основании еще раз необходимо подчеркнуть, что возможность вербального общения реализуется всегда в конкретной ситуации, в определенном языковом и параязыковом окружении — контексте и что контекст есть внутренняя характеристика коммуникации, т. е. отражает такие ее свойства, которые диктуют анализ любого звена ее цепи только при учете всех его прямых, непосредственных и опосредованных окружений. На высшем уровне абстракции любая единица языка как в плане содержания, так и в плане выражения контекстуально обусловлена не только наличествующей совокупностью единиц, но и всей лексико-грамматической и семантической системой языка.

В связи с тем, что семантическое взаимодействие всех без исключения языковых единиц, включая знаменательные и сложные слова, осуществляется в пределах некоторого цельного коммуникативного отрезка (другими словами, текста), категория семантики должна быть отнесена прежде всего к уровню текста. Вот почему смыслы высказываний и смысл текста представляют собой единство и цельность, в рамках которого семантика отдельных языковых единиц составляет лишь часть этого целого. Семантическая дискретность текста есть его смысловое структурирование, а не сумма отдельных значений единиц. Семантика не может быть понятием арифметического характера, т. е. результатом сложения или деления элементарных значений в рамках некоторого цельного смысла. Наоборот, элементарные значения отдельных единиц есть результат структурирования тотального смысла высказывания (текста).

Понятие сочетаемости значений не может покрывать собою способность некоторого слова соединяться с другим словом, образуя осмысленное сочетание (типа *высокий дом*, *длинная дорога*, *ударить мяч* и т. д.). Так называемая валентность слова есть перевернутая категория смысла высказывания, т. е. категория, которая на самом деле причастна единому

⁸ Ср.: «Одной из причин, побудивших лингвистов обратиться к анализу единиц „больше предложения“, несомненно, явилась невозможность предоставить адекватное решение проблемы взаимоотношения синтаксиса и семантики в рамках различных грамматик предложения». («Грамматическая „правильность“, и „приемлемость“ высказывания. К вопросу о соотношении семантики и синтаксиса», М., 1979, стр. 25). См. также: «Проблемы лингвистики текста», М., 1978; T. A. van Dijk, Some aspects of text grammars. A study in theoretical linguistics and poetics, The Hague—Paris, 1972, стр. 343—392.

смыслу коммуникативного акта. Даже нормы возможных словосочетаний могут рассматриваться как результат текстовых смысловых ситуаций, но не как формальная заданность строгой избирательности той или иной языковой единицы, т. е. ее валентности. Текстовая семантика есть исходная величина для любого семантического анализа, основывающегося в конечном итоге на гносеологических предпосылках мышления. Текстовая семантика регулирует поэтому все конкретные семантические связи любого высказывания и определяет место каждой единицы в контексте коммуникативного акта.

Коммуникативный аспект языка означает прежде всего наличие единой структуры языковых единиц общения, скрепленных неразрывной связью содержательной и формальной сторон. Если при построении различных моделей языка вычленяется то или иное качество, свойство, сторона языковой единицы, то предпосылкой анализа языка по таким моделям остается строго заданная ограниченность цели. Представление любой языковой единицы как элемента реальной коммуникации, однако, требует в итоге не разложения этой единицы на ее элементы и свойства, а наоборот — требует интегрального определения, нацеленного на раскрытие единой сущности коммуникативного акта.

В соответствии с установкой того или иного лингвистического направления элементы языка рассматривались или в плане системы и речи, или в плане субъективного языкового волюнтаризма, или в плане знаковой комбинаторики. В результате подобных воззрений на язык в лингвистике получили широкое распространение оппозиции типа: существование предложения в языке и высказывания в речи; наличие грамматической и логической структур предложения, образующих два отдельных, хотя и связанных, уровня; наличие предложения с его подлежащно-сказуемостной грамматической структурой и коммуникативных типов структуры; грамматический и коммуникативный уровни; наличие структурного ядра и его трансформационных разветвлений; наличие цепочки связанных единиц слов как поверхностного выражения некоторого глубинного семантического уровня и т. д. Все эти точки зрения на язык связаны с фундаментальными принципами и философскими положениями о сущности языка и поэтому не должны недооцениваться как чисто методические приемы анализа языка.

Коснемся одного из вышеприведенных утверждений относительно двуплановости построения высказывания — логического и грамматического или грамматического и коммуникативного. В связи с этой точкой зрения предполагается, что высказывание может формироваться как некоторая формальная структура на основе логических или синтаксических законов, а затем в зависимости от цели сообщения оно может приобретать ту или иную надстройку, реализуемую в коммуникативном акте. Достаточно хорошо известны типы предложений (например, *Олимпийские игры 1980 г. будут проходить в Москве*) с различным фразовым ударением, содержащие в себе практически две смысловые структуры — одна смысловая структура определяется соотношением $S - P$: «игры будут проведены в Москве»; вторая — характеризуется соотношением $S' - P'$ «Москва будет городом, где будут проходить Олимпийские игры 1980 г.». В соответствии с такой дуалистической концепцией в одной формальной структуре сосуществуют два смысла, реализация которых зависит от коммуникативной доминанты (например, цели автора сообщить соответственно нечто как известное, а нечто иное как новое). Однако такое, на первый взгляд, простое объяснение создает существенные затруднения в описании языковых единиц, главным из которых является необходимость признания сосуществования двух различных смыслов, расположенных на разных

уровнях в одной и той же грамматической структуре (уровень подлежащего и сказуемого и коммуникативный уровень нового — данного). Вряд ли коммуникация строится по правилу этапного формирования смысла — сначала выбора готовой структуры, а затем ее дальнейшей трансформации в акте общения. Сам по себе коммуникативный акт есть единый творческий акт осуществления мыслительной деятельности человека, материализующейся только в языковых формах, назначением которых является адекватное выражение мысли, а не создание альтернативы при выборе той или иной конструкции для выражения разных смыслов. Вообще такая постановка вопроса одновременно предполагает существование третьего промежуточного языка (иногда говорят — языка мозга), на основе которого протекают сами мыслительные процессы, в том числе и процессы, определяющие выбор той или иной готовой грамматической структуры. В связи с полным отсутствием экспериментальных данных в этой области обычные логические рассуждения заставляют отказаться от такой двойственности языкового и мыслительного процесса и признать единый, одновременный и непосредственный характер формирования смысла в рамках однозначной структуры, организуемой всей суммой грамматических (синтаксических и морфологических) и интонационных средств.

Такая целеустановка, определяемая действительной природой языковой коммуникации, заставляет пересмотреть вопрос о характере синтаксиса языка (прежде всего предложения), в частности, заставляет признать равноправность всех грамматических средств (реляционная морфология, порядок слов, просодические средства) как для любого национального конкретного языка, так и в общетипологическом плане.

Концепция языка, нацеленная на его изучение в реальном функционировании, не согласуется с широко распространенным взглядом о различении языка и речи — другими словами, о существовании двух форм, двух уровней — языка и речи. Начиная с постулата Соссюра (система и узус) и кончая современной интерпретацией этой дихотомии во всех ее разновидностях — от философской, формальной и до психолингвистической (признание двух сфер языковой деятельности — компетенции и исполнения) — эти идеи утверждались не только в теории языка, но и в широчайшей практике преподавания языка. Эта, на первый взгляд, удобная версия структуры языка исходит из того основного положения, что языковая система есть прежде всего совокупность правил и лексикон, а общение есть использование этого арсенала средств на основе знаний о нем (приобретенных или врожденных) в процессе общения. В лингвистике создалась такая картина, аналогия которой в естественных науках, например в минералогии, могла бы вылиться в утверждение о том, что особо существует минерал как определенная закономерность размещения молекул и атомов вещества и особо отдельный кусок минерала как проявление этого общего закона, который свидетельствует своим наличием о такой физической категории как минерал. Для естествоиспытателей, однако, никогда не было возможным признание реального существования минерала помимо «минеральности», так как эта «минеральность» всегда исследовалась в конкретных породах. Языкознание же не только стало создавать свой идеальный «язык» в качестве набора правил, моделей и т. д., но и признало эти модели в качестве самостоятельного объекта, причем зачастую — объекта высшего порядка, внутренне строго организованного, системного, социального и т. д. (Соссюр), отодвинув реальное словесное общение на уровень индивидуального использования этого идеального объекта — речевого акта со всеми погрешностями, присущими говорящему субъекту (ошибки, отклонения от нормы и т. д.).

После Соссюра для многих лингвистов стало догмой, что языкознание имеет дело с двумя объектами — языковой деятельностью — речью и системой правил этой деятельности — языком. Если даже не говорить о том, что Соссюр проявлял заметные колебания в этом вопросе и многократно напоминал, что в действительности существует единая речевая деятельность человека (*langage*), — все же в последующей истории закрепилось положение о том, что ведущим объектом языкознания является конституирование твердой системы правил, получающих таким образом свой особый статус существования.

Идея моделирования языка, восходящая к Соссюру, вылилась затем в построение всевозможных абстрактных схем, выдаваемых за сам язык. Начиная от всевозможных формул чисто буквенных (*NP — VP*) и кончая псевдословесными выражениями (типа *глокая куздра...*; *пироты карулируют элатично* и т. д.), языкознание должно было продемонстрировать якобы реальность статуса языка как строго фиксированной суммы правил, отвергнув и забыв при этом элементарные логические соображения о том, что все эти системы правил, в какой бы форме они ни были представлены, есть не что иное, как теоретическое отвлечение от действительной речи — языковой деятельности человека. Неправомерное расщепление коммуникации на язык и речь создало иллюзию существования двух объектов языкознания — особо языка и особо речи.

На самом же деле различение языка и речи есть элементарная, на наш взгляд, проблема диалектики — единичного и общего, согласно которой любое индивидуальное конкретное явление обладает и абстрактным категориальным свойством, определяющим его принадлежность к тому или иному классу явлений («минеральный минерал»). Язык человека есть именно средство общения, и любая единица, фрагмент или акт общения и есть его конкретное и дискретное существование, которое одновременно определяет любую единицу как элемент категориальной принадлежности к человеческому языку («речевой язык»). Количественный момент, а именно ограниченность единичного высказывания или некоторой суммы высказываний не может служить основанием для утверждения того, что каждое речевое исполнение есть лишь часть некоторой особой системы. Наоборот, именно каждый конкретный речевой акт и есть воплощение языковой системы. Лишь теоретическое моделирование имеет право абстрагировать ту или иную черту или свойство реальной речевой единицы и вписывать ее в существующую абстрактную теоретическую модель. Иллюзия того, что эта модель становится самим реальным объектом, привела языкознание к тому, что стал серьезно обсуждаться вопрос о создании языковых моделей как способа создания языкового механизма. Крайность этого взгляда проявилась в том, что языковая модель превратилась в модель чистой формы, отображающей лишь физическую — формальную (грамматическую, лексическую, фонетическую) сторону языка за вычетом его смыслового наполнения.

На самом же деле реальное моделирование, насколько оно возможно для такого уникального объекта, как язык, должно было бы основываться не на чистой форме, а на функциональной динамике самого языка. Другими словами, эта модель должна отобразить вербальное общение во всей цельности (обмен мыслями в определенной конкретной ситуации), что уберегло бы лингвистику от явных крайностей.

Коммуникативный аспект языка требует глобального описания относительно самостоятельных единиц коммуникации, начиная от предложения и кончая текстом в его неразрывном единстве содержательной и материальной сторон. Именно единство воплощения конкретных и абстрактных черт в любом высказывании не дает основания разрывать язык на две

сферы — язык и речь — и требует возвращения к теоретическому и практическому исследованию языка, освобожденному от иллюзии двуобъектности, двухпредметности языковой онтологии.

Онтология языка включает в себя его функцию, в этом смысле представляя уникальное качество языка, служащего одновременно предметом исследования и средством изложения результатов этого исследования. Это свойство лингвистического объекта выделяет языкознание из ряда всех других естественных и гуманитарных наук (за исключением наук, занимающихся изучением вербального процесса общения). Коммуникативная лингвистика в этом смысле нуждается в последовательном монизме на всех уровнях анализа языка, что существенно важно для решения таких фундаментальных вопросов, как язык и мышление, теория предложения, семантика, контекст, структура и система, категория смысла, понятие стиля, теория текста и т. д.

Определение коммуникативной лингвистики не совпадает с понятием функциональной лингвистики. В понятие коммуникативной лингвистики включается прежде всего ее существенное определение, другими словами, определение всех языковых категорий, структуры и системы в аспекте выполнения ими коммуникативных задач всем наличным арсеналом средств. Если подходить к языку с точки зрения его полифункциональности и каждый раз расчленять язык в зависимости от предполагаемой его функции — экспрессивной, стилистической, эмоциональной, побудительной, аппеллятивной, этативной и т. д., то можно создать ложную картину функционирования языка как такого механизма, различные детали и части которого выполняют свои собственные функции в зависимости от того, образно говоря, какая деталь обрабатывается, другими словами, с какой целью формируется то или иное сообщение. Если же рассматривать язык в полном согласии с исходным тезисом о его сущности как материализации общественного сознания и единственной материи мышления, то следует признать, что языку свойственна лишь одна функция — коммуникативная, включающая в себя в полном единстве все слагаемые информационного содержания, передаваемого средствами языка. Монофункциональность языка требует не расчленения, а объединения всех аспектов общения в единое содержание. Рассмотрение языка с той или иной, но одной стороны может раскрывать только одну или поверхностную сторону языка, а именно его возможные особенности, диктуемые целями и стратегией коммуникативных действий [коммуникация в деловой обстановке, коммуникация в процессе общения (обучения), коммуникация в массовой аудитории, коммуникация с помощью средств связи, например, телефона, телеграфа; коммуникация двух партнеров с соответствующими возрастными особенностями и т. д.]. Такое изучение языка, по существу, есть область функциональной лингвистики, и формируется оно как направление лингвистической прагматики⁹.

Сама же коммуникативная лингвистика предполагает не описание функционирования языка в определенных условиях, а исследование собственно языковых категорий, предназначенных для выполнения коммуникативных функций¹⁰. Структура высказывания, соотношение главных и второстепенных членов, способы сцепления предложений в абзацы и формирование текста, виды высказывания, многозначность и однозначность языковых единиц, синонимия и омонимия, соотношение так называемого коммуникативного, грамматического и логического планов предложения,

⁹ B. Schlieben-Lange, *Linguistische Pragmatik*, Stuttgart—Berlin—Köln, 1975, сб. «Sprache in Situationen», hrsg. von Fr. Hebel, München—Berlin, 1976.

¹⁰ J. R. Searle, *Speech acts. An essay in the philosophy of language*, Cambridge, 1976.

варианты и стилистические нюансы высказывания и т. д. могут предстать в совершенно ином свете с позиции лингвистики, имеющей исключительно монистическую установку на тотальное единство языкового коммуникативного процесса. Рассмотрим подробнее с этих позиций два широко известных и уже канонизированных в языкознании положения.

Высказывание занимает свое место в коммуникации как элементарная единица, имеющая законченный смысл, что предопределяет в принципе возможность общения людей именно на той основе, которая содержится в высказывании как информация, могущая служить объектом обсуждения, другими словами, обладающая признаком истинности или ложности — этого основного свойства человеческого познания.

Сформированный в высказывании смысл имеет структуру, позволяющую относить соответствующие понятия и выражать их в языке таким образом, что говорящий и слушающий получают возможность судить о правильности или неправильности соответствующих утверждений или отрицаний, т. е. смыслов, и соответственно затем направлять свою практическую деятельность. В высказывании семантика всех элементов структуры слов и словосочетаний подчинена именно этому цельному гносеологическому содержанию.

Первым условием раскрытия правильности или неправильности мысли является соотнесение двух самостоятельных понятий, занимающих в высказывании соответственно место субъекта или предиката. Именно их соотношение и создает структуру высказывания, что в свою очередь требует признания единственных элементов, конституирующих это высказывание, т. е. грамматических субъекта и предиката. Исходя из этих концепций необходимо, следовательно, также признать, что предложение-высказывание не имеет в своей структуре в качестве конституентов второстепенных членов. Как следствие из этой концепции вытекает утверждение о том, что односоставных или одночленных высказываний также быть не может. С этих же позиций можно утверждать, что грамматические связи в предложении являются только предикативными и никакие другие виды связей между членами предложения не могут создавать высказывание.

Членение главных членов на соответствующие группы есть уже членение не предложения, а частей предложения, что дает в итоге различные словосочетания — именные и глагольные, связанные в целом другими грамматическими отношениями, а именно, отношениями атрибутивными. Предикативные отношения высказываний создают координацию главных членов, а членение второй степени есть членение субординативное, которое не разрушает двучленного единства высказывания, а, наоборот, создает его, подчиняя все слова общей предикации высказывания. Подобные рассуждения, согласуемые с представлением языка как коммуникативного средства, по существу, снимают вопрос о различных видах атрибутивных сочетаний, могущих выступать в качестве отдельного высказывания.

Грамматический статус второстепенных членов предложения по характеру их отношений внутри высказывания уравнивает слова и словосочетания, отводя им роль лишь элементов членов предложения.

Этот пример со структурой предложения лишь наглядно демонстрирует то обстоятельство, что даже традиционно формализованное членение его на главные и второстепенные члены в действительно коммуникативном аспекте может предстать в другом свете и нацелить таким образом, языкознание на освещение динамики структуры высказывания в разных типах оформления членов высказывания, начиная от односоставных предложений и кончая анализом грамматической категории сочинения и подчинения. Существенно важным предметом коммуникативной лингвистики может, например, стать трактовка сочинения как элементарного спеления

самостоятельных предикативных структур, другими словами, элементарных коммуникативных единиц-высказываний в рамках осуществления некоторого цельного процесса общения людей, т. е. в рамках коммуникативного текста. Лингвистика текста в этом случае, судя уже по наметившимся тенденциям современных исследований, займет важное место в теоретическом языкознании¹¹.

Чтобы показать возможности коммуникативной лингвистики в интерпретации известных явлений в языке, обратимся еще, например, к краткому анализу некоторых сторон лексической системы языка.

Одним из интересных вопросов в плане коммуникации является известное положение в языкознании о безграничных нюансовых переходах лексических значений, употребляемых в тех или иных ситуациях. Считается, что язык располагает богатейшим арсеналом таких слов, значения которых близки или тождественны, а выбор которых дает возможность использовать образность языка в творческом и индивидуальноном описании того или иного явления. При этом предполагается, что так называемая синонимичность — это резервуар богатства языка, особенно используемый в художественном словесном творчестве. В качестве противоположного явления рассматривается омонимия, которая якобы затрудняет общение людей ввиду возможных колебаний в понимании текста из-за одинаковости форм при явных различиях в значениях. Синонимия и омонимия рассматриваются как противоположные явления, как оппозиция, причем синонимия как плодотворное явление в языке, а омонимия как вынужденные «издержки» в развитии языка.

Однако более подробное рассмотрение явлений синонимии даст в значительной степени другую картину. Так называемые синонимы при сравнительно точном описании их семантики оказываются лишь в житейском смысле словами, имеющими общность значения, большей частью по признаку аналогии, но по своему существу имеют четко очерченные разные значения, отображающие тот или иной реальный объективный признак или, другими словами, денотат. Почти любые синонимы, зафиксированные в словарях, на проверку оказываются разными словами с разным значением.

Дальнейшее исследование лексических значений и лексикографическая практика внушили мысль о том, что словарь языка в значительной степени располагает синонимичными рядами, что якобы и создает богатство языка. Приведем элементарные примеры: *понять, уяснить, уразуметь, осознать, осмыслить, постигнуть (постичь), разгадать, раскусить, ... взять в толк; множество, масса (разг.), уйма (разг.), бездна (разг.), пропасть (разг.), тьма (разг.), куча (разг.), воз (разг.), вагон (разг.), прорва (прост.), гибель (прост.), сила (прост.)*¹². Не надо приводить даже целые словосочетания или высказывания, где так называемые нюансы значений этих синонимов будут маркировать практически разные значения (смыслы), как бы близки ни были их значения.

Представление о распространенности синонимии в языке, хотя и с всевозможными оговорками и стилистическими пометами, могло бы быть намного точнее выверено в случае, если бы тщательный анализ коммуникации подтвердил положение о том, что все приводимые в словарях синонимы являются не абсолютно равнозначными, а лишь в некоторой части близки в обозначении широкого понятийного поля номинации некоторого объективного явления. На самом деле любой лексикограф согласится

¹¹ См.: W. Dressler, Einführung in die Textlinguistik, Tübingen, 1973.

¹² «Словарь синонимов русского языка», под ред. А. П. Евгеньевой, I—II, Л., 1970—1971.

в принципе с тем, что синонимы и есть те слова, которые выражают близкое, сходное значение, признавая тем самым на деле, что коммуникативная ценность синонимии зиждется не на их тождестве, а, наоборот, на их различии, а это уже другой аспект для понимания синонимии. В целом можно сказать, что интерпретация синонимов как слов с тождественными лексическими значениями представила бы язык как сплошной набор слов-дублетов, что определило бы коммуникацию в значительной степени как тавтологию. Естественно, язык не живет по этим законам, а следовательно, и требует со стороны лингвистов анализа действительно тех семантических «нюансов», которые и составляют каждый раз особое значение той или иной лексемы. Эту задачу может выполнять лишь лингвистика, опирающаяся на постулат о коммуникативном назначении языка.

Только ничтожная часть слов может быть обозначена как абсолютная синонимия (типа *языкознание*, *языковедение*). Что же касается всех других, то их так называемое относительное тождество практически снимает вопрос об их синонимии. Иллюзия синонимии создается только благодаря весьма приблизительной, упрощенной оценке значений слов, не выдерживающей никакой критики при строгом их определении. Синонимия оказывается действительным богатством языка, но не роскошью, если под синонимией понимать многочисленные лексические дубликаты. Язык вряд ли смог бы быть такой расточительной системой, в которой для обозначения действительно одного и того же явления имелся бы целый ряд слов, употребление которых практически должно было быть чистой прихотью, если иметь в виду полное их тождество.

Омопимы — языковые феномены, действительно связанные с определенным ограничением лексикона, отклонением от основной линии развития языка. Если считать, таким образом, что коммуникация располагает лишь предельно малым количеством абсолютных синонимов и сравнительно небольшим числом реальных омонимов, то тогда функция языка приобретает свой действительный смысл, — способность полного и адекватного отображения всего многообразия реального мира в лексической системе языка.

Благодаря абстрактности содержательной стороны слова, связанной с характером познавательной и абстрагирующей деятельности человека, даже ограниченным набором лексем на основе структурной организации высказывания язык абсолютно полно и однозначно способен передавать все богатство содержания в его связях и тончайших переходах, основанных на четком обозначении всех физических и духовных явлений, служащих предметом вербальной коммуникации.

Лингвистическая и грамматическая многозначность является существенной и неотъемлемой характеристикой системы языка не в силу того, что представляет собой в некотором смысле восполнение органических недостатков языкового механизма (ограниченный набор словаря, например), а в связи с тем, что по своей природе язык есть продукт отрагательной деятельности человека, основанной прежде всего на абстрактном характере мыслительного аппарата.

Однако если бы языковая система обладала лишь этими неизбежными свойствами, то язык не смог бы выполнить свою коммуникативную функцию из-за существенных помех в общении, возникающих из-за неоднозначности лексических и грамматических форм. Эта теоретически мыслимая возможность существования языка практически уничтожила бы сам язык в связи с его непригодностью в качестве средства общения. Язык, безусловно, должен был восполнить этот, условно говоря, «недостаток», причем на той же естественной основе, на которой зиждется и сама многозначность. Компенсационным противовесом языковой многозначности и

выступает как раз контекст как существенная характеристика языка, его природное и изначально данное качество, призванное постоянно удерживать точный баланс многозначности и однозначности через контекстные условия, сопровождающие в качестве обязательного элемента коммуникации любой акт общения.

Соотношение этих двух факторов языковой системы — многозначность и контекст — можно назвать законом комплементарности языка и необходимо рассматривать как одно из важнейших условий существования и функционирования языка. Изучение контекста поэтому не есть изучение явлений, чуждых внутренней системе языка, или изучение второстепенных признаков языка, другими словами, элементов и факторов, лишь сопутствующих языку. Изучение контекста есть изучение самой системы языка, поскольку оно неизбежно должно быть увязано с описанием действительной функции любой лексической и грамматической формы. Контекстная семантика в этом случае должна являться обязательным аспектом теоретического и практического языкознания, на основе которого могут строиться как адекватное описание коммуникативных структур, так и практическое овладение языком (например, преподавание языка в учебных заведениях). Лингвистика, построенная на органической увязке интралингвистических и экстралингвистических факторов, к которым относятся контекстные и паралингвистические средства, будет лингвистикой, направленной на изучение структуры языка в аспекте выполнения им всех социальных функций, т. е. будет коммуникативной лингвистикой¹³.

Определенный поворот в языкознании, диктуемый изучением всех коммуникативных аспектов языка, будет способствовать прежде всего обособлению основной целеустановки лингвистики на рассмотрение содержательных феноменов всех языковых форм, создаст более благоприятные посылки для выработки подлинной теории системы языка как абсолютно взаимосвязанной совокупности средств — собственно языковых, просодических и параязыковых — в структурной организации коммуникативных единиц, откроет путь для исследования единиц коммуникации более высокого уровня, чем предложение (бывшее предметом изучения в течение многих столетий), текста — во всех его разновидностях, и в итоге организует исследование языка в неразрывном единстве его социальных и гносеологических сторон. Коммуникативная лингвистика должна быть интегральной наукой, обеспечивающей адекватное описание языка — его звуковой материи, лексической системы и грамматического строя как единой плоти языка.

¹³ Ср. утверждение о том, что в последнее время американское языкознание стало на путь создания теории коммуникации (W. L. Hoffe, J. Jesch, *Sprachwissenschaft und Kommunikation*, Dusseldorf, 1972, стр. 11).

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ГИРО-ВЕБЕР М.

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Традиционная классификация простого предложения, восходящая к А. А. Шахматову и представленная в многочисленных учебниках и пособиях по русскому синтаксису, опирается в основном на формальные критерии, лишь изредка и непоследовательно обращаясь к семантике предложений. При формальном подходе соотношение формы и смысла, т. е. самое существенное в лингвистическом исследовании, не только не находит должного места, но остается вообще вне внимания лингвиста. Описывая синтаксические структуры как совокупность морфологических признаков, но без выявления при этом характерного для них смысла, исследователь сводит синтаксис к морфологии, обедняет, искажает его. Между тем ни один серьезный лингвист не отрицает сейчас связи синтаксиса с семантикой, хотя последние изучается не всегда плодотворно; исследовать семантику как особый, не связанный с формой высказывания уровень — значит недооценивать ее роли в предложении¹. В настоящей статье делается попытка обнаружить семантическое начало в самой структуре простого предложения в русском языке.

На недостаточность и априорность традиционной классификации простого предложения указывали многие исследователи². Мы остановимся здесь только на некоторых положениях традиционного подхода, важных для дальнейших исследований.

Как известно, деление простых предложений на двусоставные и односоставные опирается на теорию о членах предложения. Оно основано на двух формальных критериях, которыми являются, во-первых, наличие в предложении одного или обоих главных членов и, во-вторых, форма этих членов. Придавая решающее значение морфологическим признакам, традиционный подход признает подлежащим только имя или именное сочетание в именительном падеже и инфинитив. отождествление подлежащего с именительным падежом ведет не только к искусственному уменьшению числа моделей предложения в русском языке (это искажает реальную языковую действительность), но прежде всего предполагает поверхностное и неверное понимание синтаксических связей внутри предложения. Это можно доказать на примере так называемых «безличных» предложений.

¹ Г. А. Золотова, Лингводидактические аспекты функционального синтаксиса, сб. «Вопросы лингвистического описания русского языка в целях обучения» («Ruština v teorii a v praxi», 3—4, 1972), Praha, 1972, стр. 28.

² С самой убедительной критикой выступила Г. А. Золотова («Очерк функционального синтаксиса русского языка», М., 1973, гл. 1; а также, О структуре простого предложения в русском языке, ВЯ, 1967, 6).

Безличные предложения причисляются к классу односоставных и определяются как конструкции, лишенные грамматического подлежащего. Именной компонент в косвенном падеже, столь характерный для каждого типа безличных предложений, признается только распространителем. Но утверждать, что в предложениях типа *Отца не было*, *Времени не хватает*, *Мне повезло*, *Дочку тошнит*, *С мамой плохо* и т. п. именной элемент в косвенном падеже является только распространителем, значит вывести его за пределы минимального высказывания, ибо минимальное высказывание как раз и есть то, что остается в предложении по устранении всех распространителей. Следует уточнить, что приведенная трактовка понятий распространения и минимального высказывания, понимаемого в смысле «предикативного минимума», является наиболее однозначной и принадлежит А. Мартине. Она давно стала обычной во французском языкознании. А. Мартине относит к распространению любой необязательный компонент высказывания, добавление которого не меняет ни взаимных отношений, ни функций компонентов, существовавших до него³. Учитывая, что даже сторонники «односоставности» безличных предложений не утверждают, что предложения *Отца не было*, *Времени не хватает*, *Мне повезло* можно свести к неэллиптическим, полнозначным вариантам *не было*, *не хватает*, *повезло*, мы должны констатировать явную противоречивость в работах некоторых исследователей. Что касается модного в последнее время выделения и противопоставления в предложениях, с одной стороны, «главных членов», а с другой, «обязательных компонентов», то такое различие является чисто терминологическим и представляет добавочное доказательство лингвистической необоснованности теории односоставности — двусоставности. Вряд ли следует специально подчеркивать, что само понятие «обязательного компонента» делает избыточным термин «главного члена». Выводя именной компонент за пределы предикативного минимума безличного предложения, исследователь неправомерно приравнивает синтаксическую связь между этим компонентом и сказуемым к подчинению. Между тем можно установить, что в рассматриваемых конструкциях глагол не управляет именем. Чешский лингвист В. Грабе один из первых отметил, что в предложениях *Мне идти*, *Его здесь нет* и др. отношение глагола к имени нельзя считать управлением⁴. А. М. Мухин, рассматривая безличные отрицательные конструкции с родительным падежом, экспериментально устанавливает, что связь между этим родительным и сказуемым предложения ничем не отличается от синтаксической связи традиционного подлежащего в именительном падеже с согласуемым с ним глаголом: в обоих случаях она возникает между двумя взаимопредполагающими друг друга компонентами, способными создавать предложение. Предикативный минимум А. М. Мухин выявляет путем последовательного исключения из структуры предложения всех «субординативных» (в его терминологии) связей⁵. Г. А. Золотова сопоставляет предикативную связь с управлением и выявляет две формальные черты, отличающие управление от предикативной связи. Управляемый элемент может сопровождать глагол и в его непредикативных формах: об этом свидетельствует возможность сочетаний *дать мне*, *давший мне*, *давая мне* рядом с предложением *Он дает мне что-то*. Неуправляемая словоформа такой способностью не обладает, поэтому сочетание *хотеться мне* невозможно. Кроме того, управляемая и неуправляемая словоформы занимают разные места в предложении с ней-

³ A. Martinet, *Éléments de linguistique générale*, 3-e éd., Paris, 1967, стр. 128.

⁴ V. Hrabě, *K otazce nepřímého subjektu v ruské skladbě*, «Bulletin ústavu ruského jazyka a literatury», VIII, 1964, стр. 45—49.

⁵ А. М. Мухин, *Структура предложений и их модели*, Л., 1968, стр. 134.

тральным порядком слов: неуправляемая форма стоит обычно перед глаголом в отличие от постпозиции управляемой формы. По этим соображениям невозможно считать словоформу *мне* в предложении *Мне хочется есть* управляемым словом: *мне* явно не обусловлено лексико-грамматическими свойствами лексемы *хотеться* и входит в состав предложения на основе предикативной связи⁶. Добавим, что многие исследователи давно замечали своеобразие синтаксической связи, соединяющей именно компонент безличного предложения с его сказуемым. Но назвать эту связь предикативной значило бы возвести имя в косвенном падеже в ранг подлежащего, чему препятствовала прочно установившаяся традиция. И исследователи часто останавливались на полпути, называя словоформу в косвенном падеже «обязательным компонентом предложения»⁷, «неотъемлемой частью формулы предложения»⁸, «ядерным компонентом предложения»⁹, «конструктивным элементом предложения»¹⁰ и т. п. Следует отметить, что в польской грамматической традиции нет абсолютизации именительного падежа как единственно возможного выражения подлежащего. Некоторые польские специалисты называют грамматическим подлежащим и родительный падеж косвенного субъекта безличных предложений¹¹. Из сказанного следует, что косвенная форма имени и несогласованный глагол способны сочетаться предикативной связью, ибо они способны создавать предикативный минимум предложения.

Итак, формальное согласование между именем и глаголом, в обязательности которого нередко усматривается суть предикативной связи, оказывается несущественным для грамматической оформленности предложения: отсутствие согласования не мешает грамматической правильности многих высказываний русского языка. Кстати, в этом отношении русский язык не представляет собой какого-либо исключения. Как известно, существуют языки, в которых вообще нет согласования (например, китайский), или в которых оно проводится лишь частично. Примером последних может служить хотя бы современный французский, в котором факты согласования сказуемого с подлежащим последовательно соблюдаются только на уровне орфографии; в речи они охватывают только некоторые группы глаголов и определенные глагольные формы. Исследователь современного французского языка П. Гиро вообще отрицает синтаксическую роль согласования в живой речи, а частичные факты согласования относит к «пережиткам»¹². Можно сказать, что во многих языках согласование сказуемого с подлежащим оказывается только факульта т и в н ы м формальным признаком наличия предикативной связи. Возвращаясь к русскому языку, следует отметить, что в нем сосуществуют согласованные и несогласованные предложения, и хотя преобладают согласованные, нельзя не учитывать роли несогласованных. Представляется даже возможным изобразить оба типа конструкций в виде формально-семантического противопоставления. Но об этом речь пойдет ниже.

⁶ Г. А. Золотова, Очерк функционального синтаксиса русского языка, стр. 59—61.

⁷ М. Кубик, К вопросу классификации предложений в русском языке, «Československa rusistika», XIII, 1968, 2.

⁸ Е. Кржижкова, Проблемы простого предложения, «Československa rusistika», XII, 1967, 2, стр. 79.

⁹ П. Адамец, В. Грабе, Трансформация, синтаксическая парадигматика и члены предложения, «Slavia», XXXVII, 1968, 2.

¹⁰ В. А. Кириллова, О конструктивных элементах безличных предложений, сб. «Исследования по современному русскому языку», М., 1970, стр. 90—95.

¹¹ См.: Z. Klemsiewicz, Zarys składni polskiej, Warszawa, 1961, стр. 30—32; е го ж е, Строение подлежащего и сказуемого в польском простом предложении, ВЯ, 1967, 5.

¹² P. Guiraud, La syntaxe du français, Paris, 1970, стр. 64.

Тезис о том, что именной компонент в косвенном падеже является неотъемлемой частью предикативного минимума безличного предложения и что он связан со сказуемым предикативной связью, ведет к логическому заключению, что он имеет ранг главного члена, иначе говоря, является подлежащим безличного предложения. Всякое другое решение представляется необоснованным с точки зрения общей лингвистики: оно либо непоследовательно, либо априорно. Поскольку подлежащее в таком толковании не предопределяется морфологией и может быть выявлено только при анализе синтаксических отношений в конкретном предложении, его можно назвать синтаксическим подлежащим. Синтаксическое подлежащее — это именной компонент в любом падеже, способный, сочетаясь со сказуемым предикативной связью, образовать при помощи определенной интонации правильное и грамматически достаточное минимальное высказывание.

Основываясь на определении подлежащего на собственно синтаксических критериях (наличие предикативной связи и участие в предикативном минимуме предложения), мы утверждаем его независимость от категорий логики и морфологии и пока отвлекаемся от его семантики. Однако показательно, что в изученных нами типах простого предложения подлежащее в приведенном толковании полностью совпадает с тем, что в новейших трудах принято называть семантическим субъектом — это носитель преддицируемого признака¹³. Более подробный анализ позволяет раскрыть роль синтаксического подлежащего в семантике структуры предложения.

В своем анализе несогласованных типов простого предложения мы исходим из положения, что любое конкретное высказывание является речевой реализацией существующей в языке модели предложения, поддающейся разному, в границах определенной семантики, лексическому наполнению. Изученные нами факты позволяют выявить в разных моделях простого предложения русского языка минимальное инвариантное значение, которое можно назвать, используя термин Ч. Фриза, «структурным смыслом предложения»¹⁴. Структурный смысл присущ самой модели, поэтому он не находится в непосредственной зависимости от ее лексического наполнения: носителями структурного смысла являются грамматические морфемы. Выявление структурного смысла дает возможность описать любую модель как совокупность формальных и семантических признаков, причем релевантными признаются только те ее формальные черты, которые выражают структурный смысл. Структурный смысл не следует смешивать с тем, что некоторые лингвисты называют грамматическим смыслом предложения и что можно определить как совокупность в с е х грамматических обозначаемых предложения. Для структурного смысла предложения оказываются релевантными только те грамматические обозначаемые сказуемого, которые не меняются во временно-модальной парадигме предложения; что касается флексии синтаксического подлежащего, то в ней релевантно только обозначаемое «падеж». Так, в предложении *Ребенок мечтает* нас интересуют только два элемента: именительный падеж именного компонента и согласованность глагола. Эти грамматические обозначаемые — два составных элемента структурного смысла модели, которую мы называем согласованной. Минимальным смыслом согласованной модели является отсутствие всякой информации относительно характера семантической связи между преддицируемым признаком и его носителем. В самом деле, подлежащее в именительном падеже может в равной степени обозна-

¹³ Об этом см.: Д. Д. В о р о н и н а. О функции и значении семантического субъекта в строе русского предложения. АКД, М., 1976, стр. 1—6.

¹⁴ Ch. C. F r i e s, Meaning and linguistic analysis, «Language», XXX, 1, 1954.

чать: активного деятеля (*Девочка поет*), пассивный объект действия (*Дом был построен*), носителя признака (*Он красив собой*), субъект состояния (*Мальчик болеет*) и даже объект обладания (*У меня новый велосипед*). Активность или пассивность денотата, обозначаемого именительным падежом, остается, таким образом, структурно не выраженной в согласованной модели. Напротив, несогласованная модель содержит информацию о характере отношения между предиктируемым признаком и денотатом косвенного падежа: она эксплицитно выражает неактивность носителя признака. В самом деле, ни в каком безличном предложении косвенный падеж не может обозначать активного деятеля; эти конструкции либо вообще не обозначают действия, либо обозначают действие в отвлечении от деятеля. Т. Б. Алисова отмечает: «...за семантическое основание противопоставления личных и безличных конструкций можно принять различие между активным и неактивным семантическим субъектом»¹⁵.

Каждый тип несогласованной модели обладает особым структурным смыслом, представляющим собой разновидность общего семантического признака неактивности субъекта, для каждого характерна определенная степень «неактивности». Это можно проиллюстрировать на примере основных типов «безличных» предложений.

Экзистенциально-отрицательная модель. В предложениях типа *Надежды не оставалось*, *Русалок не существует*, *Его нет* сопряжены два компонента: родительный падеж, обозначающий предмет или лицо, и непреходящий глагол (реже: страдательное причастие прошедшего времени) с обязательно предшествующим отрицанием. Модель выражает отсутствие или несуществование денотата родительного падежа. Обычно указывается, что смысл экзистенциально-отрицательных предложений вытекает из лексического значения встречающихся в них глаголов: это глаголы бытия, существования или их синонимы. Однако можно показать, что утверждение об отсутствии или несуществовании выражено самой структурой модели и является ее структурным смыслом. Оказывается, что в роли сказуемого выступают глаголы довольно разнообразной семантики, в том числе и глаголы действия. Сочетаясь с отрицательной частицей и с родительным падежом, эти глаголы теряют свое конкретное значение и приобретают более абстрактное значение бытия. Так, сообщение *Звезд на небе не блистало*¹⁶ равно сообщению *Звезд на небе не было* и не синонимично согласованной конструкции *Звезды не блистали*, которая обычно перефразируется: *Звезды были бледны, чуть виднелись*. Процесс десемантизации конкретных глаголов обусловлен их лексической сочетаемостью с существительным: денотатом родительного падежа должно быть явление или предмет, существование которого можно свести к одному конкретному проявлению. Так, для наблюдающего человека звезды существуют, поскольку они блистают, когда они меркнут, их «нет». Следует отметить, что в другом лексическом сочетании тот же глагол *блистать* не способен образовать экзистенциально-отрицательную модель: предложение *Студентов на экзамене не блистало* неграмматично. Лексическая сочетаемость глагола с именем и возможность интерпретации глагольной лексемы как типичного для субъекта действия или состояния обуславливает также высказывания типа *не прошло часа, минуты, недели (время проходит)*, *не*

¹⁵ Т. Б. Алисова, Семантико-коммуникативный субстрат безличных предложений, сб. «Инвариантные синтаксические значения и структура предложения», М., 1969, стр. 28. Т. Б. Алисова, по-видимому, имеет в виду только те личные конструкции, в которых субъект активен.

¹⁶ См.: Е. М. Галкина-Федорук, Безличные предложения в современном русском языке, М., 1958, стр. 198.

доносилось шума, крика, песни (звуки доносятся), не росло грибов, травы, дерева (растения растут), не получилось разговора, результата (результат получается), не пришло письма, ответа (письмо приходит) и т. п.¹⁷ Показательно, что в этих предложениях никогда нет обстоятельства образа действия, так как его наличие усилило бы оттенок конкретности в глагольной лексеме, что здесь невозможно. Интересно и то, что глаголы конкретной семантики не образуют экзистенциально-отрицательной модели с именами, денотатом которых является лицо: по-видимому, существование человека не может быть сведено к какому-либо одному действию. С именами лиц используются собственно бытийные глаголы *быть, существовать* и глаголы, указывающие на отсутствие: *не оказалось, не встретилось, не нашлось*.

Определение условий, в которых появляются согласованные конструкции с глаголом *быть* и отрицанием (типа *Я в Японии не была*), выходит за рамки настоящей статьи; оно требует некоторых уточнений. Восходящее к А. М. Пешковскому объяснение распределения родительный — именительный по признаку неопределенности — определенности субъекта оказывается неправомерным в целом ряде случаев¹⁸. Что касается временной характеристики процесса¹⁹, то она тоже полностью не объясняет выбор надежной формы, хотя является несомненно одним из семантических факторов, обуславливающих употребление согласованной или несогласованной конструкции.

Количественная модель. В таких предложениях, как *Людей масса, Времени не хватает, Нас было трое*, структурно выражено значение «предмет или лицо и его количество». Этот инвариантный смысл обусловлен сочетанием флексии родительного падежа с количественным словом, выступающим в функции сказуемого: им может быть глагол (например: *хватает, достает, прибавилось, убавилось*), но чаще всего им бывает имя числительное в именительном падеже или наречие (типа *много, мало, достаточно*); встречаются также имена существительные с квантитативным значением (*толпа, масса, пропасть*) и фразеологизмы (*жот наплакал, в обреш, с воробьиный нос*, и т. п.)²⁰. Количественные предложения нередко рассматривались как варианты согласованных конструкций с расчлененным подлежащим, в которых родительный падеж считался определением количественного слова, рассматриваемого как подлежащее. Эта трактовка явно неудовлетворительна. В частности, она не объясняет ни порядка слов в количественном предложении (почему *Цветов много* вместо ожидаемого *Много цветов*)²¹, ни характерного для количественной модели распределения форм единственного и множественного числа родительного падежа, в котором явно проявляется синтаксическая независимость субъекта от слова, имеющего значение количества. Так, в предложениях *Яблонь в саду четыре, Сестер у меня три* и т. п. наблюдается родительный падеж множественного числа, хотя в зависимой позиции после числитель-

¹⁷ На разнообразие глаголов в экзистенциально-отрицательной модели обратил внимание Ю. М. Костинский в своей статье «Подлежащее в родительном падеже?» («Русская речь», 1969, 6). Однако Ю. М. Костинскому не удалось объяснить, почему в некоторых случаях эта модель невозможна и почему иногда возможны оба варианта: с именительным и с родительным падежом.

¹⁸ См.: А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, М., 1956, стр. 366.

¹⁹ Это объяснение принадлежит В. А. Ицковичу: В. А. Ицкович, Очерки синтаксической нормы, сб. «Синтаксис и норма», М., 1974, стр. 63.

²⁰ Интересный обзор вариантов количественной модели дает Ю. М. Костинский (указ. соч., стр. 52—54); его же, Гекитивные субъектные конструкции в современном русском языке. АКД, М., 1971.

²¹ См. тонкий анализ Г. А. Золотовой («Очерк функционального синтаксиса русского языка», стр. 133—134).

ных *два, три и четыре* в современном русском языке возможен исключительно родительный падеж единственного числа ²².

Важно подчеркнуть, что количественное значение рассматриваемых предложений тоже не прямо зависит от лексического значения сказуемого и должно считаться структурным смыслом модели. Об этом свидетельствует хотя бы однозначность высказываний типа *Народу было!*, *Каши осталось!*, в которых глагольные лексемы сами по себе не сигнализируют количества. К подобному выводу приходит и Ю. М. Костинский, отмечая, что «количественное значение может выявляться не собственно глаголом, а конструкцией в целом» (разрядка наша. Г.-В. М.) ²³. Следует добавить, что структурный смысл модели несовместим с понятием действия, следовательно с активным характером семантического субъекта. Вслед за Н. Д. Арутюновой целесообразно рассматривать и экзистенциально-отрицательную модель, и количественную модель как разновидности бытийных предложений. Интересно, что Н. Д. Арутюнова считает обе модели двусоставными и отмечает непоследовательность классификации, которая относит предложения типа *Есть деньги* к двусоставным, а их отрицательные корреляты *Нет денег* к односоставным ²⁴. Р. Мразек подчеркивает, что и в количественных, и в экзистенциально-отрицательных предложениях родительный падеж играет «синтаксическую роль грамматического подлежащего» ²⁵.

Демипассивная модель ²⁶. К этой модели принадлежат все многочисленные русские высказывания с так называемым «дательным субъекта». Денотатом синтаксического подлежащего является, как правило, одушевленное существо, чаще всего лицо; в функции сказуемого выступают главным образом наречия и слова категории состояния (например, *хорошо, грустно, стыдно, жаль, лень, охота*), но также и глаголы (*везет, нездоровится* и т. п.). Демипассивные предложения выражают прежде всего психическое или физическое состояние человека: *Мне весело, Ей было стыдно, Отцу нездоровится*. Определенная группа предикатов обозначает предрасположенность субъекта к действию: *Мне не работается, Больному не спится*. Денотат дательного падежа в большинстве случаев испытывает данное состояние пассивно; если в некоторых случаях можно говорить об участии субъекта в действии, оно сводится к своего рода соглашению — субъект примиряется со своим положением, которое возникло не по его воле. П. Адамец отмечает, что в результате «демипассивной трансформации» (он представляет эти предложения как некую трансформацию согласованных) субъект становится «вполне пассивным воспринимателем какого-то состояния или какой-то ситуации» ²⁷.

Можно сказать, что инвариантным значением демипассивной модели является значение отсутствия проявления воли со стороны синтаксического подлежащего. Этот структурный смысл следует приписать сочетанию флексии дательного падежа с несогласованным сказуемым. Сравнивая личные и безличные конструкции в русском и польском языках,

²² О закономерностях этого распределения и других формальных чертах количественных предложений см.: M. Guiraud-Weber, La phrase quantitative en russe moderne, «International Journal of Slavic linguistics and poetics», XXIV, 3, 1976.

²³ Ю. М. Костинский, Подлежащее — в родительном падеже?, стр. 52.

²⁴ Н. Д. Арутюнова, Предложение и его смысл, М., 1976, стр. 229—230.

²⁵ Р. Мразек, Количественный предикат и его связь с двубазисными структурами, «Československá rusistika», XVIII, 1973, 3, стр. 118.

²⁶ Термины «демипассивная конструкция», «демипассивная трансформация» используются чешскими русистами. Его впервые употребила Й. Заичкова (J. Zajíčková, Transformační analýza bezpředložkového adverbálního dativu v ruštině, «Československá rusistika», IX, 1964, 4).

²⁷ П. Адамец, Очерк функционально-трансформационного синтаксиса современного русского языка, I — Однобазовые предложения, Прага, 1973, стр. 117.

А. Вежбицка также утверждает, что носителями характерного для безличного оборота значения являются не лексемы, а грамматические морфемы, хотя она связывает смысл конструкции исключительно с флексией дательного падежа²⁸.

Демипассивная модель — самая распространенная среди несогласованных типов конструкций в русском языке и включает несколько вариантов, между прочим подкласс с модальным сказуемым и обязательно примыкающим к нему инфинитивом (типа *Нам нужно работать*). Поскольку этот инфинитив предопределяется лексико-грамматическими особенностями модального слова, мы его не считаем особым компонентом структуры. Не являются ядерными компонентами модели и именные дополнения, управляемые глаголом; они, впрочем, часто находятся в отношении дополнительной дистрибуции с инфинитивом, например, *Мне хочется чаю — Мне хочется пить*. По этим соображениям можно, вслед за А. Вежбицкой, объединить инфинитив и именные распространители в общий синтаксический класс «дополнений состояния».

Субъектно-объектная модель. Несогласованные конструкции с винительным падежом типа *У него захватило дух, Меня рвет, Его разморило* по сравнению с демипассивной моделью представляют собой более высокую степень неактивности субъекта. Глаголы, выступающие в этих конструкциях, тоже обозначают состояние, реже — действие, однако денотат винительного падежа не просто испытывает данное состояние, но подвергается ему, в большинстве случаев против своей воли. Показательно, что в подобных предложениях речь идет прежде всего о неприятных, болезненных состояниях и ощущениях, например, *Его тошнит, Больного знобит*. В субъектно-объектную модель мы включаем два типа конструкций: 1) двукомпонентные, в которых винительный падеж обозначает непосредственно лицо — субъект состояния, например, *Мальчика лихорадит, Меня мутит*, 2) трехкомпонентные, в которых семантический субъект представлен винительным падежом, обозначающим часть тела человека, и сочетанием «у + родительный падеж», денотатом которого является само лицо, испытывающее состояние: *У меня уши заложило, У дедушки ломит колени*. С формальной точки зрения показательно, что субъект представлен в форме, обычной для объекта. Но поскольку глаголы в этой модели непереходные (собственно непереходные, как *тошнить, лихорадить, знобить*, или употребляемые в непереходном значении, например: *перекосить, заложить*, так как сочетания: *Я ему перекосил рот, Он мне заложил уши* и т. п. не встречаются в речи), этот винительный нельзя считать прямым дополнением.

Таким образом, в рассматриваемой модели происходит своего рода нейтрализация семантического противопоставления «субъект — объект». Это сведение субъекта к форме, обычной для объекта, — характерная черта модели, выражающей независимость действия от воли какого-либо лица, которое только подвергается воздействию. Поэтому нам кажется возможным назвать эту модель субъектно-объектной.

Модель с творительным орудия действия. Из предшествующей модели мы исключили все предложения, в которых можно обнаружить переходный глагол; они входят в модель с творительным орудия действия, даже если творительный в них отсутствует (об этом см. ниже). Из семантики предложений типа: *Рабочего электропилой зацепило, Дорогу занесло снегом* производитель действия вообще устраняется, остается только действие, его объект и орудие действия. Все глаголы в этой модели переход-

²⁸ А. Wierzbicka, Slavjanskij dativus cum infinitivo, «International journal of Slavic linguistics and poetics», X, 1966.

ные и обозначают действие, поэтому в конструкции обязательно прямое дополнение: *Его убило молнией, Дверь взрывом перекосило*. Но поскольку винительный в этой модели формально и семантически предопределен переходностью глагола, мы его считаем распространителем и не вводим в ядро предложения в качестве особого компонента. Традиционно утверждалось, что производитель действия устранен из предложения, потому что он не может быть назван: это неизвестная, «мифическая» сила. В новейших трудах, напротив, подчеркивается субъектный характер творительного падежа. Р. Мразек рассматривает творительный орудия в безличных предложениях как семантический субъект и называет его «субъектным творительным»²⁹.

Тем не менее следует подчеркнуть, что хотя творительный в самом деле является носителем предиктируемого признака, т. е. семантическим субъектом предложения, его денотат не имеет ничего общего с сознательным агентом, действующим намеренно и целесообразно. Таким агентом могло бы быть только лицо, тогда как творительный в этой модели обозначает не лиц, а явления (*буря, ветер, взрыв*) или предметы (*автомобиль, бомба, электропила, туча*). В. Л. Георгиева, рассматривая подобные конструкции в древнерусском языке, подчеркивает, что нельзя поставить знака равенства между обычным производителем действия и, например, силами природы, действие которых является «невольным следствием их наличия»³⁰.

Таким образом, творительный орудия — непроизвольный каузатор действия³¹, а не его производитель. Сама структура модели устраняет понятие о производителе, на его название нет места. Зато дается сообщение об объекте, которое попадает в сферу действия, орудием которого может быть либо предмет, либо явление, обладающие потенциальной энергией. Эта информация не вытекает из лексического оформления предложений, но является их структурным смыслом. Притом показательно, что даже при пропуске компонента в творительном падеже модель сохраняет свое инвариантное значение. Предложения без творительного, например, *Его ранило, Дорогу размыло* и т. п., невозможно толковать как описание результата целенаправленного действия, производителем которого является лицо. Непроизвольность (случайность, стихийность) действия и неличный характер семантического субъекта отличают несогласованную модель с творительным орудия от всех остальных конструкций, способных описывать идентичные внеязыковые ситуации (ср. *Его ранило — Его ранили* и т. п.).

Несогласованная модель с локальным членом. В предложениях типа *На площади пусто, На дворе темнеет, От окна дует, В голове трещит* по-разному морфологически оформленный именной компонент обозначает пространство, в котором что-либо происходит или которому приписывается какое-либо качество. Особая роль локального члена в структуре этих предложений не ускользнула от внимания исследователей безличных предложений. В. Л. Георгиева с точностью определяет этот член как носитель предиктируемого признака: «Носителем предикативного признака становится... место проявления этого признака»³².

²⁹ Р. Мразек, Синтаксис русского творительного, Прага, 1964, стр. 166—179.

³⁰ В. Л. Георгиева, Безличные предложения в конструктивном элементом предметного значения в истории русского языка, «Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена. Вопросы развития грамматики и лексики русского языка», Л., 1968, стр. 104.

³¹ О понятии и типах каузатора см.: Г. А. Золотова, Очерк функционального синтаксиса русского языка, стр. 278—297.

³² В. Л. Георгиева, указ. соч., стр. 170.

Сказуемым в этой модели могут быть и глаголы, и предикативные наречия; синтаксическим подлежащим бывают названия мест, чаще всего в предложном падеже имени. Предложения рассматриваемой модели выражают состояния среды или ощущения человека, связанные с какой-либо определенной частью его тела: *В горле першит, В желудке пусто*. При выражении ощущений субъект, как правило, представлен расчлененно: *У меня в висках стучит, У бабушки в боку колет*.

Роль локального члена невозможно свести к роли простого обстоятельства места, т. е. распространителя. Если в согласованной модели *Он работает здесь* усечение словоформы *здесь* не нарушает ни структурной завершенности предложения, ни его коммуникативной полноценности, этого нельзя отнести к высказыванию *Здесь тепло*. Редуцированный вариант *Тепло*, который обычно рассматривается как полное предложение, вне контекста или без опоры на речевую ситуацию оказывается коммуникативно неполноценным и структурно двусмысленным, ибо остается открытым вопрос, приписывается ли данный признак какому-либо лицу (*Мне, ему тепло* — демипассивная модель) или какому-либо пространству (*Здесь, на дворе, в комнате тепло* — модель с локальным членом). Распространенность редуцированных предложений типа *Тепло, Холодно, Сыро* не является доказательством структурной необязательности локального члена, но связана с фактом регулярного эллипсиса. Как убедительно показала С. Н. Цейтлин, обычно опускается указание на субъект, если он совпадает с говорящим лицом, и на пространство, если оно совпадает с местом речевой ситуации³³. Поэтому вместо *Здесь тепло* говорящий может сказать *Тепло*, а вместо *Мне жаль его* может сказать *Жаль его*.

Разновидностью ситуативного эллипсиса можно считать факт регулярного пропуска локального члена в высказываниях типа *Светает, Моросит, Вечерет*, относящихся к явлениям природы. По отношению к этим предложениям можно даже сказать, что вероятность эллипсиса в них усиливается и из-за ограниченной лексической сочетаемости глагола с локативом. Поскольку почти единственным возможным локальным членом при этих глаголах бывает словоформа *на дворе* (или *за окном*), она подвергается десемантизации, как всякий элемент, целиком обусловленный контекстом³⁴. Лишенная собственного смысла словоформа *на дворе* выпадет из структуры предложения без ущерба для его коммуникативного смысла: она задана глаголом. Подобные явления Н. А. Янко-Триницкая называет «семантическим включением»³⁵. Таким образом, высказывания типа *Темнеет, Вьюжит* следует считать редуцированным вариантом двусоставной несогласованной модели с локальным членом. Подтверждением правильности этого решения является семантика рассматриваемых высказываний: они отражают инвариантный смысл этой модели, называя состояние, приписываемое пространству, в данном случае окружающей среде. В отрыве от понятия природы, среды, т. е. места — носителя признака, они немислимы. Интересно отметить, что существование высказываний типа *Вечерет* традиционно приводилось в качестве самого веского аргумента в пользу теории об «односоставности» безличных предложений.

Описанные в настоящей статье типы безличных предложений — самые частотные в современном русском языке. По соображениям места мы не рассматриваем здесь остальные, менее частотные, типы. Однако можно ска-

³³ С. Н. Цейтлин, Строение предложения и речевая ситуация (к проблеме эллиптичности предложения), сб. «Функциональный анализ грамматических категорий и единиц», Л., 1976.

³⁴ Ср.: J. Lyons, Linguistique générale, Paris, 1970, стр. 320.

³⁵ Н. А. Янко-Триницкая, Процессы включения в лексику и словообразовании, сб. «Развитие грамматики и лексики современного русского языка», М., 1964.

зять, что и другие варианты несогласованной модели отражают ее общий инвариантный смысл: носитель предикцируемого признака в них не является активным производителем действия.

К односоставным предложениям обычно причисляются также конструкции без формально выраженного подлежащего со сказуемым в 3-м лице мн. числа типа *В комнате молчали* (так называемые неопределенно-личные предложения) или со сказуемым во 2-м лице ед. числа: *Прошлого не воротись* (так называемые обобщенно-личные предложения). В обоих случаях подлежащее выражено имплицитно и обладает определенной семантикой — его референтом является всегда неопределенный личный субъект. Параллельно с маркированной категорией предложений с неопределенным личным субъектом русский язык обладает немаркированной категорией предложений с имплицитным неопределенным субъектом, референтом которого может быть и лицо и не-лицо (это, впрочем, самый частотный случай). Речь идет о предложениях со сказуемым в 3-м лице ед. числа типа *Над головой гудит*. Они обычно причисляются к безличным предложениям, так как с ними их роднит чисто морфологический признак — форма глагольного сказуемого. Однако эта внешняя черта оказывается нерелевантной для семантического анализа. В частности, оба типа предложений различаются характером локального члена и возможностями лексической сочетаемости между глаголом и названием места ³⁶. В собственно безличных предложениях (в нашей терминологии: в несогласованной модели с локальным членом) степень вероятности сочетания определенных глагольных лексем с определенными названиями мест очень велика; в некоторых случаях она приводит к фразеологизмам: *В лесу шумит*, *Под ложечкой сосет*. Лексической связи этого типа, напротив, нельзя обнаружить в предложениях с неопределенным подлежащим, где сочетание лексем является свободным.

В противоположность эллипсису, который можно считать конситуационно обусловленным пропуском, подлежащее в этих трех типах предложений (*В комнате молчали*, *Прошлого не воротись*, *Над головой гудит*) не может быть восстановлено — это обозначаемое без обозначающего, следовательно, нулевой знак ³⁷. Поэтому мы называем эти конструкции предложениями с нулевым подлежащим ³⁸. Предложения с нулевым подлежащим — разновидность согласованных структур. Они противопоставлены предложениям с эксплицитно выраженным субъектом в именительном падеже по признаку грамматической неопределенности/определенности субъекта.

Итак, в класс согласованных моделей русского языка можно включить: 1) предложения с грамматически определенным субъектом в именительном падеже; 2) предложения с грамматически неопределенным нулевым подлежащим. Согласованные конструкции обладают общим признаком грамматически невыраженной активности/пассивности субъекта, его созна-

³⁶ Интересное исследование семантики этих предложений см.: В. И. Георгиева, К вопросу о границах безличных предложений русского языка, «Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина», 341 — Вопросы филологии. К семидесятилетию проф. И. А. Васильева, 1969. См. также формально-семантический анализ предложений с неопределенным подлежащим в статье: M. Guiraud-Weber, Phrases à sujet zéro en russe moderne, «L'enseignement de russe», 24, 1978.

³⁷ Такое толкование нулевого знака вытекает из учения Ф. де Соссюра, Ш. Балли и Р. Якобсона (F. de Saussure, Cours de linguistique générale, 3-e éd., Paris, 1966, стр. 124; Ch. Bally, Linguistique générale et linguistique française, 4-e éd., Berne, 1965, стр. 248; R. Jakobson, Signe zéro, сб. «Selected writings», II. The Hague — Paris, 1971, стр. 211—219).

³⁸ Ср.: И. Ф. Вардуль, К вопросу о явлении эллипсиса, сб. «Инвариантные синтаксические значения и структура предложения», М., 1969, стр. 69—70.

тельного участия в процессе. Эта семантическая немаркированность согласованной модели объясняет факт, что согласованная модель может окказионально служить образцом для построения высказываний, относящихся к тем же внеязыковым ситуациям, что несогласованная модель: *Мне хочется есть — Я хочу есть; Ветром сорвало крышу — Ветер сорвал крышу; В комнате пусто — Комната пуста.*

Синонимичность приведенных высказываний мнима — они представляют собой только набор одинаковых лексем и различаются между собой структурным смыслом. Однако семантическое противопоставление структурного смысла несогласованной и согласованной модели здесь нейтрализуется, поскольку употребленные лексемы сами по себе обозначают неактивность субъекта и непроизвольность действия: так, например, глагол *есть* выражает физиологическую, независимую от воли человека потребность, *ветер* обозначает стихийную силу, и т. п. В других семантических условиях такая нейтрализация невозможна. Итак, сама возможность варьирования моделей еще не раскрывает смысла безличных предложений, ибо как раз в этом случае смысл самой конструкции стирается, становится избыточным. С этим фактом, по-видимому, связана неплототворность попыток раскрыть суть безличных предложений методом трансформационного анализа³⁹.

Возвращаясь к классификации простых предложений, следует добавить, что общий инвариантный смысл каждой модели уточняется в ее структурно-смысловых разновидностях. Семантика каждого из типов согласованной конструкции зависит от принадлежности встречаемых в нем компонентов к категориально-семантическому классу⁴⁰; семантика разных типов несогласованной модели связана с формой синтаксического подлежащего и с принадлежностью компонентов к этим классам.

Предлагаемый анализ позволяет выявить участие семантики на самом отвлеченном уровне — уровне построения грамматической структуры предложения. Эта грамматическая структура оказывается носителем семантических признаков, самых общих, но определенных и подпадающих лингвистическому описанию. Структурно-семантический подход оказывается более перспективным с точки зрения типологии. В самом деле, по сравнению с современными западноевропейскими языками, например французским или английским, русский язык отличается большим разнообразием моделей простого предложения; этого разнообразия не могла выявить теория, в которой предикативный минимум безличного предложения ограничивался наличием одного главного члена — сказуемого.

Отличительным признаком простого предложения во французском языке можно считать обязательный характер формального подлежащего, определяемого как таковое порядком слов в предложении: оно, как правило, стоит перед глаголом-сказуемым. Эта простая схема («подлежащее + сказуемое») насыщается разными смысловыми элементами на уровне подчинительных, второстепенных связей или лексики, но сама по себе семантически нейтральна, ибо не противопоставляется никакой другой возможной схеме. Такой нейтральной, нормализованной модели простого предложения во французском языке соответствует целый набор схем в русском языке. Можно сказать, что синтаксис русского языка более семантичен, чем синтаксис французского языка.

³⁹ Ср.: Р. Ружичка, О трансформационном описании так называемых безличных предложений в современном русском литературном языке, ВЯ, 1963, 3; L. R. Mickleson, Impersonal sentences in Russian, «American contributions to the Sixth international congress of slavists», The Hague—Paris, 1968.

⁴⁰ На связь семантики предложения с принадлежностью его компонентов к категориально-семантическим классам указывает в своих работах Г. А. Золотова.

Конечно, сильная степень семантизации синтаксических моделей в русском языке обусловлена богатством его морфологических средств и невозможна в языковой системе, лишенной именного склонения. Но наличие развитой морфологии — только необходимое условие, а не собственно причина обилия синтаксических структур. В этом отношении показательно сравнение русского языка с другими славянскими языками, обладающими такими же морфологическими средствами. Оказывается, что и тогда русский язык выглядит «богаче», чем, например, западнославянские языки. В польском языке меньше несогласованных моделей, чем в русском: модель с творительным орудия действия вообще отсутствует, а экзистенциально-отрицательная модель, ограничиваясь глаголами *być/mieć*, находящимися в дополнительном распределении, не может считаться продуктивной. То же самое можно сказать про субъектно-объектную модель. Сопоставляя факты польского и русского языков в этой области, А. Дорос отмечает, что современный польский язык избегает выражения личного субъекта формой косвенного падежа⁴¹. Зато в польском языке широко используется нулевое выражение личного субъекта путем распространения неопределенно-личных предложений разных типов: их больше, чем в русском языке. Возможно, что они развивались за счет безличных⁴².

Меньшее число типов несогласованных конструкций обнаруживают также исследователи в чешском языке. Таким образом, в западнославянских языках намечается тенденция к устранению выражения субъекта формой косвенного падежа, следовательно, к унификации схемы предложения.

Русский язык, как любой язык, в чем-то напоминает родственные языки и в чем-то от них отличается. Думается, что элементы классификации простого предложения, основанные на его структурно-смысловом значении, могут оказаться полезными для более экономного описания русского синтаксиса и для определения более точного места русского языка среди других индоевропейских языков.

⁴¹ A. D o r o s, *Werbalne konstrukcje bezosobowe w języku rosyjskim i polskim na tle innych języków słowiańskich*, Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk, 1975, стр. 132—135.

⁴² О продуктивности и разнообразии неопределенно-личных предложений в польском языке см.: С. И. С я т к о в с к и й, Неопределенно-личные предложения в современных славянских языках, сб. «Славянская филология», 5, М., 1963; е г о ж е, О развитии неопределенно-личных предложений с возвратным глаголом-сказуемым в польском и русском языках, ВРЯ, XXVII, 1969.

МИЛОСЛАВСКИЙ И. Г.

СЛОЖЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ В СТРУКТУРЕ РУССКОГО СЛОВА

Физический закон сохранения энергии оказывает существенное воздействие на мышление ученых, работающих в самых различных областях. Частным проявлением упомянутого общего закона является представление о том, что $1 + 1 = 2$ всегда, вне зависимости от того, какова именно природа однородных складываемых единиц. Однако при исследовании языка указанная арифметическая закономерность реализуется далеко не всегда ¹.

Соотношение $1 + 1 = 2$ далеко не всегда реализуется в русском языке на фонетическом уровне. Весьма обычное явление — это так называемое чередование с нулем, характерное для многих гласных и согласных. Одна и та же морфема может состоять из большего и из меньшего числа единиц формы, однако это материальное изменение никак не влияет на выражаемое этой морфемой значение.

Как показывают некоторые исследования, на лексическом уровне вполне нормальным следует признать случай соединения на синтагматической оси как противоположных, так и одинаковых элементов смысла ². Обычны такие феномены и на словоизменительном уровне. Примеры такого типа явлений дают так называемые видовые цепи в русском языке: *толкать — вытолкать — толкнуть — вытолкнуть — выталкивать* ³. В этом случае очевидно, что, с одной стороны, перфектирующее значение глагольных префиксов противоречит имперфектирующему значению глагольных суффиксов, а, с другой стороны, перфективирующее значение может выражаться в структуре слова неоднократно, как последовательностью префиксов, так и комбинацией префикса с суффиксом *-ну-*.

Не менее очевидна возможная семантическая нерелевантность и других морфем внутри слова. Например, в словоформе *льдина* значение единичности выражается дважды — суффиксом и флексией, в лексеме *ягненок* значение незрелости выражается дважды, корнем и суффиксом. В словоформе *льдинами* значение единичности, выражаемое суффиксом, аннулируется значением множественности, выражаемым флексией. В лексемах *частотность* и *жалостливость* значение предметности, выражаемое конечным суффиксом *-ость*, аннулирует значение признаковости, выражаемое суффиксами *-н-* и *-лив-*, а пеконечные суффиксы *-от-* и *-ост-* оказываются и аннулированными и продублированными ⁴.

¹ См. теоретическое обсуждение несоответствия подобных абстрактных представлений реальности языковой материи в статье: Ф. П. Филин, О специальных теориях в языкознании, ВЯ, 1978, 2, стр. 20—21.

² См. об этом в сб.: «Проблемы структурной лингвистики. 1971», М., 1972.

³ См.: С. О. Карцевский, Вид, сб.: «Вопросы глагольного вида», М., 1961.

⁴ См.: Н. А. Янко-Триницкая, Словообразовательная структура и морфемный состав слова, в сб.: «Актуальные проблемы русского словообразования», Самарканд, 1972. Еще более явно выступает в языке семантическая избыточность, если рассматривать соединение не комплексных значений, а отдельных компонентов значения.

Итак, на синтагматической оси, внутри слова, могут быть соположены морфемы, имеющие и одинаковое, и противоположное значение. Признание этого очевидного факта, как кажется, может по-новому осветить вопрос о том, существуют ли в русском языке так называемые интерфиксы⁵.

Как известно, есть и сторонники теории интерфиксов, структура, незначимых элементов в структуре слова (Е. А. Земская, А. Н. Тихонов), и решительные противники таких взглядов (А. А. Дементьев, В. В. Лопатин, Н. М. Шанский и др.). Представляется, что острота, присущая этим спорам, не отражает каких-либо глубоких различий в понимании разными учеными фундаментальных вопросов морфемной структуры слова. Никто не сомневается в том, что значения элементов *-шн-* в *киношный*, *-альн-* в *театральный* такое же, как и у элемента *-н-* в *концертный*. Никто также не сомневается в том, что при полной тождественности значения указанные элементы лишь частично совпадают по форме. Разногласия начинаются там, где встает вопрос об интерпретации нетождественных элементов формы. Теоретически здесь возможны разные пути, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Во-первых, можно считать отмеченные «лишние» элементы формы частями соответствующих значимых единиц — корня или суффикса. Тогда слово членится на значимые единицы без остатка. Однако такой подход страдает некоторым упрощением, поскольку затемняется тот факт, что суффиксы *-шн-*, *-альн-* и *-н-* имеют некоторую общую формальную часть и таким образом противопоставлены, например, имеющим то же значение суффиксам *-ов-* (*цирковой*) или *-ск-* (*морской*), не имеющими с ними по форме ничего общего. Кроме того, стремление видеть в морфеме минимальную по форме значимую единицу стимулирует исследователя производить морфемное членение как можно более подробно, что при описываемом подходе на уровне формы, по крайней мере, не осуществляется.

Во-вторых, нет никаких общих теоретических и методологических положений, которым противоречило бы выделение в слове формальных элементов, лишенных номинативного содержания. В этом случае доводятся до логического конца и идея об асимметричном дуализме языкового знака, и соображения о морфеме как о минимальной по форме значимой единице. Однако в этом случае слово выступает как последовательность разнородных единиц, значимых и незначимых.

В-третьих, теоретически также вполне допустимо видеть в так называемых интерфиксах значимые элементы структуры слова, однако только такие значимые элементы структуры слова, которые избыточны, т. е. уже выражены другими значимыми элементами структуры слова. Такой подход позволяет представить слово как последовательность единиц, минимальных по форме и однородных по значению. Дублирование значения таких единиц в слове — вполне обычно для русского языка.

При оценке этих решений применительно к каждому конкретному случаю полезно также вспомнить важный принципиальный результат, приобретенный словообразованием в результате «спора о бужепине». Этот спор, обнаруживший по сути дела переходное явление между членимыми и нечленимыми русскими словами, не привел к победе кого-либо из споривших, но выявил тот факт, что в русском языке существуют разные степени морфемной членимости слова. Представляется, что и среди явлений, рассматриваемых как интерфиксация, в действительности представлены различные факты, для каждой группы которых органично то или иное истолкование.

⁵ См.: Е. А. Земская, Современный русский язык. Словообразование, М., 1973. стр. 113—129.

Одну группу явлений образуют те случаи, когда производящая основа оканчивается таким образом, что не может присоединить к себе соответствующий формант, конкретнее, когда мотивирующая основа оканчивается на гласный. В этом случае между корнем и суффиксом может вставляться согласный, различный по своему качеству: *ш, ж, в, л, н, т*. Его можно было бы считать незначимой асемантической прокладкой. Однако отсюда следует понимание слова как последовательности разнородных (значимых и незначимых) единиц. Поэтому следует рассматривать указанные вставки как варианты корня. Такое варьирование принципа очень близко фонетическому варьированию. В русском языке не существует правил, управляющих выбором конкретного согласного, прикрывающего основу, однако сама необходимость «прикрытия» основы определяется некоторыми правилами. Другой стороной того же явления следует считать вариативность корня, выражающуюся в усечении конечного гласного корня перед начальным гласным суффикса.

Вторую группу явлений представляют собой образования типа *ялтинский, орловский, американский*. И здесь как будто бы допустимы все отмеченные выше интерпретации. Однако наиболее соответствующим природе объекта будет рассмотрение *-ин-, -ов-, -ан-* в качестве суффиксов со значением «прилагательности». Ср. образования типа *топоинный, ежовый, песчаный*. Таким образом, в каждом из прилагательных типа *ялтинский, орловский, американский* значение «прилагательности» выражено дважды с помощью синонимических суффиксов. Тогда в существительных типа *орловец, ялтинец, американец* следует усматривать трехчленную словообразовательную структуру: лицо (суффикс *-ец*), обладающее признаком (суффиксы *-ов-, -ин-, -ан-*), заключенным в корне (ср. с образованиями типа *лондонец, москвич*, словообразовательная структура которых двучленна в отличие от слов, рассмотренных выше, в то время как семантическая структура образований обоих типов тождественна).

Третья группа фактов, относимых к интерфиксации, — это так называемые соединительные элементы. К тому многому, что было уже написано о специфике этого типа морфем⁶, можно бы добавить, что по признаку «наличие — отсутствие значения» единицы этого типа явно противостоят различного рода вставкам, «прикрывающим» корень. Появление последних обусловлено формой соответствующих дериватов, употребление соединительных элементов обусловлено необходимостью выразить характер связи между элементами сложной номинации.

Исходя из сказанного выше, при членении русских слов на морфемы целесообразно выделять только значимые элементы, полагая, однако, что морф — это кратчайшая по форме, вариативная значимая единица, способная не один раз в пределах слова выражать одно и то же номинативное содержание. Вариативность морфа и наличие морфов-синонимов могут встретиться в пределах одного слова. Например, в слове *кантианский* имеем два синонимичных суффикса *-ан-* и *-ск-*, первый из которых выступает в форме *-иан-*.

Таким образом, морфемная членимость русских слов должна отразить следующие представления о морфемной структуре русского слова:

1. Все слова должны быть разделены только на значимые элементы.
2. Вычленяемые значимые элементы должны быть минимальными по форме в том смысле, что любое последующее деление не создает новых равноправных значимых частей. В случае возможности такого деления, при котором возникает значимый и незначимый отрезок, такое деление не проводится.

⁶ См.: В. В. Лопатин, Русская словообразовательная морфемика, М., 1977, стр. 53—57.

3. Вычленяемые элементы должны непременно обладать значением, хотя это значение не есть простые слагаемые, из которых состоит общее значение слова. Значение вычлененного элемента в слове позиционно зависимо, вариативно и в частном случае может не добавлять ничего нового к уже имеющимся значимым элементам слова.

Рассмотрим некоторые наиболее спорные случаи такого морфемного членения.

Предлагается членить слова типа *певец*, *шоссейный*, *пэтэушник* так, чтобы *в*, *й* и *ш* отходили к левой части слова, т. е. к корню, поскольку именно таким образом осуществляется «прикрытие» согласным конца корня в позиции перед суффиксом. Указанные элементы *в*, *й*, *ш* в принципе могут рассматриваться и как часть суффиксов. Однако у такого решения есть некоторые недостатки. Во-первых, отнесение указанных элементов к левой части осуществляет, как кажется, некоторую унификацию концов корней перед суффиксами, делая их завершающимися консонантами. Трудно было бы усмотреть некоторую общую идею такого же типа, отнеся эти элементы к правой части, к началу суффиксов, открывающихся согласным. Во-вторых, отнесение указанных элементов к левой части согласуется с общей закономерностью, выражающейся в различного рода чередованиях (в широком смысле этого слова), присущих именно концу корня. Как известно, разного рода чередования не характерны для начала любых морфем⁷. В-третьих, как правило, корни являются более длинными, чем суффиксы. Поэтому увеличение числа звуков в корне в принципе относительно меньше влияет на его вариативность, чем такое же абсолютное увеличение числа звуков в суффиксе как в более коротком отрезке.

Точно таким же образом не следует считать *в*, *й*, *ш* и т. д. самостоятельными единицами, поскольку такое решение приводит к вычленению на синтагматической оси разнородных — семантических и асемантических — единиц.

Выше уже отмечалось, что теоретически допустимо членить слова типа *американский*, *орловский*, *ялтинский* как *америк/ан/ск/ий*, *орл/ов/ск/ий*, *ялт/ин/ск/ий*. Близость элементов *-ов-* и *-ин-* суффиксам притяжательности неоднократно отмечалась исследователями, приводились даже исторические соображения относительно генетических связей между этими элементами. Однако, насколько известно автору, вывод о самостоятельной значимости *-ов-* и *-ин-* в рассматриваемых словах на синхронном уровне не делался. Это происходит по двум причинам.

Первая состоит в том, что морфемный анализ многими авторами рассматривается как слабо противопоставленный анализу словообразовательному. Так, например, З. А. Потиха в «Школьном словообразовательном словаре» членит слово *аналитический* как *аналит/ич/еск/ий*, а *аналогический* как *аналогич/еск/ий*⁸. Логика автора такова: в русском языке есть слово *аналитик*, где выделяется суффикс *-ик*, и нет слов **аналогик* или **аналогика*, следовательно, в слове *аналитический* есть суффикс *-ик-*, а в слове *аналогический* суффикса *-ик-* нет. Думается, что такое членение, будучи правильным словообразовательным, не является правильным морфемным. В самом деле, для морфемного анализа, как известно,

⁷ Исторически чередования конечных звуков корня приводили к образованию алломорфов одной морфемы, чередования начальных звуков корня влекли за собой утрату связей между алломорфами. См. об этом: И. Г. Милославский, Фонетические изменения и парадигматические связи морфем. «Вестник МГУ. Филология. Журналистика», 1965, 2.

⁸ См.: З. А. Потиха, Школьный словообразовательный словарь, М., 1964. В предисловии к этому словарю С. Г. Бархударов пишет: «По существу словарь должен был называться морфологическим, вернее, морфемным, так как в нем указывается состав морфем в словах» (стр. 12).

существенно установить не связи между существующими в языке словами, а расчленить слова на мельчайшие по форме значимые единицы. При таком членении важно лишь то, можно ли приписать вычленяемому отрезку некоторое значение. При этом несущественно, выступает ли данный отрезок в пределах данного словообразовательного гнезда или нет.

Исходя из этого, при морфемном анализе следует делить *песч/ин/к а*, *пыл/ин/к/а*, *снеж/ин/к/а* таким же образом, как и *льд/ин/к/а*, ничуть не смущаясь тем, что в русском языке есть слово *льдина* и нет слов **песчина*, **пылина*, **снежина*. Выделяемому во всех словах элементу *-ин-* принадлежит значение единичности, поскольку основы *песок-*, *пыл-*, *снег-*, обозначают нерасчлененное понятие. Элемент *-к-* во всех рассматриваемых словах имеет значение уменьшительности или стилистической модификации. Только при таком членении удастся достичь на практике такого понимания морфемы, согласно которому она является именно *мельчайшей* по форме, далее не делимой *формально*, значимой единицей языка. В самом деле, выделение в качестве морфем элементов типа *-овск-*, *-ическ-*, *-инк-* и под. не доводит процесс именно до мельчайших, далее не делимых по форме единиц. Возникает «желание членить» дальше, причем в результате такого членения образуются значимые элементы. В этом именно и заключается отличие рассмотренных примеров от слов типа *буженина* или *малина*, где «желание членить» также существует, однако получение именно значимых отрезков в результате такого членения невозможно. Выделенные таким образом морфемы могут представлять морфемную структуру слова отличной от его словообразовательной структуры.

Например, в слове *утешительный* выделяется суффикс *-тель-* и при морфемном, и при словообразовательном анализе, а в словах *употребительный*, *извинительный* суффикс *-тель-* при морфемном анализе выделяется, а при словообразовательном не выделяется. Едва ли следует смущаться многочисленными фактами таких расхождений. Стало уже хрестоматийным положение о различии результатов этимологического и словообразовательного анализа. Последний, как известно, может совпадать с первым, но может устанавливать и такие связи между словами на синхронном уровне, каких в действительности между этими словами никогда не было. Точно таким же образом следует понимать и возможное различие между результатами словообразовательного и морфемного анализа. Неважно, что в слове *бомбежка* словообразующим формантом, дериватором является *-ежк-*; с точки зрения морфемного состава это слово членится *бомб/еж/к/а* (ср. *галдеж*, *оказ*, *ошмурёж* и пр.). Неважно, что в словах *спортивный*, *агрессивный* словообразующим формантом, дериватором является *-ивн-*; в морфемном составе этих слов выделяются суффиксы *-ив-* и *-н-* (*спесивый* и *бедный*).

Вторая причина, препятствующая многим исследователям вести морфемное членение столь дробно, как это следует из самого определения морфемы, заключается в следующем. В сознании многих лингвистов имплицитно содержится представление о глубокой внутренней логичности и упорядоченности в языке. В частности, согласно этому представлению в пределах ограниченной синтагматической последовательности — в слове или в предложении — не могут содержаться элементы, имеющие одинаковое или противоположное значение. Такое понимание законов языковой синтагматики в явном виде обычно не формулируется, однако находит свое выражение в некоторых распространенных рассуждениях. Примером *lapsus linguae* считается выражение *масло масляное*, хотя на самом деле неоднократное выражение одного и того же смысла является нормой русского языка. В предложении *Новые столы стоят* значение множественности

выражено трижды, в каждой из входящих в состав предложения словоформ. Рассуждают, например, таким образом: в слове *орловский* нельзя выделять суффикс *-ов-*, поскольку он ничего не добавляет к тому значению, которое уже выражено суффиксом *-ск-*. При этом не возникает вопроса о том, обязательно ли любой значимый элемент должен прибавлять нечто новое к тому, что уже выражается другими элементами, находящимися на той же синтагматической оси. Еще одно рассуждение. В слове *американец* не следует при морфемном анализе выделять суффикс *-ан-*, поскольку значение, которое можно в нем усмотреть, это значение «признаковости» (см. выше о словах *американский* и *песчаный*). Однако, рассуждают далее, это предположение бессмысленно, поскольку соседний с *-ан-* суффикс *-ец-* имеет тогда значение лица, входящее в более широкое значение «предметности». Следовательно, допущение о самостоятельном морфемном значении *-ан-* бессмысленно, поскольку это значение противоречит значению других морфем в слове и не отражается в значении слова в целом. При этом не встает вопрос, обязательно ли любая морфема привносит нечто новое в значение слова, не может ли она либо просто дублировать то, что уже есть в слове, либо элиминировать, «зачеркивать» нечто уже в слове имеющееся.

Как уже отмечалось выше, законы синтагматики на различных языковых уровнях позволяют соединяться знаковым единицам, имеющим как одинаковое, так и различное значение. Признание этого объективного факта представляет собою обоснование предлагаемого весьма дробного морфемного членения. В процессе такого членения целесообразно выделять морфемы, имеющие определенное значение, хотя и не являющиеся дериватором данного слова (см. выше о словах типа *песчинка*). Предлагается, например, членить *лежб/ищ/е*, где суффикс *-б-* имеет значение «предметности» (*стрельба*, *борьба*, хотя в русском языке нет **лежба*), а суффикс *-ищ(е)* имеет значение места действия (*стрельбище*, *пепелище*). Целесообразно также выделять самостоятельные значимые единицы, значение которых, противореча значениям других морфем или дублируя их, в конечном счете «гасится», «зачеркивается» в слове. Здесь встречаются разные случаи.

1. Одинаковые значения. Предлагается членить *бег/от/н/я*, поскольку существует суффикс со значением предметности *-от* (*рвота*, *ломота*) и суффикс со значением предметности *-н(я)* (*ругня*, *мазня*). Предлагается членить *анализ/ат/ор*, *экзамен/ат/ор*, поскольку существует суффикс со значением предметности *-ат-* (чаще выступающий с чередованием *-иц-*: *организация*, *публикация*, но *трактат*, *диктат*), хотя в русском языке отсутствуют слова типа **анализат* или **анализация*. Не вызывает сомнения наличие у *-ор* значения действующего лица (*танцор*, *утажер*)⁹.

Нетрудно видеть, что случаи типа *беготня*, *американский*, где один аффикс полностью дублирует значение другого, противостоят в определенном смысле случаям типа *экзаменатор*, где соединяются значение предметности и значение «лица», включающееся в значение «предметности».

2. Противоположные значения. Предлагается на морфемном уровне членить *цел/еб/н/ый*, *леч/еб/н/ый* так же, как и *хвал/еб/н/ый*, нисколько не смущаясь отсутствием слов **цельба*, **лечба* при наличии *хвальба*. Очевидно, что во всех этих случаях представлен суффикс *-б-*, обладающий категориальным значением предметности, причем это значение в соответствующих прилагательных оказывается «погашенным» значением «признаковости», выражаемым суффиксом *-н-* и системой соответствующих флексий. Пред-

⁹ См.: В. В. Федорова, Связанные корни (основы) имен существительных и прилагательных в современном русском литературном языке. АНД, Горький, 1968; ср.: В. В. Лопатин, указ. соч., стр. 36.

лагается членить на морфемы *грипп/оз/н/ый* таким же образом, как и *нерв/оз/н/ый*, полагая, что *-оз-* — суффикс со значением «предметности» (ср. *невроз, токсикоз*). В соответствующих прилагательных это значение также «зачеркнуто» «признаковостью» (ср., например, толкования слов *нервный* и *нервозный* в словарях).

Следует еще раз подчеркнуть, что предлагаемые членения отнюдь не претендуют на отражение «деривационной истории» соответствующих образований. Более того. В каждом конкретном случае могут, видимо, быть предложены более или менее удачные сопоставления между выделяемыми элементами и близкими по форме и значению морфемами в других словах. Все это в значительной степени представляет собою именно «удобство номенклатуры», как это называл Г. О. Винокур, и связано с более частными вопросами функционирования тех или иных морфем или словообразовательных моделей, типов и образцов. Принципиальным же является, во-первых, как можно более детальное деление, и, во-вторых, признание возможности соединения в слове элементов с одинаковым или противоположным значением.

Приведенные выше примеры на сложение противоположных значений представляют собою результат «зачеркивания» значения «предметности» значением «признаковости». Однако было бы неверно полагать, что не существует иных комбинаций противоположных значений. Широко представлено, в частности, «зачеркивание» значения «признаковости» значением «предметности».

Так, например, на морфемном уровне предлагается членить *кур/ят/ин/а*, *медвеж/ат/ин/а*, *крольч/ат/ин/а*, усматривая в этих словах суффикс *-ат-* со значением «признаковости» (*бородатый, пузатый* и под.) и суффикс *-ин(а)* со значением «предметности». Семантическая «избыточность» суффикса *-ат-* подтверждается словообразовательно синонимичными словами типа *осетрина, конина, свинина* и под. Предлагается членить на морфемы *льв/ят/ник/*, *голуб/ят/ник/*, *тетерев/ят/ник/*, усматривая в *-ят-* то же значение «признаковости», «зачеркиваемое» значением «предметности» (ср. *птичник, коровник*).

Строго говоря, приписывание *-ят-* значения «признаковости» представляет собою до некоторой степени волюнтаристский акт. Дело в том, что суффикс *-ат-* может иметь и иные значения (например, детскости в *козлята, львята* и под.), и следы любого значения, связанного с *-ат-*, в производном типа *львятник* утрачены. Поэтому автор не считает бесспорным свое суждение о том, какое именно значение представлено в суффиксе *-ат-*, содержащемся в слове *львятник* или *голубятник*. Однако автор настаивает на том, что определение этого значения должно согласовываться с законами сложения смыслов, правилами варьирования морфемного значения, словообразовательными закономерностями.

Все приведенные рассуждения, разумеется, не означают того, что автор готов механически приписывать любому формально вычленяемому элементу структуры слова некоторое значение, «зачеркиваемое» в результате воздействия синтагматического окружения. Автор отнюдь не отрицает наличия формальной вариативности, в частности, разного рода наращений у морфем разных типов. Однако представляется, что интерпретация любого такого явления как наращения целесообразна лишь в том случае, когда любые возможности содержательного истолкования данного явления приходят в противоречие либо с законами сложения смыслов, либо с правилами варьирования морфем, либо со словообразовательными закономерностями.

Наиболее ярко все эти трудности проявляются при членении слов со связанными корнями. Есть ли суффикс в слове *пианино* (ср. *пианист*)?

Допустим, что мы можем отвлечься от того факта, что конечное *о* в данном слове — не окончание, и тогда перед нами суффикс *-ин*, который в русском языке может иметь значение предметности, единичности, увеличительности, собирательности. Очевидно, что последние три значения не подходят, поскольку это противоречит законам сложения смыслов: семы «единичности», «увеличительности», «собирательности» не должны зачеркиваться, соединяясь с семами «предметности», однако в общем значении слова они отсутствуют. Суффикс *-ин* со значением «предметности» обычно не присоединяется к корням со значением «предметности». Следовательно, перед нами не суффикс, а фонетический вариант корня.

Членить ли *тряп/к/а* или *тряк/а*? Если вычленять суффикс *-к-*, то необходимо ответить на вопрос, что он означает. Если такое значение для *-к-*, не противоречащее другим явлениям русской словообразовательной системы, найдется, то *-к-* суффикс. Если же такого значения найти не удастся, то вычленять *-к-* в составе слова *тряпка* не следует. Как известно, суффикс *-к-* многозначный. Одно из его значений — стилистическая модификация (*книжка*, *картинка*). Очевидно, что это значение представлено в слове *тряпка* (ср. *тряпочка*, *тряпица*, *тряпье*). Следовательно, в слове *тряпка* есть суффикс *-к-* со значением стилистической модификации.

Есть ли суффикс в слове *палец*? Допустим, что есть. Тогда он может иметь значение «уменьшительности» либо «предметности». Очевидно, что значение «уменьшительности» не может быть «зачеркнуто» данным контекстом, следовательно, такая возможность отпадает. Значение «предметности» может быть «зачеркнуто», однако суффикс с этим значением не присоединяется обычно к корням с предметным значением. Иными словами, второе предположение противоречит словообразовательным закономерностям, действующим в русском языке. Стало быть, слово *палец* не членимо, несмотря на наличие *шестопалый*. По тем же соображениям едва ли правомерно выделять суффикс *-ц-* в слове *сердце*. Ведь несмотря на существование слов *сердобольный*, *предсердие*, приписать элементу *-ц-* какое-либо разумное значение не представляется возможным.

Есть ли суффикс *-к-* в слове *скрипка*? Да, есть. И вовсе не потому, что существует слово *скрипач*. Дело в том, что суффикс *-к-* в слове *скрипка*, имея значение «предметности», переводит глагольную основу *скрип-* с соответствующими семантическими модификациями в основу именную, обозначающую предмет, характеризующийся данным действием. Образование *скрипач* характеризует лицо, имеющее некоторое отношение к данному действию, рассматриваемому как семантически модифицированное.

Видимо, уже рассмотренных примеров достаточно для того, чтобы эксплицировать точку зрения автора, согласно которой морфонологическое наращение у морфем представлено в тех и только тех случаях, когда это наращение не может быть интерпретировано содержательно с учетом других свойств морфемного уровня языка.

В заключение необходимо еще раз отметить, что описанное морфемное членение во многих случаях расходится с реальными словообразовательными отношениями. Так, например, следует членить *европ/ей/ск/ий* (*Европ/а*; *богат/ей/*, *грамот/ей/*; *китай/ск/ий*); *англ/ич/ан/ин* (*Англ/ия*; *москв/ич*, *костром/ич*; *велик/ан*, *интриг/ан*; *болгар/ин*, *мордв/ин*). Именно это обстоятельство иногда приводит к сомнительным моментам, когда выделение некоторого аффикса может рассматриваться как словообразовательная натяжка и, следовательно, оспариваться. В приведенных выше примерах такими элементами являются *-ей-*, *-ич-* и *-ан* со значением лица. Поскольку употребление этих суффиксов весьма ограничено, не совсем ясно, каковы правила их употребления, а, следовательно, не совсем ясно, не нарушаются ли эти правила, если выделять в приведенных словах *-ей-*

-ич- и -ан в качестве суффиксов. Автор полагает, что из-за недостатка сведений о функционировании суффиксов в таких случаях допустимы различные интерпретации (как и в некоторых случаях установления отношений мотивированности¹⁰).

Обсуждаемые трудности членения могут относиться как к правой части морфемы, так и к ее левой части. Например, в слове *бахвалиться* не следует выделять префикс *ба-*, поскольку ему едва ли можно приписать какое-либо значение (ср. со случаями типа *буженина*, *малина*). Однако автор не считает целесообразным, как и в случае с правыми наращениями, расширить число нечленимых приставочных образований за счет тех фактов, которые могут быть интерпретированы как членимые.

Автору не представляется единственно возможной интерпретация, даваемая В. В. Лопатиным слову *спокойный*, где отрезок *-с-* трактуется как асемантичный¹¹. Видимо, данный отрезок можно интерпретировать и как семантически наполненный, имеющий значение «совместности, соединения», причем это значение является в данном случае избыточным, лишним и потому «зачеркивается». Ср. признак, обозначенный через предмет и через соединение некоей субстанции с данным предметом: *железный* и *с железом*, *снежный* и *со снегом* и т. п.

Как известно, такие характеристики, как протяженность, начало, интенсивность, законченность, результативность и т. п. могут относиться к глагольным действиям и выражаться с помощью приставок. Однако в тех случаях, когда последним в слове выступает не глагольный, а именной показатель, эти признаки, характеризующие собственно действия, в семантической структуре слова «зачеркиваются». Именно так предлагается интерпретировать слова типа *попечение* (*печься*), *запах* (*пахнуть*), *затрещина* (*треснуть*), *заунывный* (*унывать*), *охота* «желание» (*хотеть*), *изжог* (*жечь*), *усилие* (*силиться*), *вспомогательный* (*помочь*), *поиск* (*искать*)¹². Соответствующие префиксы в глагольных словах имеют определенное значение: *попечься* — ограничение действия во времени, *запахнуть* — начало действия, **затреснуть* — интенсивность действия, **заунывать* — начало действия, *изжечь* — завершенность и интенсивность действия и т. п. Однако все указанные значения, будучи выраженными приставками в словах, обладающих значением «предметности», аннулируются, «зачеркиваются», поскольку эти значения несовместимы со значением «предметности» в структуре слова¹³ (сказанное не означает аннулирования любых значений глагольных префиксов в отглагольных существительных: ср. сохранение пространственных значений в отглагольных существительных типа *приезд*, *отъезд*, *перелет* и т. п.).

Таким образом, указанные явления следует понимать так же, как и случаи типа *американский*, где *-ан-* не является лишним содержанием субморфом, а просто выступает в такой позиции, где его значение лишнее, избыточно, ненужно. Однако случаи типа *попечение* и отличаются от случаев типа *американский*. Во втором случае значение элемента *-ан-* «зачеркивается» потому, что он значит то же самое, что и элемент *-ск-*. В первом случае значение элемента *по-* «зачеркивается» не потому, что элемент *-ение* значит то же самое, но потому, что значение *-ение* не позволяет

¹⁰ См.: И. С. У л у х а н о в, Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания, М., 1976.

¹¹ См.: В. В. Л о п а т и н, указ. соч., стр. 63.

¹² Ср.: В. В. Л о п а т и н, указ. соч., стр. 60—63, где дается иная трактовка этих фактов.

¹³ «В структуре слова» и «будучи выраженными приставками» особенно важно, поскольку отмеченные значения могут по отношению к отглагольным существительным быть выражены лексически: *попечение в течение некоторого времени* или соответствующими суффиксами: *толчок*, *прыжок*.

внутри слова сочетаться с тем значением, которое имеет элемент *по-*, если это значение выражено префиксом.

Подобная утрата элементов глагольной семантики одновременно с соответствующими формальными потерями хорошо известна, например, в связи с постфиксом *-ся*: *умывать* — *умываться* различаются и по форме, и по значению; *умывание*, потеряв *-ся*, может соотноситься с обоими производящими. В случае типа *попечение* потеря смысла происходит без потери формы, приводя лишь к десемантизации последней в данном окружении.

Таким же образом слово *поезд*, например, едва ли справедливо рассматривать как слово, состоящее из одного корня. В нем, по-видимому, целесообразно усматривать корень *езд-* со значением действия, нулевой суффикс со значением «предметности», приставку *по-*, видимо, со значением «временной ограниченности» действия. Конкретное значение приставки «зачеркивается» значением суффикса «предметности». С другой стороны, нулевой суффикс «предметности», соединяясь с корнем, имеющим значение действия, актуализирует непредсказуемое дополнительное значение «состоящий из определенного типа повозок, приводимый в действие таким-то образом»¹⁴. Следовательно, в самой словообразовательной структуре отражается лишь незначительная часть информации, содержащейся в семантической структуре, причем та часть «словообразовательной» информации, которая оказывается семантически несодержательной.

Нельзя не согласиться с наблюдением В. В. Лопатина, который отмечает, то существует «довольно большая группа отглагольных имен с одним и тем же префиксальным субморфом *по-*, мотивированных глаголами движения»¹⁵. Однако едва ли следует трактовать *по-* в таких случаях как субморф. Сочетаясь с глаголами движения, префикс *по-*, как известно, реализует те значения временной характеристики действия, которые оказываются «зачеркнутыми» суффиксом со значением «предметности». Таким образом, предпочтительнее видеть в словах *побег*, *повод (ремень)*, *поводок (ремень)*, *поводырь*, *повозка*, *погоня*, *поездка*, *полет*, *поноска*, *поплавок*, *поползень*, *поток*, *потёк*, *поход*, *подвижный* (примеры В. В. Лопатина) не субморф *по-*, а морф *по-*, значение которого в данных словах обращено в нуль в результате воздействия морфа со значением «предметности».

Итак, в структуре русского слова могут содержаться значимые элементы, дублирующие друг друга или противоречащие один другому. При членении русского слова на морфемы следует выделять именно мельчайшие по форме значимые единицы. При этом необходимо учитывать то обстоятельство, что значение слова в целом не представляет собою результат простого сложения значений морфов, составляющих данное слово. Изучение сложного механизма взаимодействия значений, выражаемых различными частями слова, представляет собою актуальную теоретическую и практическую задачу русского словообразования.

¹⁴ См.: И. Г. Милославский, Семантическая структура русских производных существительных со значением предмета, ФН, 1975, 6.

¹⁵ В. В. Лопатин, указ. соч., стр. 62.

ЮДАКИН А. П.

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ И НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ (Типологический очерк)

В некоторых индоевропейских языках, особенно западного континента, имеется строгая оппозиция определенности — неопределенности имени, которая находит выражение в категории артиклей (определенного, неопределенного и частичного), употребляющихся препозитивно (чаще) или постпозитивно. Является ли данная оппозиция характерной только для индоевропейских языков (более того, незначительной их части) или универсальной, присущей всем языкам? Едва ли может вызвать сомнение, что в большей или меньшей степени эта оппозиция свойственна всем языкам мира.

Уже в простом соединении двух слов, имен или имени и глагола, содержится четкое указание на интересующую нас оппозицию. Содержание и оформление слова, которое представляется говорящему подлежащим произнесенного им предложения, может быть ему известным или неизвестным, однако это становится менее релевантным, когда тот же говорящий подключает к нему другое понятие, вводя один из его неизвестных признаков¹, и уже в силу этого (а не в силу уникальности² предметов и явлений объективного мира) подлежащее становится определенным³. «Мужчина стоял на мосту. Он был хмур и невесел». Вправе ли мы считать подлежащее первого предложения относительно определенным? Да. Говорящий уже своим выбором того или иного человека сузил круг людей до некоторой определенности. Кроме того, подлежащее дважды определяется в предложении: «мужчина стоял» и «стоял на мосту». Ограниченное и трижды определенное подлежащее мы вправе считать относительно определенным. Субъектом второго предложения является все тот же человек, но он определяется еще два раза. Контекст сужает еще больше круг определенности, а предикат вводит новые признаки или качества, присущие субъекту предложения, который в силу процесса речения становится все более определенным.

Нам думается, наиболее ярко можно проиллюстрировать данное положение примером из арабского языка: *ḥaddādun kāna lahu kalbun*⁴ «Кузнец — у него была собака» (= «у кузнеца была собака»). Субъект говорящему неизвестен, предикат тоже. Соединить воедино два понятия, каждое из которых является неопределенным, представляется носителю языка невозможным, поэтому одно из них выносится им за скобки, а в скобках вместо неопределенного подлежащего употребляется местоименная энклитика — *hu* (соотносится с личным местоимением 3-го лица ед. числа *huwa* — «он»), которая сужает сферу деятельности неопределенности и

¹ J. M. Baldwin, Dictionary of philosophy and psychology, London, 1902, 2, стр. 364.

² А. А. Беглярбекова, Артиклевая функция родительного, винительного падежей и слова *bir* в современном азербайджанском языке. АЛД, М., 1971, стр. 14.

³ См.: О. Есперсен, Философия языка, М., 1958, стр. 132 и сл.

⁴ Б. М. Гряде, Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении, М., 1963, § 263, стр. 456—460.

является вместе с предлогом в форме *la-hi* как бы связкой между неопределенным подлежащим и неопределенным сказуемым⁵. Небезынтересны предложения следующего типа: *'al-mihfazatu 'alā-t-tāwilati* «портфель на столе» и *'alā-t-tāwilati mihfazatun* «на столе — портфель», в которых определенный грамматический предмет перемещается на место подлежащего. В предложениях данного типа наиболее полно реализуется оппозиция определенности — неопределенности имени как в арабском, так и в русском примерах. Ср. также: франц. *sur la table il y a une serviette* «на столе — портфель» и *la serviette est sur la table* «портфель на столе» и т. д.

При выделении предметов, существ или феноменов и при противопоставлении их сходным предметам, существам или феноменам используются различные языковые средства, и прежде всего определения как к имени, так и к глаголу. Специализация имени осуществляется с помощью некоторого числа определений к нему⁶, по мере удаления от имени сужающихся по значению и все более ограничивающих имя (*Сын. Юный сын. Очень юный сын. Это очень юный сын капитана*). Наибольшей определяющей силой, по-видимому, обладает имя, определяемое именем в род. падеже (*сын капитана*), в том случае и тогда, когда функцию род. падежа выполняют другие языковые средства, например, предлог *de* во французском языке: *un fils du capitaine*. Имя, располагающее большим набором определений, очевидно, наиболее полно определено.

Данные рассуждения не имеют точек соприкосновения с теорией актуализации, сущность которой, по Балли, заключается в претворении понятий в действительность, т. е., вообще говоря, в переходе от логического к языковому, в то время как нами исследуется трансформация частных грамматических феноменов в общие грамматические категории. Таким образом, теория актуализации распространяется прежде всего в сторону синтаксиса простого предложения, в то время как мы пытаемся проследить, каким образом синтаксис простого предложения порождает морфологические классы слов⁷.

Явление, когда имя определяется вне оппозиции другому имени, можно называть внутренней определенностью предмета. Оно широко распространено и одинаково характерно для любого языка мира, к какой бы языковой семье он ни принадлежал⁸. Но как бы ни был велик набор определений к именам, их совершенно недостаточно для того, чтобы данное имя противопоставить другому имени (с любым количеством определений при нем). Для этого необходима особая категория, становлению которой и способствуют всевозможные языковые факторы: возникновение притяжательного склонения имен существительных, появление различных рядов прилагательных, дейктические слова (в том числе местоимения), развитие родительного падежа и многие другие. Как видим, путь к оппозиции определенности — неопределенности очень длителен и имеет многовековую историю. Наиболее полное выражение эта оппозиция находит в категории артикля, благодаря которому создается возможность противопоставить два имени с одним и тем же набором определений (англ. *an old grey woman* «некая седая старушка» и *the old grey woman* «эта старая седая женщина»). Такое явление можно назвать внешней определенностью имени. Определенный артикль может выступать в функции родительного выделительного, партитивного (разумеется, если в языке нет партитивного

⁵ Г. М. Габучян, Теория артикля и проблемы арабского синтаксиса, М., 1972.

⁶ См.: О. Есперсен, указ. соч., стр. 122.

⁷ Ш. Балли, Общая лингвистика и вопросы французского языка, М., 1955, стр. 88—89 и сл.

⁸ Ср.: А. А. Беглярбекова, указ. соч., стр. 8.

артикля, как во французском), поскольку становление данной категории стимулировали многие языковые факторы, в том числе и родительный выделительный (в случае его присутствия в языке). Наличие категории артикля создает возможность не только противопоставить имя по признаку определенности — неопределенности⁹, но и разграничить имена на уникальные (единственные в своем роде), употребляемые только с определенным артиклем, и неуникальные, включающиеся в дихотомию определенность — неопределенность, помогает четче противопоставить отношение видового к родовому и т. д., т. е. разгрузить от некоторых функций предикативную синтагму (подлежащее — сказуемое). Материальному выражению оппозиции определенность — неопределенность в виде категории артикля благоприятствовали уже имеющиеся в языке средства выражения: там, где в языке есть неопределенный артикль, он представляет собой редуцированный омоним числительного *один*, определенный артикль связан с указательным местоимением (ср.: англ. *a boy — the boy*, нем. *ein Knabe — der Knabe*,¹⁰ франц. *un garçon — le garçon*, русск. «один человек как-то сказал...», где «один» = «некто»).

Аналогичные описанным выше процессы затрагивают и сферу сказуемого. Выражаемое глаголом действие необходимо конкретизировать в смысле места, времени его совершения, причины, назначения и т. д. Имя, проникая в сферу сказуемого, в соединении со служебными словами и без них стало обозначать признак (сопутствующий действию обстоятельства) своего признака (действительного признака — глагола). Это привело к снижению значимости имени существительного в предложении, которое в исходной форме начинает употребляться в предложении для определения глагола, т. е. происходит дифференциация исходной формы: становится возможным ее употребление в качестве главного члена предложения (субъекта, подлежащего предложению) и в качестве второстепенного члена предложения (обстоятельства, дополнения, прямого дополнения). Ср. турецк. *tren geldi* «поезд пришел» (*tren* — подлежащее); *eglençeli bir gün geçirmek* «проводить веселые дни» (*eglençeli bir gün* — обстоятельство; *geçirmek* «проводить время»); *çay içmek* «пить чай», *kitap basmak* «печатать книгу» (*çay* «чай» и *kitap* «книга» — примыкающие дополнения для выражения неопределенного объекта). Теперь уже не только глагол определяет имя, но и имя подчиняется глаголу. Бивалентная функция глагола исторически приводит к разделению глаголов на переходные и непереходные, т. е., соответственно, управляющие абсолютным падежом (или винительным, коль таковой в языке есть — глаголы переходные) и всеми прочими падежами (глаголы непереходные). Следы былой недифференцированности можно усмотреть в винительном направлении, довольно распространенном в латинском и древнегреческом языках (лат. *Romam eo* «иду в Рим») — Иду куда? или точнее: иду что? Ср.: *Romam video* «вижу Рим» — Вижу что?). Винительный падеж, вероятно, сохраняя былую недифференцированность, употребляется в латинском и древнегреческом в самых различных функциях, о чем свидетельствует соответствующая терминология: *accusativus lineae*, *accusativus relationis* и т. д. С приближением к исторической эпохе винительный все больше служит для обозначения прямого дополнения при переходных глаголах. Таким образом, глагол детерминирует употребление того или иного падежа при нем, и, наоборот, имя определяет глагол.

Доминирующее положение глагола может усиливаться до такой степени, что глагол, сочетаясь с прямым (определенным) дополнением (пере-

⁹ А. А. Беглярбекова, указ. соч., стр. 14. Ср. также: С. Д. Кадельсон, Историко-грамматические исследования, I — Из истории атрибутивных отношений, М.—Л., 1949, стр. 142 и сл.

ходный глагол), согласуется в роде, числе, падеже и т. д. не с подлежащим предложения (субъектные отношения), но со своим прямым дополнением (объектные отношения). Эти субъектно-объектные отношения могут развиваться в особое субъектно-объектное спряжение, когда окончания глагола при субъектном и объектном сопряжении материально различаются. Ср. венг.: *én látok* «я вижу» (вообще или что-то неопределенное) — безобъектное (или просто субъектное) спряжение; и *én könyvet látom* «я вижу книгу» (нечто определенное, конкретное) — объектное спряжение.

Насколько можно судить, подчиняющая сила глагола достигает апогея в языках с эргативной типологией предложения. В предложениях этого типа глагол в силу своей семантики по признаку переходность — непереходность детерминирует не только появление дополнения (прямого или косвенного), но и выбор подлежащего. Непереходный глагол сочетается с подлежащим в абсолютном падеже: переходный глагол употребляется при определенном дополнении с подлежащим в особом эргативном падеже (каком-нибудь непрямом падеже, если нет эргативного¹⁰) или же с особыми показателями, отличающими подлежащее эргативной конструкции от подлежащего неэргативной, субъектной конструкции предложения. При этом в языках с эргативным строем предложения возможны три типа конструкций: 1) номинативная (абсолютная) при непереходном глаголе; 2) номинативная (эргативная) при переходном глаголе с прямым дополнением и 3) нейтральная, если прямое дополнение при переходном глаголе отсутствует¹¹. Например, в хинди обычной является номинативная конструкция, но в предложении со сказуемым, выраженным переходным глаголом в форме, образованной от причастия прошедшего времени, применяется конструкция с послелогом деятеля *ne*, при которой имя деятеля стоит в косвенной (объектной) форме. При наличии в предложении прямого дополнения, стоящего в прямой форме (без послелога), это дополнение становится грамматическим подлежащим, и сказуемое согласуется с ним в роде, числе и лице. *Us ne kār khat likhe haiñ* «Он(а) написал(а) несколько писем». Сказуемое данного предложения *likhe haiñ* — настоящее совершенное время: причастие прошедшего времени *likhā* (от глагола *likhnā* — «писать») согласуется в роде (муж. род) и числе (мн. число) (вспомогательный глагол *honā* «быть» только в лице и числе) с грамматическим подлежащим предложения *kār khat* «несколько писем». *Unhon ne ek ciññhi likhī thī* «Они написали письмо». Послелог деятеля *ne* употреблен с логическим подлежащим предложения *ve/vah* «они» в косвенной форме, сказуемое согласуется с грамматическим подлежащим предложения в роде (жен. род) и числе (мн. число) (вспомогательный глагол только в лице — 3-е лицо ед. числа). Если в этой конструкции глагол не имеет прямого дополнения или оно стоит в не прямой форме (с послелогом), глагол имеет форму 3-го лица ед. числа муж. рода (нейтральная конструкция: *maiñ ne likhā* «я написал»¹²). Если в хинди (и в других западных новоиндийских языках, дардских и т. д.) употребление конструкции с послелогом деятеля ограничено прошедшими временами, образованными с помощью причастия прошедшего времени, то в некоторых других языках (например, кавказских¹³) пере-

¹⁰ Б. А. Захарьин, Д. И. Эдельман, Язык кашмири, М., 1971, стр. 106—109, 122.

¹¹ Подробней см.: А. П. Баранников, П. А. Баранников, Хинду-стани (Хинди и урду), М., 1956, стр. 197—201; Т. К. Катенина, Очерк грамматики языка маратхи, М., 1963, стр. 225—226.

¹² См.: Т. Я. Елизаренкова, Эргативная конструкция в новоиндийских языках, сб. «Эргативная конструкция предложения в языках различных типов», Л., 1967, стр. 116—125.

¹³ См., например: А. А. Магомедов, Агульский язык, Тбилиси, 1970.

ходный глагол детерминирует употребление эргативного падежа во всех временах и наклонениях.

Немногом раньше, осмысливая формирование категории «определенность — неопределенность» в языке, мы подвели читателя к тому, что наиболее полная ее реализация, по-видимому, осуществляется в тех языковых группах, где этот процесс материализуется в категориальной оппозиции артиклей — определенного и неопределенного. На основании изложенного выше материала нетрудно заметить, что развитие оппозиции артиклей находится в известной зависимости от становления имени прилагательного как особой части речи. Признав таковой обширную группу согласуемых определений, выражающих атрибут имени (качественный, относительный или признак по принадлежности), а также признав, что развитие процесса «определенность — неопределенность» завершается своей реализацией по крайней мере в двух категориях: в имени прилагательном и категории артиклей, — можно высказать рабочую гипотезу, что наличие комплекса, состоящего из согласуемых определений и оппозиции артиклей, является доказательством существования в языке имени прилагательного как особой части речи. И действительно, семантический анализ турецких прилагательных обнаруживает разноречивость в употреблении суффиксов. За внешним многообразием суффиксов турецкого языка часто проглядывает их посессивное значение, которое порой затемняется качественной (кваликативной) и относительной семантикой того или иного лексического пласта слов (видимо, только-только намечается дифференциация в значениях суффиксов с последующим их закреплением за определенным разрядом слов¹⁴. Так, не исключается расхождение в значениях таких слов, оформленных одним и тем же суффиксом, как *akıl + li* «умный, с умом, имеющий ум» (возможен переход в разряд качественных слов) и *şapka + li* «в шапке, с шапкой, имеющий шапку» (возможен переход в разряд притяжательных слов). Тем не менее в настоящее время суффикс *-li(-li/-lu/-lü)*, по-видимому, обозначает только наличие (ср. *akılsız* «без ума», *şapkasız* «без шапки») — значение, от которого в сторону посессивности еще предстоит долгий путь развития. Следовательно, в данном случае мы имеем дело с языком, в котором еще не разграничены разряды прилагательных; но в отличие, скажем, от китайского языка, который формально не дифференцирует трех разрядов прилагательных, турецкий язык располагает огромным числом формальных показателей, которые, тем не менее, как показывает исследование, далеко не всегда строго распределены между тремя основными разрядами прилагательных (качественными, относительными и притяжательными). Такие рассуждения значительно приблизят нас к намеченной цели. Исходя из принятого соглашения, мы можем заключить, что в романских языках существует имя прилагательное как особая часть речи, поскольку в них разряд определений к существительному не противоречит выведенному правилу, ибо определение согласуется с определяемым существительным в роде и числе (в германских языках частично в падеже), имеется и категориальная оппозиция артиклей (пример см. ниже). С другой стороны, став на эту точку зрения, мы будем отрицать наличие вполне сформированного имени прилагательного как особой части речи, положим, в тюркских языках, так как разряд определений в этой языковой семье не подходит под нашу дефиницию имени прилагательного по обоим пунктам: во-первых, определение не согласуется с определяемым им существительным; во-вторых, несмотря на то, что в языке налицо развитие процесса определенности — неопределенности, он не находит выражения в кате-

¹⁴ Ф. Г. Исхаков, Имя прилагательное, сб. «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», 2 — Морфология, М., 1956, стр. 149, 152, 155.

гориальной оппозиции артиклей (разумеется, второе условие не является столь строгим, как первое). В тюркских языках мы можем говорить только о наличии одного формально выраженного члена категориальной оппозиции, а именно: неопределенного артикля *bir*.

Данное положение может показаться неубедительным, особенно если учесть, что существует большое количество языков, в которых прилагательные¹⁵ сочетаются с определяемым именем по способу примыкания. Но имеем ли мы право утверждать, что в языках такого типа связь примыкания будет всегда характеризовать определение и определяемое имя? По-видимому, для подобных утверждений нет глубоких оснований, так как вряд ли целесообразно считать, что в языке не происходит никаких изменений. С другой стороны, в научной литературе высказывалось мнение, что определение и определяемое в индоевропейских языках в доисторический период также сочетались по способу примыкания¹⁶.

К подобному же выводу мы придем, если будем учитывать изыскания в области лингвистической типологии¹⁷. Из всего вышесказанного не следует вывод, что языки типа китайского со временем непременно должны приблизиться типологически к языкам синтетического типа вроде славянских. Это значит только одно, что мы не отчаиваемся когда-либо найти адекватные критерии определения частей речи в языках самых различных типов, в которых части речи зачастую не совпадают по объему. Критерии выделения частей речи должны быть объективные, подсказанные нам фактами языка, но не навязываемые языку извне. Так, например, едва ли правомерно выделять в китайском языке притяжательные прилагательные на том основании, что там налицо разряд слов, обозначающих признак по принадлежности. Так, слова *воды* «мой», *муциньды* «материнский» и т. д. как будто дают основание выделить в китайском языке разряд притяжательных прилагательных. Но существование слов типа *байды* «белый» или *теды* «железный» и т. п., качественных или относительных по значению, убеждает нас в том, что этого делать нельзя, так как, исходя из общих принципов, мы заключаем, что притяжательные прилагательные в китайском языке не выделились в особый разряд, поскольку они не располагают особыми показателями, отличающими их от других разрядов слов, как это имеет место, например, в русском языке, где слова типа *лусий*, *синицын* отличает от других разрядов прилагательных наличие притяжательных суффиксов (ср. *песчаный*, *дождатый*, *отеческий*, по: *материнский*, *отцовский*). Ср.: *Der kluge Vater nimmt einen roten Bleistift und gibt ihn seinem fleissigen Sohne* (нем.); *Il padre intelligente prende una matita rossa e la dà al suo figlio diligente* (итал.); *Akıllı baba bir kuruşukalem alınca onun çalışkan çocuğuna veriyor* (тюрек.); Умный отец берет красный карандаш и дает его прилежному сыну (русс.). Согласование определения с определяемым наиболее полно реализуется в русском и итальянском примерах, в немецком частично, в турецком согласование отсутствует. Нужно быть

¹⁵ В этом случае, возможно, правильной было бы говорить об определениях-прилагательных, имея в виду под этим термином большой разряд слов, который, с одной стороны, трудно выделить в особую часть речи в силу их не всегда четкого отграничения от слов других грамматических классов, — существительных, глаголов, наречий — и который, с другой стороны, неверно было бы отождествлять с другими классами слов, так как они часто имеют иные формальные показатели, отличающие их от указанных классов слов (см. ниже турецкие примеры).

¹⁶ B. De l b r ü s k, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, III — Syntax, Heidelberg, 1899, стр. 493 и сл.

¹⁷ Б. М. Жирмунский, Происхождение категории имени прилагательного в индоевропейских языках в сравнительно-грамматическом освещении, в его кн.: «Общее и германское языкознание», Л., 1976, стр. 212.

слишком смелым исследователем, чтобы выделить в тюркских языках имя прилагательное в особую часть речи, так как в этой языковой семье одно и то же имя может служить определением к существительному (функция прилагательного) и определением к глаголу (функция наречия): ср. турецк. *şena adam* «плохой человек» и *şena okimak* «плохо читать» и т. п. (феномен, характерный, вероятно, для всех тюркских языков), что вполне согласуется с вышеприведенными рассуждениями о трех разрядах прилагательных.

У тюркологов по поводу выделения имени прилагательного в особую часть речи существуют определенные разногласия, но все же более распространенным является мнение, согласно которому утверждается близость или единство имени прилагательного с именем существительным¹⁸. Впрочем, в турецком языке существует очень небольшая часть слов, выражающая свойство или качество (*ak* «белый», *kısa* «короткий», *güzel* «красивый» и т. п.), которые могут быть отнесены к разряду имен прилагательных, но и они легко субстантивируются, синтаксически функционируя в качестве имен существительных. Наличие этой группы слов не противоречит высказанному здесь мнению, но свидетельствует о том, что в турецком языке существуют предпосылки для формирования имени прилагательного как самостоятельной части речи. Вторая предпосылка создается в результате контактирования турецкого языка с другими языками, и прежде всего с арабским, из которого турецкий заимствовал большое количество относительных прилагательных с аффиксом *-î* и *-vî* (при гласных основах), благодаря которым образуется строгая оппозиция «имя существительное — имя прилагательное». Ср.: *madde* «материя», *maddî* «материальный», *tarih* «история» — *tarihî* «исторический», *sene* «год» — *senevî* «годовой».

Мы бы не решились проблемы и частично, если бы не задались вопросом: можно ли выделить имя прилагательное как часть речи, если в языке вообще отсутствует категория артикля? И если такая часть речи в данной языковой семье существует, каким комплексом языковых средств она будет реализовываться и будет ли согласование определения с определяемым необходимым и достаточным условием для подведения имени прилагательного под определение части речи?

Начнем с последнего вопроса: наличие согласования в роде, числе, падеже и т. д. определения с определяемым, по-видимому, является необходимым и достаточным условием для того, чтобы признать в том или ином языке имя прилагательное за особую часть речи, ибо с точки зрения исторической согласованное определение является как бы завершающим этапом становления имени прилагательного как части речи и включает в себя все основные категории, характеризующие развитое имя прилагательное. Таким образом, автоматически получаем утвердительный ответ и на первый вопрос; об этом свидетельствуют факты славянских языков, где не только отсутствует категориальная оппозиция артиклей, но само понятие артикля чуждо большинству славянских языков¹⁹, однако налицо часть речи — имя прилагательное, находящее выражение в трех группах согласованных определений (качественных, относительных, притяжательных). Как известно, в славянских языках произошла дифференциация прилагательных на полные и краткие, что, при наличии среднего рода, дает возможность прилагательному контрастно выделяться на фоне других частей

¹⁸ См., например: А. Н. К о н о н о в, Грамматика турецкого языка, М.—Л., 1941, стр. 38, 61, 168.

¹⁹ D. G. G u i l d, The development of the concept of definiteness in Baltic and Slavic, «Donum Balticum», Stockholm, 1970; J. K r á m s k ý, The article and the concept of definiteness in language, The Hague—Paris, 1972.

речи. Ответить на второй вопрос — в каком комплексе языковых средств выражения реализуется имя прилагательное в такого типа языках, где нет категории артиклей, — не так просто, и для этого необходимо глубже ознакомиться с фактами исследуемых языков.

Балтийские языки располагают двумя рядами прилагательных: краткими и полными. Первые называют нечленными или неместоименными²⁰, вторые членными или местоименными, поскольку исторически полные прилагательные произошли из сочетания кратких прилагательных с местоимением *jis(ji)*, которое подверглось изменению благодаря энклитическому положению и стало местоименным суффиксом²¹. Таким же образом — от кратких форм прилагательных *ji, ja, je* — образовались полные прилагательные в старославянском языке²² (ст.-слав. *новъ+и, нова+ю, ново+ѣ* русск. *новый, -ая, -ое*, краткие формы *нов, -а, -о*). При склонении прилагательное и суффиксированное местоимение сохраняют раздельное оформление²³. В германских языках также существуют два ряда имен прилагательных: слабое склонение (по Я. Гримму), или склонение на *-n*, функционально соответствующее славянским и балтийским местоименным формам²⁴, и сильное склонение, аналогичное по употреблению кратким славянским и балтийским формам. Слабое склонение германских прилагательных, в противоположность местоименным формам, испытало влияние указательных местоимений, которое ограничивается вытеснением одних флексивных формантов другими. Важным моментом здесь является не то, что влияние местоимений шло в диаметрально противоположных направлениях, а то, что прилагательные все же испытывали влияние местоимений, так что их дифференциация вела к одному общему результату: полные (местоименные прилагательные славяно-балтийских, слабые германских языков) отличались большей подвижностью и все больше и больше служили согласованными определениями к существительному, краткие формы прилагательных (неместоименные формы славяно-балтийских, сильные германских языков) теряли часть флексивных форм и, вступая в оппозицию с полными прилагательными, все больше употреблялись в предикативной функции. Как бы исследователи ни подходили к решению данной проблемы, несомненно одно: дифференциация прилагательных на полные и краткие как в германских, так и в балто-славянских языках — такое же следствие глобального процесса определенности — неопределенности в языке, как и категориальная оппозиция артиклей в романских языках.

Какими же причинами вызваны столь разные параллельные явления в разных языках? Однозначно ответить на этот вопрос почти невозможно. Но можно сослаться на следующие причины как на основные: 1) общая тенденция языка к аналитизму (т. е. передача одного грамматического явления с помощью нескольких формантов); 2) исчезновение из языка среднего рода как особой грамматической категории; 3) ярко выраженная фор-

²⁰ М. Н. Петерсон, Очерк литовского языка, М., 1955, стр. 52.]

²¹ A. Sen p., Handbuch der litauischen Sprache, I—Grammatik, Heidelberg, 1966, 163—169; V. K i p a r s k y, Russische historische Grammatik, 2, Heidelberg, 1967, 164—168.

²² Л. П. Якубинский, История древнерусского языка, М., 1953; Э. А. Якубинская-Лемберг, Употребление кратких и полных прилагательных в старославянском языке, «Уч. зап. [ЛГУ]», 187 (Серия филол. наук, 23), 1957, стр. 92.

²³ В. М. Жирмунский, Категория имени прилагательного в древних германских языках, сб. «Сравнительная грамматика германских языков», IV, М., 1966, стр. 59.

²⁴ Э. Прокш, Сравнительная грамматика германских языков, М., 1954, стр. 281—287; А. Мейе, Основные особенности германской группы языков, М., 1952, стр. 124—130.

мализация числительного один и указательных местоимений²⁵ и развитие на этой основе категориальной оппозиции артиклей (неопределенных в основном из числительного *один*²⁶ и определенных — из указательных местоимений). Наличие синтетизма в языке способствует более полному согласованию членов предложения друг с другом (подлежащее — сказуемое, определение — определяемое). Исчезновение (или отсутствие) среднего рода в языке благоприятствует наряду с формализацией указательных местоимений развитию артиклей, и наоборот, наличие в языке среднего рода наряду с сохранением указательными местоимениями их дейктически самостоятельной функции могут привести к дифференциации прилагательных на полные и краткие. Сложная ситуация в германских языках объясняется тем, что их характеризует двустороннее контактирование (например, влияние латинского на готский и романских на новонемецкий, с одной стороны, и славянских на новонемецкий, с другой). Развитие полных форм прилагательных под влиянием совокупности вышеуказанных условий приостанавливалось и принимало своеобразные формы под влиянием развивающегося аналитизма, и, следовательно, рождавшейся категориальной оппозиции артиклей. Именно влиянием последней и объясняется то, что образование полных прилагательных в германских языках осуществлялось иными путями, нежели в балто-славянских языках. Наличие среднего рода способствует дифференциации прилагательных на полные и краткие и помогает последним реализовать себя в предикативной функции²⁷. В балтийских языках средний род исчез после образования полных и кратких форм прилагательных или исчезал с их возникновением, о чем свидетельствуют реликты форм среднего рода в безлично-предикативной функции: *gražū* «прекрасно», *šalta* «холодно», *saldū* «сладко», *šiļta* «жарко, тепло» и т. д. Ср. также русские наречия в предикативной функции, совпадающие по форме со средним родом кратких прилагательных (*мне хорошо, весело, приятно*). Отчасти поэтому в балтийских языках краткие прилагательные²⁸ употребляются как атрибутивно, так и предикативно, а полные употребляются только атрибутивно. Аналогичное явление наблюдается в старославянском языке²⁹. Окончательному закреплению в предикативной функции кратких форм прилагательных во всех трех группах языков (германских, балтийских и славянских) способствовал действовавший и действующий поныне, по-видимому, во всех языках мира универсальный закон, по которому из двух форм одной и той же грамматической категории неизменяемой (или менее изменяемой) форме отводится функция сказуемого³⁰ с переводом неизменяемых слов этого разряда в предикативные наречия (а затем в наречия: *мне весело, мне радостно*) и предикативные прилагательные (*я рад*), с одной стороны, а с другой, в близкие к глаголу слова, которые со временем могут превратиться в самые настоящие глаголы. Подобные «оглаголенные» предикативные слова употребляются с такими же падежами, управляют теми же предлогами, что и однокоренные глаголы: *рад, радоваться, радующийся* (чему-либо), т. е. ведут себя как глаголы или образованные от них причастия. Употребление неизменяемых слов в предикативной функции, в том числе и использование кратких прилагательных, относится к очень древ-

²⁵ Ср.: Б. М. Гранде, указ. соч., стр. 318—320.

²⁶ О. Есперсен, указ. соч., стр. 93.

²⁷ К. С. Аксаков, Конспект последних двух отделов первой части русской грамматики, Собр. соч., III, стр. 118.

²⁸ М. Н. Петерсон, указ. соч., стр. 50—60.

²⁹ Э. А. Якубинская-Лемберг, указ. соч., стр. 104—105.

³⁰ Ср.: O. Jespersen, A modern English Grammar on historical principles, 2, Heidelberg, 1914, стр. 330—335.

нему периоду и является, вероятно, рефлексом давнишнего употребления локативных предложений в качестве предиката. Локативное предложение обозначает состояние в смысле местоположения предмета, предикативы обозначают душевные состояния без момента локализации (англ. *he is glad* «он рад», *he is on sympathy* — *he sympathizes* «он сочувствует»; ср. также: *she is out* «её нет дома» и *he is up* «он навеселе»³¹. Это обстоятельство и позволило одним ученым высказаться в защиту, а другим против выдвинутой Л. В. Щербой категории состояния как особой части речи³².

Итак, справедливо назвать полные и краткие прилагательные определенными и неопределенными³³, так как полные прилагательные, употребляясь атрибутивно, определяют имя существительное, служат показателями большей специализации имени, его большей определенности; краткие же прилагательные вполне оправдывают название неопределенных, поскольку в функции предиката они характеризуют уже определенное контекстуально или грамматически имя еще одним новым признаком³⁴.

Пожалуй, образовой иллюстрацией к истории образования кратких и полных определенных и неопределенных прилагательных может служить язык брауи³⁵, в котором относительные прилагательные различают три формы — краткую, определенную и неопределенную. Качественные прилагательные имеют эти же три формы в нейтральной и превосходящей степенях (по терминологии М. С. Андропова). Имя прилагательное в краткой форме, как и следовало ожидать, употребляется в качестве предикативной части глагольно-именного сказуемого. Неопределенная форма, образуемая посредством суффикса *-ā*, присоединяемая к основе (краткой форме) прилагательного, употребляется как в атрибутивной функции, так и в предикативной. В обоих случаях имя существительное или предикативная часть именного сказуемого принимают неопределенную частицу *-as* «один, какой-то». Определенная форма прилагательного образуется с помощью суффиксов *-ā*, *-āṅā* или *(-i)kō* от основы прилагательного и обычно используется в качестве препозитивного (при наличии особой эмфатики — постпозитивного) определения к существительному. Например: к р а т к а я ф о р м а — *kanā 'ullī pīun e* «моя лошадь белой масти (есть белая)»; *nā mār caṭṭ e* «твой сын лентяй (есть ленивый)»; н е о п р е д е л е н н а я ф о р м а — *balunō cukk-as* «большая птичка»; *dā 'ullī asil-ō asiṭṭ e* «эта лошадь хорошей породы» (букв. «есть одна чистокровная»); о п р е д е л е н н а я ф о р м а — *rāst-ikō dū* «правая рука» (*rāst* «правый»); *murgun-ā kasar* «длинная дорога» (*murgun* «длинный»).

По-видимому, справедливо утверждение, что определенные и неопределенные (атрибутивные и предикативные) прилагательные (или определения) характерны не только для развития флективных языков типа рассмотренных выше. На материале нивхского и некоторых других языков можно убедиться, что речь не может идти о прилагательном как особой части речи, но все же можно говорить о возникающем прилагательном определении, т. е. о первом, самом зачаточном этапе становления имени при-

³¹ Ср. структуру и семантику таких русских предложений: *он на реке* и *он навеселе*.

³² Л. В. Щ е р б а, О частях речи в русском языке, в его кн.: «Избранные работы по русскому языку», М., 1957, стр. 74—76; В. В. В и н о г р а д о в, Русский язык (грамматическое учение о слове), М., 1972, стр. 319 и сл.

³³ Н. И. Т о л с т о й, Значения кратких и полных форм прилагательных в старославянском языке, сб. «Вопросы славянского языкознания», 2, М., 1957, стр. 121—122.

³⁴ Л. П. Я к у б и л с к и й, указ. соч., стр. 215.

³⁵ Брауи — индийский язык, распространенный островками в Западном Пакистане, Афганистане и Ираке (см.: М. С. А н д р о п о в, Язык брауи, М., 1971, стр. 50—53).

лагательного. В нивхском языке есть выделительная форма ³⁶ глагола на *-ла*, которую могут иметь как качественные, так и некачественные глаголы. Суффикс *-ла*, дифференцируя глаголы по признаку определенность — неопределенность и облегчая глаголам возможность атрибутивного употребления перед именем, а) создает предпосылки для дальнейшего отделения качественных прилагательных от глагола; б) стимулирует развитие оппозиции определенность — неопределенность (в нивхском языке, вероятно, очень условно можно говорить об использовании числительного *один* в роли неопределенного артикля ³⁷); в) еще в лоне глагола создает предпосылки для могущей возникнуть в будущем дифференциации прилагательного на краткие и полные (предикативные и атрибутивные). В этой связи следует сказать, что качественные и некачественные глаголы с суффиксом *-ла* имеют две формы. Выступая в функции сказуемого, они принимают суффиксы изъявительного наклонения глагола *-дь*, *-ть* и другие качественные формативы; в функции определения они выступают в форме на *-ла*. Ср.: *ты ду вулад'* «это озеро глубокое» и *вула ду* «глубокое озеро» от корня *вууд'* «быть хорошим». Вероятно, мы имеем дело с зарождающейся категорией имени прилагательного. Это подтверждают многие факты. Например, формы на *-ла* (впрочем как и некоторые другие разряды слов) обладают определенной свободой сочетания с другими словами и определенной подвижностью в предложении: так, выступая в функции сказуемого, эти слова имеют все глагольные формы, включая и наклонения. Тот факт, что глаголы не только в выделительной форме на *-ла* используются в атрибутивной функции, но также глаголы в виде основы и глаголы с суффиксом *-з* употребляются в функции определения *налсдз к'э* «паршивая лиса» от *налсдод'* «быть грязным» и т. д. ³⁸, говорит в пользу возникновения в нивхском языке имени прилагательного. Существуют и предпосылки для будущего самостоятельного употребления глаголов — определений на *-ла*, так как некоторое число качественных слов на *-ла* переходит в разряд имен существительных (*пагг'ла* «медь; зарево», *кк'ава* «жара» и проч.), что в свою очередь может послужить толчком к самостоятельному употреблению прилагательных.

В настоящее время в самодийских языках имя характеризуется потерей ярко выраженной глагольности с точки зрения диахронии, при этом в некоторых из них имя образует уже не глагольный предикат, а входит в состав именного предиката (имя + глагол-связка «быть»). На основании этого можно высказать предположение, что и в нивхском языке не исключено подобное обособление имени прилагательного от глагола. Об этом, возможно, и свидетельствует глагольная форма на *-ла* ³⁹.

Итак, на примере неиндоевропейских языков нами предпринята попытка показать, что деление прилагательных на определенные и неопределенные (по другой терминологии: на краткие и полные, а функционально — на предикативные и определительные) такое же древнее, как и сама категория имени прилагательного, и что данное противопоставление возникает уже при зарождении имени прилагательного вообще. Становление имени прилагательного, следовательно, связано с развитием категории определенность — неопределенность и является одним из следствий этого процесса, так же как появление оппозиции артиклей и некоторые другие явления.

³⁶ В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, 2, М.—Л., 1965, стр. 86—87; Е. А. Крейнович, В. Н. Савельева, Об имени прилагательном в нивхском языке, сб. «В помощь учителю школ Крайнего Севера», 6, 1956, стр. 149.

³⁷ В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, 1, М.—Л., 1962, стр. 193.

³⁸ В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, 2, стр. 16—17.

³⁹ Н. М. Терещенко, Синтаксис самодийских языков. Простое предложение, Л., 1973, стр. 159 и сл.

БЛАГОВА Г. Ф.

О ПРИНЦИПАХ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЮРКСКИХ ТЕКСТОВ

Историческое изучение тюркских языков, которое долго сосредоточивалось главным образом на инвентаризации отдельных языковых явлений разных уровней в средневековых текстах, с одной стороны, а с другой — на периодизации истории старописьменных тюркских языков, в последние годы ознаменовалось поисками новых путей, а вместе с тем — многими удачами и находками, обеспеченными, прежде всего, системным подходом к анализу материала (здесь должны быть упомянуты в первую очередь работы С. Н. Иванова, Э. А. Груниной, Д. М. Насилова, В. Г. Гузева, И. В. Кормушина, Х. Г. Нигматова и др.).

В настоящее время можно с полным правом говорить также о становлении в этой отрасли тюркологии нового направления, опирающегося на функционально-стилистический подход к языку средневековых текстов; плодотворность такого подхода с ясностью определилась в широко проводимых изысканиях на материале славянских, романских и германских языков. Э. Р. Тенишев, исследовав большой материал стилистически окрашенной лексики, различные типы готовых формул, обнаружил наддиалектный характер языка памятников древнетюркской руники и предложил функционально-стилистическую характеристику древнеуйгурского литературного языка; этими работами положено начало исследованию типологии древне- и среднетюркских литературных языков¹. Д. М. Насилов стремится учитывать функционально-языковые и социолингвистические факторы при рассмотрении памятников древнеуйгурского языка как объекта исторической грамматики тюркских языков; по его мысли, именно учет названных факторов должен способствовать более четкому разграничению проблем истории литературных языков и собственно исторической грамматики тюркских языков².

Новое направление лингвоисторических разработок в тюркологии как раз исходит из признания на деле особенности истории литературных языков, с одной стороны, исторической грамматики отдельных тюркских языков, с другой. О том, что без подобного разграничения не может быть достигнут решающий прогресс в соответствующих отраслях тюркского языкознания, говорилось уже не раз. Без такого разграничения не может быть поставлен и решен вопрос: какая роль должна быть отведена языко-

¹ Э. Р. Тенишев, О наддиалектном характере языка тюркских рунических памятников, сб. «Turcologica. К семидесятилетию академика А. Н. Кононова», Л., 1976; е го же, Функционально-стилистическая характеристика древнеуйгурского литературного языка, сб. «Социальная и функциональная дифференциация литературных языков», М., 1977; е го же, Исследование типологии древнетюркских литературных языков, «Тезисы докладов I Международного симпозиума ученых социалистических стран на тему „Теоретические проблемы восточного языкознания“» (ИВ АН СССР), М., 1977; е го же, Языки древне- и среднетюркских памятников в функциональном аспекте, ВЯ, 1979, 2 (далее — Тенишев, 1979).

² Д. М. Насилов, Памятники древнеуйгурского языка как объект исторической грамматики тюркских языков, «Советская тюркология и развитие тюркских языков в СССР», Алма-Ата, 1976, стр. 188.

вым свидетельствам памятников древней и средневековой тюркской письменности при создании исторической грамматики отдельных тюркских языков и при сравнительно-исторических исследованиях грамматики тюркских языков? При решении этого вопроса на материале средневекового тюркского литературно-языкового наследия должны быть учтены исторические соотношения не только литературного языка и языка художественной литературы, но также языка конкретного текста («язык писателя») и языка литературы изучаемого периода³. Сейчас уже становится очевидным, что не все языковые факты, извлекаемые из средневековых тюркских текстов, обладают одинаковой доказательной силой при реконструкции тюркской грамматической системы в разные периоды ее истории, далеко не все могут быть в равной мере использованы при построении периодизации развития того или иного общенародного тюркского языка, поскольку часть таких фактов оказывается обусловленной самой принадлежностью к литературному языку.

Литературный язык, по словам Л. В. Щербы, «хотя и находится с „общим“ в определенных функциональных отношениях, имеет, однако, свою собственную сложную структуру»⁴. Целесообразно поэтому разграничивать как методические приемы, так в известной мере и объекты изучения для исторической грамматики отдельных тюркских языков и для истории литературного языка. Вместе с тем, самостоятельный интерес представляет вопрос о стилиобразующих потенциях тюркской морфологии; соответственно речь может идти о вычленении предмета изучения исторической грамматической стилистики.

Морфология средневековых тюркских текстов изучалась комплексно: мы стремились сочетать при этом системный и жанрово-стилистический подходы. В каждом из обследуемых текстов изучались совокупности взаимосвязанных системообразующих форм, которыми передается в нем та или иная грамматическая категория, в данном случае склонение. На основе внутрисистемных соотношений этих форм, при учете места каждой из них в системе склонения, а также их облигаторности — необлигаторности, регулярности — нерегулярности определялся тип склонения, представленного в тексте. В этой связи вводится понятие «базисная система склонения» изучаемого текста. Это структурно упорядоченная совокупность форм склонения, которые связаны между собой регулярными соотношениями и которые не испытывают каких бы то ни было ограничений в своем употреблении, количественно преобладая в данном тексте. Не укладываются в базисную систему склонения, оставаясь за пределами ее соотношений, необлигаторные и нерегулярные инодиалектные и архаические падежные формы, которые при низкой своей частотности варьируют те или иные формы базисной системы склонения.

Жанрово-стилистический подход к анализу морфологии конкретных текстов подразумевает необходимость дифференцированного обследования морфологии разножанровых текстов средневековья. В связи с жанрово-дифференцированным изучением грамматической системы по памятникам вводятся понятия «текстовое распределение» изучаемой формы, «текстовое ограничение» в употреблении любой такой формы.

На материалах различных литературных языков, в том числе и тюркских, давно уже продемонстрирована специфичность поэтического языка с его богатой вариантностью форм. В нашем случае это важно иметь в виду потому, что целые периоды (особенно ранние) средневековой тюркской

³ См.: В. В. Виноградов, *О языке художественной литературы*, М., 1959.

⁴ Л. В. Щерба, *О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании*, в его кн.: *Языковая система и речевая деятельность*, Л., 1974, стр. 31.

литературы представлены по преимуществу поэтическими жанрами. В силу такого большого веса средневековых тюркских поэтических текстов возникла необходимость в специальном методическом приеме для обработки их языка. Такой прием, реализующий в себе сочетание системного и жанрово-стилистического подходов, предлагается называть приемом расслоения средневековых поэтических текстов. В качестве предварительной необходимой ступени исследования прием расслоения включает в себя филологическую интерпретацию употребления круга изучаемых грамматических форм в любом средневековом тюркском тексте.

Цель применения приема расслоения поэтических текстов двоякая. Во-первых и прежде всего, вычленив стилистически нейтральный языковой слой — тот самый, формы которого, по словам Л. В. Щербы, составляют значительнейшую часть языковой ткани любого литературного произведения⁵. Как правило, эта стилистически нейтральная и количественно преобладающая часть материала и составляет «базисную грамматическую систему»; ее формы в памятниках, принадлежащих одному историческому периоду, одному региону — юго-восточному, обычно не испытывают текстовых ограничений и могут считаться узальными для литературного языка этого периода.

Вместе с тем, прием расслоения помогает выделить литературно обусловленное варьирование грамматических форм и, прежде всего, определить инодиалектные слои форм, гетерогенных по отношению к базисной микросистеме. Наряду с литературной обусловленностью (чаще всего — требованиями ритмико-метрической организации стихового текста) такие инодиалектные формы характеризуются как ограничения в их количественном распределении (внутри одного памятника), так и текстовыми ограничениями.

Применительно к группе текстов прием расслоения дополняется жанрово-дифференцированным сопоставлением их языковых показаний. Признается целесообразным вначале сопоставлять в языковом отношении тексты, происходящие из одного региона и принадлежащие одному историческому периоду, строго придерживаясь жанрового признака. Такому сопоставлению подлежат цельные грамматические микросистемы, предварительно изученные в языке каждого из сопоставляемых текстов с помощью приема расслоения. Естественно, при этом в каждом тексте учитываются специфические соотношения между формами, составляющими эти микросистемы.

В том случае, когда от данного исторического периода сохранились тексты разных жанров, вовлечение их в изучение станет эффективным при условии, если жанрово-дифференцированное сопоставление будет многоступенчатым, а сопоставление одножанровых текстов будет включено в него как одна из начальных ступеней обследования⁶.

При опоре на совокупность названных приемов может быть осуществлена комплексная обработка языка средневековых тюркских текстов. Суть ее состоит в том, что лингвистическое изучение текстов при учете их жанровой дифференциации ведется сразу по нескольким направлениям, а именно: историческая грамматика отдельных тюркских языков, история литературного языка, историческая грамматическая стилистика; материалы, добытые таким путем при обследовании одного текста (или: группы текстов), непосредственно распределяются по этим трем смежным дисциплинам.

⁵ Л. В. Щерба, указ. соч., стр. 269.

⁶ Ср. «перекрестный анализ» языка средневековых литературных произведений (Р. И. Аванесов, К вопросам периодизации истории русского языка, «Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов», М., 1973, стр. 18).

Вопрос о том, соответствует ли действительности такое распределение по названным дисциплинам тех данных, которые извлечены из одного текста, остается актуальным даже в случае, когда изучаемый памятник обладает степенью репрезентативности, достаточной, казалось бы, для адекватной оценки языковых показаний⁷. Решению этого вопроса как раз и помогает системное жанрово-дифференцированное сопоставление. Проиллюстрируем сказанное конкретным анализом.

Для XI в., например, к жанрово-дифференцированному сопоставлению привлекалось склонение, как оно представлено в этико-дидактической поэме Юсуфа Баласагунского «Кутадгу билиг» и в поэтических фрагментах «Дивану лугат ит-турк» (Словаря) Махмуда Кашгарского⁸.

Материалы Словаря весьма разнообразны, и об их происхождении высказывались противоречивые мнения. С. Е. Малов, например, называл поэтические фрагменты Словаря «кашгарскими песнями» и относил их к «уйгурско-кашгарскому фольклору»⁹. И. В. Стеблева, опираясь на мнение В. В. Бартольда о том, что среди стихов «Дивана» есть несомненные образцы придворной поэзии, доказала, что эти стихи написаны «разнообразными метрами аруза с большей или меньшей погрешностью в них»¹⁰.

В своем сопоставлении мы исходим из того, что как в поэтических фрагментах Словаря, так и в пословицах с поговорками и прозаических примерах, используемых Махмудом Кашгарским в качестве иллюстративного материала, представлены формы обработанного языка — будь они литературными или же устно-литературными. Высокая степень обработанности, наддиалектный характер языка фольклора со всей очевидностью были показаны в специальных исследованиях. Сопоставительный анализ иллюстративных материалов Словаря Махмуда Кашгарского подтверждает тот факт, что язык устных произведений любых жанров в XI в. возвышался над резкими местными диалектными особенностями (первичными диалектными признаками, по В. М. Жирмунскому). Именно в силу высокой степени лингвистической обработанности фольклорных произведений любых жанров, вплоть до пословиц и поговорок, между их языком и литературным языком изучаемого периода нельзя провести резкой грани. Эти соображения о характере обработанности языка устного народного творчества могут быть аргументированы уже и тем, что в тюркоязычной письменной литературе различных жанров (сначала поэтических, а впоследствии также и прозаических), начиная, по крайней мере с XI в., средневековыми авторами, например, Юсуфом Баласагунским, Ахмадом Югнаки, Алишером Навои, Захир эд-Дином Мухаммедом Бабуrom, широко использовались народные пословицы и поговорки.

При аргументации положения о том, что между языком фольклорных произведений и языком письменной литературы XI в. нельзя проводить резкой грани, следует также обратить внимание еще на одно немаловаж-

⁷ См.: М. М. Г у х м а н, Н. Н. С е м е н ю к, О некоторых принципах изучения литературных языков и их истории, ИАН СЛЯ, 1977, 5, стр. 444.

⁸ R. R. A g a t, Kutadgu bilig. — Metin, Istanbul, 1947 (далее — KB I); Ма х м у д К о ш г а р и й, Девоу лугатит турк. Таржимон ва нашрга тайёрловчи С. М. Муталлибов, Тошкент, I—1960, II—1961, III—1963, Индекс-лугат [IV]—1967 (далее: МК I—IV). См. описания языка названных памятников: Э. Т е н и ш е в. Указатель грамматических форм к «Дивану тюркских языков» Махмуда Кашгарского, «Труды Института языка и литературы АН КазССР», 3, 1963; Т. А. Б о р о в к о в а, Грамматический очерк языка «Дивану лугатит-турк». АКД, Л., 1966; К. К а р и м о в, Категория надежа в языке «Кутадгу билиг». АКД, Ташкент, 1962.

⁹ С. Е. М а л о в, Памятники древнетюркской письменности, М.—Л., 1951, стр. 306, 313.

¹⁰ И. В. С т е б л е в а, Развитие тюркских поэтических форм в XI веке, М., 1971, стр. 7, 22.

ное обстоятельство. Дело в том, что образцы фольклора в Словаре предстают не только в письменной фиксации, но также, скорее всего, и в письменной обработке составителя этого уникального труда, известного в свое время знатока современных ему тюркских языков и диалектов, в том числе и литературного языка (*türkî hâqânî*)¹¹. Если применить к фольклорным записям Махмуда Кашгарского критерии соавторства, выработанные Д. С. Лихачевым на материале древнерусских рукописей¹², то окажется, что составителя этого уникального раннесредневекового Словаря можно с полным правом рассматривать как соавтора сосредоточенных в нем иллюстративных материалов.

Путем сопоставления наборов падежных форм в «Кутадгу билиг» и в поэтических фрагментах Словаря производится спецификация соответствующей грамматической категории в поэтическом языке XI в. Во-первых, определяется базисная система склонения.

Для поэтического языка XI в. в качестве базисной системы склонения выделяется структурно выдержанная совокупность следующих регулярных по своему употреблению признаков: 1) падежные формативы с консонантического началом — род. п. *-niq*, вин. п. *-ni*, дат. п. *-ka/-ga* — как в именной, так и в посессивно-именной парадигмах и независимо от того, на гласный или согласный оканчивается склоняемое имя; 2) наличие инфикса *-n-* в дат., местн. и исх. падежах посессивно-именной парадигмы 3-го лица.

Благодаря этому последнему признаку обеспечивается противопоставление посессивно-именной парадигмы 3-го лица именной парадигме. Такое соотношение парадигм при общем выравнивании по признаку obligatorности консонантических формативов род., вин., дат. падежей (для дат. падежа 3-го лица регулярным является морфемосочетание *-n-ga*) характерно для уйгурско-кыпчакского типа склонения. Кроме того, к базисной системе склонения XI в. могут быть отнесены: 3) инстр. падеж на *-o*; 4) исх. падеж на *-din*; 5) сильно развитая полифункциональность местн. падежа на *-da*; 6) что касается именного аккузатива на *-o*, то отнесение его к базисной системе склонения более проблематично, поскольку он занимает различное место в языке разных памятников XI в.

Во-вторых, путем сопоставления «Кутадгу билиг» и поэтических фрагментов Словаря подтвердилась литературная обусловленность набора так называемых огузских падежных форм: вин. падежа *-i*, род. падежа *-u*, дат. падежа *-a*. Все они необлигаторны и нерегулярны, причем каждая из них имеет индивидуализированные ограничения в своем парадигмном распределении не только по текстам, но и в пределах одного текста. В совокупности они составляют идиолектную систему огузских падеж-

¹¹ Подтверждением тому, что письменная обработка фольклорных примеров могла производиться Махмудом Кашгарским совершенно непреднамеренно, служит самый факт варьирования пословиц и поговорок, которые приводятся в Словаре в качестве иллюстративных примеров. Так, трижды в Словаре приведена пословица, в которой всякий раз дается разное дополнение к глагольной форме *tutmas: alyp arslan tutar kücin ujuq (kösgük/syçqan) tutmas* МК I 110, (II 334₂₃/III 419) «Хитростью ловят льва, силой не взять и пугала (чучела/мыши)». Особенно показательны полный и краткий варианты нижеследующей пословицы: *atasu anasy açuq almyla jesa oçlu quzu tüşuqatar* МК III 28₉ «Родители кислые яблоки-то едят, [a] у детей на зубах оскомина набивается» и *atasu açuq almyla jesa oçlunur tüşu qatar* МК II 360₁₁ «Отец кислые яблоки-то ест, [a] у сына на зубах оскомина набивается». Наличие одного и того же вторичного (по В. М. Жирмунскому) диалектного признака (*almy-la* «яблоком») в обоих вариантах пословицы может свидетельствовать о том, что здесь мы имеем дело не с «областным» варьированием ее состава, но с результатом цитирования пословицы составителем Словаря по памяти.

¹² Д. С. Лихачев, Текстология. На материале русской литературы X—XVII вв., М.—Л., 1962, стр. 57 и сл.

ных форм. Как в «Кутадгу билиг», так и в поэтических фрагментах Словаря (в этом последнем случае — с заметно меньшей частотностью), названные огузские формы варьируют соответствующие падежные формы базисной системы. Дело в том, что в каждой паре таких вариантов оказываются представлены разные типы ритмических окончаний; за счет такого варьирования обеспечивалось приспособление тюркского языкового материала к арабо-персидской метрике аруз. К тому же, в результате взаимодействия регулярных форм базисной системы склонения и гораздо более редких варьирующих их огузских падежных форм, создается своего рода поле стилистического напряжения. Огузские падежные формы обладают здесь известными стилеобразующими потенциями («поэтическая приподнятость») и наборы таких форм в любом из рассматриваемых памятников можно с полным основанием отнести к числу стилеобразующих морфологических признаков поэтического языка XI в.

В-третьих, именно благодаря тому, что при сопоставлении внимание было сосредоточено на текстах разных поэтических жанров, были получены некоторые неодинаковые по памятникам результаты, касающиеся самого характера употребления отдельных форм — аккузатива на $-g$, напр. падежа на $-yar$, наличия или отсутствия своеобразных ограничений в функционировании каждого из них по текстам. Удалось заметить, что обе названные формы могут обладать известными стилеобразующими потенциями, которые по памятникам проявляются далеко не одинаково. В самом деле, только в «Кутадгу билиг» наблюдается употребление словоформ аккузатива на $-g$ в составе рифмы, словесных клише и в устойчивых сочетаниях. Только в «Кутадгу билиг» отмечена возможность для местоименной словоформы напр. падежа *minyar* «этому» выступать в готовых формулах типа *minyar menzetü ajdy ša'ir bu söz* KB I 104 B 73_{вет} «Уподобляя этому, поэт сказал таково слово». Такое специфическое функционирование названных падежных форм именно в этой поэме может быть объяснено за счет индивидуально-творческой манеры ее автора Юсуфа Баласагунского, поскольку в поэтических фрагментах (равно как, впрочем, и в других группах материала) Словаря таких особенностей в использовании этих форм не встретилось.

Таким образом, жанрово-дифференцированное сопоставление, сочетающееся с приемом расслоения поэтических текстов, не только позволяет осуществить объективную проверку данных, полученных при анализе одного текста, и обобщить их до уровня принадлежащих поэтическому языку XI в. Уже на этой первой ступени сопоставления становится возможным наряду с двумя слоями, вычлененными посредством приема расслоения (стилистически нейтральная базисная система склонения и литературно обусловленный набор огузских падежных форм), выделить третий слой. Это индивидуально-творческий слой, как можно его назвать вслед за В. В. Виноградовым. Для этого слоя в XI в. использовались чаще всего формы, видимо, не вполне обычные для обиходного языка автора того или другого текста (можно предположить, что, например, именной аккузатив на $-g$ не был свойствен идиолекту Юсуфа Баласагунского, а напр. падеж на $-yar$ воспринимался им как архаизирующаяся форма).

Самая возможность творчески индивидуализированного использования таких форм демонстрирует достаточно высокие стилеобразующие потенции тюркской морфологии в разные исторические периоды. Таким образом, историческая грамматическая стилистика и история литературного языка соответствующего периода оснащаются вполне конкретным материалом, полученным благодаря использованию приема расслоения поэтических текстов и путем жанрово-дифференцированного сопоставления.

Вторая ступень жанрово-дифференцированного сопоставления подразумевает выход за пределы одного жанра, хотя анализ по-прежнему ограничивается рамками того же исторического периода и того же (юго-восточного) региона. Перейти к этой второй ступени для XI в. стало возможным, привлекая к сопоставлению, после предварительного раздельного их обследования по жанровому признаку, такие группы разнородного иллюстративного материала Словаря Махмуда Кашгарского, как пословицы с поговорками, прозаические примеры, в которых запечатлены разные варианты обработанного языка. Наддиалектный характер фольклорного языка пословиц и поговорок усугублен письменной фиксацией и вполне вероятной письменной обработкой их в Словаре (см. об этом примеч. 11). Относительно прозаических фразовых примеров в Словаре высказывались достаточно аргументированные мнения, что они сконструированы самим Махмудом Кашгарским для иллюстрирования заглавного слова (или: словоформы) некоторых словарных статей¹³; следовательно, и они принадлежат обработанному, скорее всего — литературному языку, знатоком которого был их автор.

Сопоставление заранее специально препарированных показаний текстов, принадлежащих к различным жанровым группам, призвано, прежде всего, верифицировать полученные выше результаты. На второй ступени жанрово-дифференцированного сопоставления для XI в. стало очевидно, что стилистически нейтральная базисная система склонения является общей не только для поэтической разновидности, но и для литературного языка в целом (шире — для обработанного языка) этого периода.

В том случае, когда стилистически нейтральная базисная система склонения с присущими ей межпарадигмными соотношениями вполне регулярно совпадает в разножанровых текстах, являясь общей для всех вариантов литературного языка изучаемого периода, она может быть с наибольшей долей вероятности принята за отражающую опорный диалект этого языка. На этом основании с точки зрения исторической типологии близкородственных языков названная базисная система склонения может поддаться сопоставлению с соответствующей микросистемой того или иного из живых тюркских языков (диалектов) юго-восточного региона. В случае принципиального совпадения обеих сопоставляемых систем и при благоприятствовании исторических и социолингвистических ситуаций данные памятники могут быть использованы при построении исторической грамматики соответствующего живого языка. Так, базисная система склонения XI в. поддается сопоставлению с живым сарыг-югурским склонением, составляющим полную аналогию ей по всем признакам (особенно это очевидно для склонения в «Кутадгу билиг»). Если учесть, что, по мысли Э. Р. Тенишева, язык сарыг-югуров, этого ответвления древних уйгуров, в древности был «такого же типа, как и древнеуйгурский литературный *d*-язык, естественно, с некоторыми диалектными отличиями»¹⁴, то, очевидно, базисная система склонения XI в. может стать непосредственным объектом изучения исторической грамматики сарыг-югурского и некоторых близкородственных тюркских языков юго-восточного региона.

¹³ «Введение» к кн.: «Древнетюркский словарь», Л., 1969, стр. VII; см. также: Х. Г. Н и г м а т о в, Некоторые особенности тюркских авторских примеров в «Диване» Махмуда Кашгари, «Советская тюркология», 1972, 1.

¹⁴ Э. Р. Т е н и ш е в, Строй сарыг-югурского языка, М., 1976, стр. 55—65, 165, 166. Э. Р. Тенишев указывает на возможность реконструировать средневековый общедно-разговорный уйгурский язык, «опираясь на часть литературного языка, свободную от архаизмов, ... и привлекая материал диалектов современного уйгурского языка и языка родственных уйгурам сарыг-югуров» (Т е н и ш е в, 1979, стр. 83).

В целях исторической грамматики к сопоставлению с данными живых тюркских языков (диалектов) следует привлекать показания средневеково-тюркских текстов только при условии, если они предварительно препарированы с помощью приемов расслоения и многоступенчатого сопоставления, т. е. если выявлены опорные признаки базисной морфологической системы литературного языка изучаемого периода и отделены литературно обусловленные инодиалектные формы.

Таким образом, уже в пределах одного исторического периода союз исторической грамматики с историей литературного языка и с исторической грамматической стилистикой, при условии применения достаточно строгой методики и комплексной системы лингвистического описания средневековых текстов, оказывается весьма плодотворным: одна дисциплина помогает другой найти объект изучения и достаточно четко очертить его границы, а это, в свою очередь, позволяет осуществить строгую специализацию каждой из названных дисциплин.

Прием расслоения, как и многоступенчатое жанрово-дифференцированное сопоставление, применимы для анализа различных текстов любого исторического периода. Именно этими приемами было изучено склонение в поэтических и прозаических текстах юго-восточного региона второй половины XV — начала XVI вв.

Для этого периода, считающегося классическим в чагатайской литературе, характерно небывалое прежде развитие жанров светской литературы — как поэтических, так и прозаических. Совмещение самых разных жанров в творчестве двух выдающихся писателей этого времени — Алишера Навои и Захир эд-Дина Мухаммеда Бабура — позволяет реализовать еще одну ступень жанрово-дифференцированного сопоставления. В лингвистическом отношении сопоставляются не только одножанровые сочинения обоих писателей, но также разножанровые, поэтические и прозаические сочинения в творчестве каждого из них поочередно. Благодаря именно жанрово-дифференцированному сопоставлению внутри творчества одного автора представляется уникальная возможность снять допускаемые индивидуально-творческие различия при противопоставлении языка поэзии и прозы. Таким образом, многоступенчатое системное жанрово-дифференцированное сопоставление в руках историка языка становится гибким и эффективным инструментом анализа, открывающим богатые возможности для адекватной интерпретации получаемых показаний.

Таким путем была установлена, прежде всего, структурно выдержанная совокупность стилистически нейтральных форм, вполне регулярных, не знающих никаких текстовых ограничений. Для этой совокупности форм, квалифицируемой как базисная система склонения литературного языка рубежа XV—XVI вв., характерны следующие признаки, распространяющиеся как на именную, так и на посессивно-именную парадигмы: 1) формативы с консонантическим началом — род. падеж *-niŕ*, вин. падеж *-ni*, дат. падеж *-qa/-ta* — присущи обеим парадигмам, а регулярное их употребление не зависит от фонетических условий ауслаута склоняемого имени; 2) отсутствие инфикса *-n-* в локальных падежах посессивно-именной парадигмы 3-го лица. Таким образом, ни по одному из названных признаков посессивно-именная и именная парадигмы не противопоставляются друг другу. Подобное соотношение названных регулярно употребляющихся признаков характерно для карлукского типа склонения, который представлен в живых новоуйгурском и узбекском языках. Из других признаков базисной системы склонения рубежа XV—XVI вв. назовем: 3) отсутствие инстр. падежа на *-^on*; 4) исх. падеж на *-din*; 5) частичная полифункциональность местн. падежа на *-da*; 6) отсутствие именного аккузатива на *-^og*.

Формы базисной системы склонения, выделенные из текстов рубежа XV—XVI вв. путем предлагаемой методики, могут рассматриваться в рамках исторических грамматик узбекского и новоуйгурского языков.

Наряду с этим вычленен литературно обусловленный слой инодиалектных падежных форм, употребление которых в названный период падало главным образом на сочинения поэтических жанров. Эти падежные формы, свойственные поэтическому варианту письменно-литературного языка рубежа XV—XVI вв. (А. Н. Самойлович назвал их «огузско-туркменскими»¹⁵), мы считаем конвергентными, огузско-кыпчакскими. Набор таких форм приходился, в основном, на посессивно-именную парадигму 1—2-го лица ед. числа и 3-го лица, т. е. на ту часть парадигматики, которая особенно заметно отличает карлукский тип склонения как от огузского, так и от кыпчакского. Отражение кыпчакских черт в чагатайском языке приобрело актуальность начиная с 20-х годов XV в., когда кочевые узбеки-кыпчаки стали грозной политической силой для тимуридского Мавераннахра. Произшедшая конвергенция кыпчакских и традиционных огузских падежных форм способствовала усугублению эффекта наддиалектности литературного языка.

Как и в XI в., инодиалектные формативы представляли здесь иные ритмические типы окончаний, нежели их соответствия в базисной системе склонения; эти различия использовались, главным образом, в целях метрической организации стиха. Набор инодиалектных падежных форм для поэтического языка рубежа XV—XVI вв. принципиально отличается от такого набора, вычлененного выше для поэтического языка XI в. Прежде всего, на рубеже XV—XVI вв. такой набор был весьма ущербен и охватывал, в основном, локальные падежи посессивно-именной парадигмы (во всяком случае, вовсе не встретились вокалический форматив вин. падежа *-i*, а форматив род. падежа *-ŋ* употреблялся весьма избирательно, а именно с местоимениями 1 и 2-го лица мн. числа). Это, во-первых, форматив дат. падежа *-a* в посессивно-именной парадигме 1—3-го лица ед. числа; очень редко он попадался здесь и в именной парадигме. Во-вторых, это наличие инфикса *-n-* в локальных падежах посессивно-именной парадигмы 3-го лица: в дат. падеже образуется морфемосочетание *-n-a*, частотность которого невысока; в местн. падеже — сочетание *-n-da*, частотность которого намного выше, чем у *-n-a*; в исх. падеже — сочетание *-n-din*, которое встречается в единичных случаях — гораздо реже, чем *-n-a* или *-n-da*, причем *-n-* в названных формах появляется «только по требованию размера»¹⁶. Инфикс *-n-* в названных условиях в языке XI в. занимал принципиально иное положение: он был одним из характернейших признаков базисной системы склонения, причем здесь налицо морфемосочетание *-n-gā* для дат. падежа вместо инодиалектного *-n-a*.

Отдельные из инодиалектных падежных форм изредка использовались Алишером Навои в прозаических сочинениях высокого стиля — как одно из средств, образующих этот стиль. Однако в целом эти формы не были специфичны для прозаического варианта письменно-литературного языка рубежа XV—XVI вв.; в частности, они совсем не встречаются в «Бабур-наме», принадлежащем среднему стилю. Будучи обусловлены в прозе индивидуально-творческой манерой Навои, эти формы составляют индивидуальный-творческий слой прозаического варианта [литературного] языка рубежа XV—XVI вв.

¹⁵ А. Н. Самойлович, Материалы по среднеазиатско-турецкой литературе. IV. Чагатайский поэтический язык XV в. Атак, «Записки Коллегии востоковедов», II, 2, Л., 1927, стр. 262.

¹⁶ А. Рустамов, Некоторые падежные особенности языка Навои, «Лингвистический сборник», Ташкент, 1971, стр. 46.

Естественно, что формы как инодialeктного, так индивидуально-творческого слоев составляют, прежде всего, объект истории литературного языка, с одной стороны, и исторической грамматической стилистики, с другой. Для целей исторической грамматики, призванной реконструировать исторические состояния того или иного общенародного языка, инодialeктные формы не подходят как обусловленные, прежде всего, литературными факторами. К ведению истории литературного языка и исторической стилистики должны быть отнесены также способы сочетания таких форм со стилистически нейтральными формами базисной морфологической системы языка в каждый изучаемый исторический период.

В свою очередь, базисная грамматическая система литературного языка изучаемого периода в силу того, что именно в ней мог отражаться тот обиходный народный язык (или: опорный диалект), на который был ориентирован письменно-литературный язык в данный период и на данной территории, оказывается пригодной для исторической грамматики того или иного тюркского языка.

Так, при комплексном (системном и жанрово-стилистическом) подходе для каждого из разнородных языковых элементов оказывается возможным найти наиболее целесообразный аспект анализа. В результате ни один из лингвистических фактов, особенно ценных для историка языка, не исключается из такого специализированного рассмотрения, и достигается это более четким разделением сфер изучения. Последовательное расслоение языковой ткани как поэтических, так и прозаических текстов средневековья, т. е. вычленение, с одной стороны, стилиобразующих морфологических признаков и прочих литературных напластований, а с другой — признаков базисной системы языка, как раз способно существенно продвинуть разработку проблемы соотношения исторической грамматики и истории литературного языка. При таком подходе может быть получена и надежная основа, например, для решения спорного вопроса о содержании и взаимоотношении терминов «чагатайский язык» и «старо-узбекский язык».

Применительно ко второй половине XV — началу XVI в. предлагается закрепить термин «староузбекский» за явлениями, которые на основе предлагаемой комплексной методики квалифицируются как относящиеся к базисной системе обиходного народного языка (диалекта) того времени; Бабур указывал, что это была речь населения города Андиждана. Преобладание форм базисной системы в языковой ткани соответствующих сочинений свидетельствует о закреплении трудами Навои и Бабура смене диалектной ориентации литературного языка, по С. Е. Малову: от *δ*-языка — к *j*-языку¹⁷. Староузбекские элементы в литературном языке этого периода, разумеется, можно опознать не только в склонении; предстоит путем тщательного анализа выявить остальные черты базисной системы, прежде всего, в области глагола и особенно спрягаемых глагольных форм¹⁸. Как показали наблюдения, в прозаической разновидности литературного языка (особенно в прозе Бабура) вес староузбекских элементов намного выше, нежели в поэтическом языке, продолжавшем сохранять

¹⁷ С. Е. Малов, Мир Алишер Навои в истории тюркских литератур и языков Средней и Центральной Азии, ИАН СЛЯ, 1947, 6, стр. 478, 480.

¹⁸ О распределении фактов морфологии литературного языка рубежа XV—XVI вв. на принадлежащие базисной системе языка и на инодialeктные, относящиеся преимущественно к поэтической его разновидности, см.: Г. Ф. Благова, О характере так называемого «чагатайского» языка конца XV в., сб. «Тюрко-монгольское языковедение и фольклористика», М., 1960. Это распределение производилось и другими методами, о чем см., например: Ш. Шукуров, Староузбекский и современный узбекский литературные языки, «Советская тюркология», 1972, 1.

традиционную смешанность разнородных вариантных форм. Именно выявленные черты базисной системы обиходного языка второй половины XV — начала XVI вв. могут рассматриваться исторической грамматикой узбекского языка.

Термин «чагатайский» предлагается отнести не только к литературно обусловленным инодиалектным фактам, но также к самим принципам и способам сочетания их с фактами базисной системы, что и дает в сумме среднеазиатско-тюркский (чагатайский) литературный язык рубежа XV—XVI вв. Вряд ли стоит включать в историческую грамматику узбекского языка, равно как и в периодизацию его развития, например, инодиалектные формы как в склонении, так и в других разделах морфологии¹⁹; это факт истории литературного языка и исторической стилистики. Вряд ли узбекскому языку в его историческом развитии были свойственны и многие глагольные формы, отличающие литературный язык XV — начала XVI в. от узбекского языка. Однако подобные формы следует не «исключать» из рассмотрения как «диалектизмы и архаизмы, либо заимствования из других тюркских языков»²⁰, но квалифицировать в качестве тех фактов литературного языка названного периода и исторической стилистики, которые не имеют отношения к исторической грамматике узбекского языка (т. е. это — элементы чагатайские, а не староузбекские в составе литературного языка). При таком подходе нет нужды объявлять подобные языковые факты «второстепенными» — они и не могут быть таковыми, являясь важными составными ингредиентами истории литературного языка, а в ряде случаев — и исторической стилистики.

Если лингвистическая обработка средневековых тюркских письменных памятников будет последовательно и тщательно производиться с помощью достаточно строгой методики (фактор, которому акад. А. Н. Кононов придает особо важное значение в дальнейшем развитии тюркского исторического языкознания²¹), появится возможность оснастить собственно языковым материалом периодизацию истории старописьменных тюркских языков и тем самым несколько сбалансировать слишком явный перевес экстралингвистических факторов в существующих периодизациях этих языков.

¹⁹ Ср.: Ф. Абдурахмонов, Ш. Шукуров, *Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси*, Тошкент, 1973, стр. 36—47; Ф. Абдуллаев, *Ўзбек тили тарихини даврлаштириш масаласига доир*, «Ўзбек тили ва адабиёти», 1977, 4, стр. 28—29. Нецелесообразность включения таких элементов была отмечена Ш. Шукуровым (указ. соч., стр. 93—94, 96).

²⁰ Перечень таких явлений см.: Ш. Шукуров, указ. соч., стр. 94—95.

²¹ А. Н. Кононов, *Современное тюркское языкознание в СССР. Итоги и проблемы*, ВЯ, 1977, 3, стр. 17, 25.

МАЛКОВА О. В.

ОШИБКИ ПИСЦОВ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДРЕВНИХ ТЕКСТОВ

Известно, что история языка черпает сведения о языковых состояниях прошлых эпох, в основном, из двух источников: из памятников письменности и современных говоров. Однако использование древних текстов в лингвистических целях сопряжено с немалыми трудностями. Исследователь при этом на основании одной из двух функционально специализированных языковых систем — письменной — должен воссоздать иную систему — звуковую. Вопрос о соотношении этих двух систем разрабатывался в трудах выдающихся лингвистов XIX — начала XX вв.: Ф. Ф. Фортунатова, А. И. Соболевского, Л. Л. Васильева, Н. Н. Дурново, А. А. Шахматова, в трудах советских ученых Р. И. Аванесова, В. И. Борковского, К. В. Горшковой, Л. П. Жуковской, В. В. Иванова, В. В. Колесова, С. И. Коткова, В. М. Маркова и многих других. Этот вопрос вставал перед каждым исследователем, обращавшимся к древним текстам с целью извлечения из них лингвистической информации. Усилиями многих поколений ученых разработаны основные методы лингвистического исследования памятников, однако проблема имеет много аспектов и в целом далека от решения. Существующая в настоящее время практика лингвистического изучения памятников письменности не является безупречной. Историки языка не исследуют орфографию рукописей в целом. За пределами их внимания остаются многочисленные явления, генетически связанные с психологическими факторами, в частности, не проводится систематическое обследование ошибок в рукописях с целью получения структурных и статистических их характеристик. При таком исследовании памятников существует опасность, что орфографические явления, обусловленные чисто психологическими причинами, могут получить лингвистическую интерпретацию, вместе с тем некоторые существенные свойства объекта ускользают от внимания исследователей. Необходимость изучения орфографии древних рукописей с учетом действия различных психологических факторов в отечественном языкознании отчетливо осознана. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить следующие два высказывания, разделенные промежутком времени приблизительно в 60 лет: «Что касается важности изучения описок, то... изучение это имеет значение также и при *исследовании письменных памятников прошлого*, так как в них встречаются... подобные рассмотренным типы описок; будучи же знаком с ними, исследователь не впадет так легко в ошибку, именно не припишет простой описке фонетического значения, как это иногда случается»¹; «психология и орфографические навыки древнерусских писцов, мотивы отступлений от традиций очень мало изучены. Далеко не всегда мы можем с уверенностью истолковать звуковое значение этих отступлений»².

¹ В. А. Богородицкий, Лекции по общему языковедению, Казань, 1915, стр. 204.

² Ф. П. Филин, Происхождение русского, украинского и белорусского языков, Л., 1972, стр. 117.

Настоящая статья излагает опыт изучения ошибок в одной из древнерусских рукописей XIII в. Объектом исследования послужило Галицкое евангелие 1266—1301 гг. (ГПБ, Ф. п. I.64). В прошлом веке памятник был просмотрен А. И. Соболевским и квалифицирован им как галицко-волынский, созданный на диалектной территории, вошедшей позднее в состав украинского языка³. Памятник занимает особое место в ряду других, так как по нему датируется ряд языковых явлений в юго-западных говорах древнерусского языка⁴.

Палеографического и лингвистического описания рукописи не опубликовано. Нами установлено, что рукопись создана двумя писцами. Первый писец работал только над первым листом рукописи (и текст, и орнамент). Все остальное написал второй писец. В данной работе речь пойдет об орфографических явлениях, отмеченных на 2—175 листах рукописи, которые созданы вторым писцом.

Речевые ошибки недостаточно изучены, терминология данной области знания не имеет установившегося значения.

Имеющиеся в науке сведения по проблеме систематизированы в обширном труде по психологии речи Ф. Кайнца⁵. При этом наблюдается заметная аналогия между пониманием проблемы современными учеными и взглядами на данный вопрос, изложенными в начале нашего века в работах В. А. Богородицкого⁶. Среди специалистов-психологов существует убеждение, что между ошибками в устной и письменной речи наблюдается далеко идущее сходство, однако оба ошибочных речевых действия не являются полностью идентичными. Видов ошибок в письменной речи специалисты насчитывают больше, чем видов ошибок в устной речи. Изучение описок на материале разных языков сделало очевидным тот факт, что во всех языках, имеющих буквенный алфавит, наблюдаются общие закономерности.

Под общим названием речевых ошибок обычно понимают различные по генезису явления, объединенные признаком «неадекватности речевого действия»⁷. Если исключить патологические речевые явления, а также ошибки, наблюдаемые в детской речи, под данное определение подпадут две группы речевых явлений. Прежде всего — описки, оговорки, ослышки, неправильное прочтение. Это психологические ошибки — отклонения от нормы, возникшие в результате неточной реализации правильного речевого намерения. Они присущи всем говорящим и пишущим на родном языке, в том числе писателям, ораторам, ученым, владеющим языком в совершенстве. Другая группа явлений — ошибки, которые постоянно продуцируются при письме и в речи на родственных и не родственных иностранных языках в условиях недостаточного знания, недостаточно прочных навыков. Это языковые ошибки в собственном смысле. Они возникают в звене планирования программы высказывания, как результат неправильно запрограммированного речевого действия. Психологические ошибки характеризуют психологическое состояние пишущего и говорящего во

³ А. И. Соболевский, *Очерки из истории русского языка*, Киев, 1884.

⁴ А. И. Соболевский, *Лекции по истории русского языка*, 4-е изд., М., 1907, стр. 49, 51, 67, 121—122, 127 и др.; В. И. Боровский, П. С. Кузнецов, *Историческая грамматика русского языка*, М., 1963, стр. 122, 125; О. П. Безпалько, М. К. Бойчук, М. А. Жонтобрюх, С. П. Самілюк, І. Й. Тараненко, *Історична грамати́ка української мови*, Київ, 1962, стр. 135, 151, 176, 177, 179 и др.; Ф. П. Филин, *указ. соч.*, стр. 222, 224, 226, 285, 292, 300 и др.

⁵ F. Kainz, *Psychologie der Sprache*, 4, Stuttgart, 1956, стр. 394—492.

⁶ В. А. Богородицкий, *указ. соч.*, стр. 189—209.

⁷ А. А. Леонтьев, *Некоторые проблемы обучения русскому языку как иностранному*, М., 1970, стр. 78.

время работы. Лингвистические ошибки позволяют оценить уровень знания данного языка у пишущего и говорящего, применительно к нашему материалу — степень профессиональной подготовки писца, знание им норм церковнославянского языка. В неблагоприятных психологических условиях — в условиях внешних помех, спешки, усталости и болезни — количество психологических ошибок резко возрастает.

В настоящей статье используются термины «ошибка» и «описка». Термин «ошибка» называет родовое понятие, а термин «описка» — подчиненное, видовое. Ошибками называем различные по генезису орфографические явления, объединенные признаком «неадекватности воспроизведения текста»; описками — психологические ошибки — неправильности в письменном тексте, возникшие в результате рассеянности, невнимательности писца и не имеющие под собою лингвистической основы. Сформулированное понятие ошибки отображает свыше 800 орфографических явлений в рукописи. В рамках одной статьи трудно проанализировать в полном объеме столь большой материал. Ниже расклассифицированы и описаны 2 группы явлений (в общей сложности около 500 орфограмм): 1) Все случаи, где писец произвел правку. Здесь писец сам признал факт неадекватного воспроизведения текста; 2) Не исправленные писцом орфограммы, наличие описки в которых не вызывает сомнения, например, отсутствует часть слова или внутри слова имеются лишние буквы. Не рассматриваются в статье не исправленные писцом отступления от традиционной орфографии, квалификация которых как лингвистических ошибок или как психологических ошибок должна быть сделана на фоне общих орфографических норм, наблюдаемых в рукописи: особенности в употреблении букв редуплицированных, смещение букв *ѣ* — *и* — *е*, смещение букв *ы* — *и*, *оу* — *еѣ* и т. п., а также имена букв гласных во флексиях, которая могла быть вызвана преобразованием в парадигмах. Заимствованные слова не обладали в древнерусских рукописях устойчивой орфографией, поэтому колебания в написании заимствованных слов рассматриваются лишь в том случае, если исправление сделал сам писец или наличие описки очевидно.

В предлагаемой статье автор стремился решить 2 задачи:

1. Определить, как часто писец допускал бесспорные описки или неадекватно воспроизводил текст (писцом произведена правка), и дать этим явлениям структурно-статистическую характеристику с целью выявить некоторые общие свойства орфографии рукописи.

2. Показать на имеющемся материале необходимость системного подхода к ошибкам и недопустимость атомистического подхода, когда каждая ошибка оценивается сама по себе.

Принадлежность правки писцу, а не другому лицу устанавливалась по ряду признаков⁸. Пропущенные и внесенные в междустрочье или на полях части текста относились на счет писца на основании анализа почерка и учета цвета чернил. Рукопись написана особыми по составу чернилами — темнокоричневыми, лишенными блеска, которые, по свидетельству Е. Ф. Карского, не встречаются в других рукописях⁹. При оценке при-

⁸ При воспроизведении текста рукописи соблюдаются следующие правила: пропуски текста, восполненные писцом на полях или в междустрочье, даются курсивом. Части текста, которые, по нашему мнению, пропущены, даются в угловых скобках. Например, не познасте (дополнено писцом), рече<но> (воссоздано нами). Лишние слова и буквы, устраненные писцом, даются в квадратных скобках, не устраненные писцом — в круглых скобках. Например, прѣда(ю)щ[а]ющаго (одну лишнюю букву *ю* писец все-таки не устранил, а *ща* зачеркнул), зерно оусъ/(шъ)не — здесь буквы, помещенные в скобках, считаем лишними. Ошибочно поставленные буквы на месте других даются полужирным шрифтом, в круглых скобках указывается буква, которая подверглась правке (если исправление было сделано). Например, о неѣ (*е* исправлено из *ѣ*).

⁹ Е. Ф. Карский, Славянская кирилловская палеография, Л., 1928, стр. 130.

надлежности писцу правки одних букв на другие учитывались очертания букв, цвет чернил, а также последовательность в выполнении этапов работы. Имеем в виду исправления, определенно сделанные в процессе работы. Например, писец, начав писать слово *волхвомъ* 159а, написал *волхл*, заметил ошибку и на правую вертикальную пачту второй буквы *л* нанес петли буквы *в*. Таким образом, он устранил замеченное в процессе работы повторное написание буквы *л* и далее писал правильно. Квалификация исправления буквы на букву, как принадлежащих писцу, в значительной мере облегчалась тем, что писец обычно использовал элементы ошибочно написанной буквы в контурах нужной буквы. Лишние части в тексте устранялись двумя способами. Прежде всего, как обычно в большинстве рукописей, — вытиранием, текст наносился повторно или осталась развора. Другой способ устранения написанного, встреченный в рукописи несколько раз, — зачеркивание написанного двумя — тремя горизонтальными линиями. Зачеркивание проводилось киноварью, в единичных случаях — обычными по цвету чернилами. Относим этот прием на счет писца, так как имеются повторы, устраненные в процессе работы: писец заметил ошибку раньше, чем написал все слово или словосочетание целиком. Например, паки прииде [пакъ] 153 а. В данном случае писцом не дописана буква *ы* в конце вторично написанного слова *паки*. Буква *ы* в рукописи имеет в левой части *ѣ*, а в правой части пачту. В двух следующих случаях писец, по-видимому, начал второй раз писать синтагму, заметил ошибку и устранил вторично написанную часть (слово или слова): *исъ видѣ члѣка слѣпа* [исъ] ѿ *рождѣнью* 18 в, *англь бо гнь на всѣ лѣта схожаше* [на всѣ] въ *коупѣль* 116. Убедительное доказательство принадлежности данного приема правки писцу содержит ошибка на л. 166 чтения: *смерти нѣ иматъ видѣти въ вѣ[ти]кы*. Буквы *кы* написаны после *ти* на строке; после *кы* в строке стоит знак окончания чтения — крестообразно расположенные точки с изогнутой линией. Это типичный случай постпозиции: под влиянием находящегося впереди слога *ти* в слове *видѣти* писец написал *въ вѣти*. Заметив опisku, он зачеркнул буквы *ти* и дописал на строке *кы*. После этого поставил знак окончания чтения. Если бы правка была произведена позже, самим писцом, или другим лицом, в строке уже не было бы свободного места, слог *кы* пришлось бы написать над строкой. Сказанное позволяет утверждать, что рукопись дошла до нас в том виде, в каком вышла из-под пера писца, позднее она практически не подвергалась исправлениям.

При выделении описок, не исправленных писцом, использовалась следующая процедура отбора. При тщательном чтении рукописи были выделены места, которые представляли затруднение для понимания: были неуместны в такого рода тексте по значению, содержали слова, у которых отсутствовала ожидаемая грамматическая форма, или содержали слова, графический облик которых был искажен пропуском, вставкой, замесной букв. Эти части текста были сопоставлены с соответствующими местами Добрилова евангелия 1164 г. (ГБЛ, ф. 256, № 103) по фотокопии и Остромирова евангелия 1056—1057 гг. (ГПБ, ф. п. 1.5) по изданию А. Х. Востокова, учитывался также подстрочный греческий текст в этом издании¹⁰. Сопоставлению «темных» мест проводилось с целью избежать субъективности и сделать более надежной процедуру отбора фактов, подлежащих исследованию. Выбор Добрилова евангелия был обусловлен тем, что оно

¹⁰ А. Х. Востоков, Остромирово евангелие 1056—57 года с приложением греческого текста евангелий и с грамматическими объяснениями, СПб., 1843. (При ссылках на текст рукописей используются сокращения: ОЕ — Остромирово евангелие и ДЕ — Добрилово евангелие).

было создано на той же диалектной территории, текстологически близко к Галицкому евангелию 1266—1301 гг.¹¹ и ранее автором изучалось¹². Остромирово евангелие было создано на иной диалектной территории, текстологически является иной книгой и отличается тщательностью исполнения. Те графические явления, которые по какой-либо причине трудно было квалифицировать как ошибку, отбрасывались.

В результате описанной процедуры отбора фактов было выделено около 500 подлежащих исследованию явлений, которые были распределены на 3 класса: 1) пропуски различных по величине частей текста (букв, слов, словосочетаний), 2) двойные написания, а также вообще все случаи присутствия лишних слов и букв в тексте, 3) мена одной — двух букв. Эта простейшая классификация универсальна, с помощью ее можно непротиворечивым образом систематизировать все изучаемые явления. Вместе с тем для целей настоящего исследования она достаточна. Классификация опусков, разработанные психологами, созданы в соответствии со специфическими задачами, стоящими перед психологами — понять внутреннее строение речевой способности человека, выяснить психо-физиологические механизмы речи. Поэтому при описании явлений орфографии рукописи они учитываются, но не положены в основу описания материала.

Самым многочисленным классом ошибок являются пропуски различных по величине частей текста. К этому классу относится более 250 случаев — более половины зарегистрированных ошибок¹³. Если распределить имеющиеся в рукописи пропуски фрагментов слов на группы в зависимости от места пропуска — в начале (на *гору* 28а), в середине (рекоста 19в), в конце слова (еще 21г), на стыке слов (иже *дасть* 14г) — то обнаружится, что в начале слова писец реже пропускал буквы, чем в середине и конце слова. Если же пропуск был допущен, писец в начале слова исправил почти все ошибки, в то время как в середине и конце слова много неисправленных пропусков. В начале слова допущено 38 пропусков, в том числе 33 исправлено; не исправлено пять написаний: надъ <до>момъ 52г, прѣдъ <д>ве/рь 109в, не <въ>прапакъ 24б, ѿ <въ>скрѣсьнѣа 174г, множество <о>учнкъ 90г. Два последних случая не показательны: в одном — пропущена часть диграфа; в другом — ѿ <въ>скрѣсьнѣа писец, возможно, не заметил пропуск потому, что буквенный комплекс ѿ художественно оформлен. В середине и конце слова допущено 108 пропусков, в том числе 46 не исправлено. Описанное соотношение представлено ниже в виде статистической таблицы (при вычислении % % результаты записаны до второго знака после запятой, остальные цифры отбрасывались).

На основании статистических данных, отраженных в таблице, можно сделать вывод, что начальные буквы в словах были предметом особого внимания писца. Выявленная закономерность прослеживается и в других классах ошибок. Полученный вывод интересен с методологической точки зрения: при оценке орфографического явления следует учитывать не только его содержание, но и позицию его в слове. Установленная закономерность будет более понятной, если опереться на теорию информации¹⁴. Известно, что в буквенной цепи наибольшее количество возможных

¹¹ Л. П. Жуковская, Текстология и язык древнейших славянских памятников, М., 1976, стр. 322, 325.

¹² О. В. Малкова, К истории редуцированных гласных ѣ и ѥ в южных говорах древнерусского языка, ИАН СЛЯ, 1966, 3.

¹³ Следует иметь в виду, что в общее количество ошибок вошли и ошибки, содержание которых неясно (текст вытерт); кроме того, имеются более сложные по содержанию и смешанные ошибки.

¹⁴ К. Шеннон, Работы по теории информации и кибернетике, М., 1963, стр. 674.

Место пропуска в слове	Исправлено написаний	Не исправлено написаний	Всего написаний
В начале (тип на гороу)	33 86,84%	5 13,15%	38 25,33%
В середине (тип рекоста)	31 57,40%	23 42,59%	54 36,00%
В конце (тип рыбы)	31 57,40%	23 42,59%	54 36,00%
На стыке (тип иже дасть)	4 100%	—	4 2,66%
Всего	99 66,00%	51 34%	150 100%

альтернативных решений в выборе букв приходится именно на начало слова, где ход мысли может быть наиболее разнообразным. Наличие правильно оформленного начала существенно сокращает возможности выбора и облегчает восстановление искаженного текста. По этой причине ошибки в середине и конце слова не столь заметны для пишущего и читающего, как ошибки в начале слова.

Ниже приводится список орфограмм, которые отражены в таблице. В конце списка отдельно перечислены случаи, где можно предположить, что пропуск возник вследствие неправильного опознания слова или словосочетания. Пропуск допущен в начале слова: прииде година 6а, и даки 9г, кмоу кок 9г, въ горѣ сѣи 15а, идоу ко оцю 24в, да идеже 25в, на гороу 28а, и многажды 44г, на новѣ 44г, днии тѣхъ 52б, котыгъ своихъ 60б, не кидать 63г, и отиде 65г, въ на кто 76в, неправеднаго ба/тства 87в, и книжници 91г, нѣ нынѣ 120в, не боитеся 154г, петра ти исакова 59г, карьпа и папоула 154б, дивитися игемоноу 143а, ѿ <въ>скрѣньки 174г, множество <о>учникъ 90г, не <въ>прашають 24б, ОЕ 49г, ДЕ 36б, И. XVI. 5, над <до>мь 52г, прѣдъ <д>верь 109в.

Пропуск в середине слова: прѣбываи 11г, рекоста 19в, възбодовалися 23в, ниневгитыи 37г, раздѣлитъ 33в, исаию 55а: исаикъ 63г, книжь/ници 71а, галилѣйскыи 71а, изгонитъ 79в, небесѣхъ 105б, противню 111г, хочете 147б, мнѣ 154б, изгнанъи 156а, повитыи 158а, кнонѣ 5а, зилота 70в, иоана 74г, свѣдѣльствѣ/ва 134в, и ѿ <а>на 156а, к <г>юпта 159а, с <ко>нчавъ 68а, ДЕ 108а, и <ю>дѣи 7г, ОЕ 9б, И. II. 20, и <ю>дѣихъ 20б, ѿ га <ли>лѣи 28а, ДЕ 42в, жь <ръ>чьскы 48г, тем <н>ицю 53в, навод <не>ню 72б, ДЕ 115б, по <то>мъ 87б, ДЕ 140а, в <и>фсаидоу 95г, изъ <г>наша 91в, из <в>ь/ргоша 101б, ДЕ 164а, кесарево ке <са>рави (с опиской) 124г, фар <ис>ѣи 129б, съблз <н>итеся 137в, възвѣ <с>титъ 149в.

Пропуск в конце слова: кще сѣи 21г, наставитъ вы 24б, девати не забл/жышихъ 27в, оуне ти 29а, мене ради 33а, не оубоитеся оубо 33б, врагъ члвкъ 39г, лице оубо 43г, илии подобаетъ 44г, иже бахоу 114в, не нмоу-щю же 53в, чьто тако 58г, въ рыбы мѣсто 79б, нни ѿ стокщихъ 107б, прии-де вода 127а, нынѣ же 137в, именем марики 151б, нѣ се <го> вѣмы ѿкоудоу ьсть 13а, ОЕ 27а, ДЕ 20а, И. VII. 27, възлю <блю> и квлюся 23а, ОЕ 47а, И. XIV. 21, прѣ <дъ> оцемъ 27в, прѣ <дъ> трѣбникомъ 28в, прѣ <дъ> дѣве/рьми 105б, прѣ <дъ> дѣверъ 117в, не въходяще <е> во вѣста но исходяще 42в,

ДЕ в обоих случаях -аю 64в, изидеть бѣ<съ> изъ дщере 65а, ДЕ 1026, ча<да> твою 85а, ДЕ 136в, оудобѣ<ю> же 87в, ДЕ 140в, оучите<лю> когда 93г, ДЕ 151б, со оружѣ<мъ> и съ посохы 108в, ДЕ 176а, иудѣ<и> 152в, коа<на> брата 167а, сбудеть<ся> слово 137в.

Пропуск конца предыдущего и начала следующего слова: иже дастъ 14г, заповѣди члвчѣскы 64а, рабоу да боудеть 154г, прр/ци встанутъ 123г.

Пропуск связан, возможно, с неправильным опознанием слова или его формы: не познасте 16в, ОЕ 33г, дѣла добраа кивихъ 186, ОЕ добра кивихъ 376 — в, ни възчагають свѣтильника ни поставляютъ 27а, кюко еѣлѣзъ 38а, крѣпнѣимъ же азъ крѣюся 476, неимѣнны дѣла 57а, да ошедѣше 62а, ДЕ без о 97г, възв еса 65в, илик 8же 44г, приносящи имъ 98б, ѿ нихъ оубѣже 126г, нѣ имоуть ти чѣто еѣздати въздасть бо ти са 86а, разоумѣаєте 44а, съѣзпашатиса 54а, ДЕ 84г, кюгодициноу 102а, приѣмлете 7г, ОЕ 15г, ДЕ 12в, И. V.44, славаше 90б, прр/ци 141б, влчюства 161а, въ сею... заповѣдью 63б, иде же 2б, разоумѣеъ 95в, ѿ добраго 45б, падыи на 49б, прѣбываки 22в, прѣдакима 108в, ѿвѣщаа 26г, 91в, 139г, приобращ<еш>и 27в, свѣдѣтельство<ва> о истинѣ 7в, ОЕ 14г, ДЕ 12а, И. V.33, рече<но> быс 29б, выше в том же тексте правильно — речено 29а, ДЕ 44а, б, по мѣста (вм. мѣстомъ) 63а, ДЕ мѣстомъ 99б, ѿ дщери<и> аронъ 165в, ОЕ дщерь 277г, Л. I.5, поуститъ 59в, речеть 45а, реть 101а, приѣмлю<тъ> вы 77б, ДЕ 123г, съ члвкѣ... не може<тъ> 86в, ДЕ 138а, миръ по немъ иде<тъ> 129б, ДЕ 210б, окончание внесено ошибочно: нынѣ дша моу възмоутъся 20г, ОЕ без -тъ 42в, И. XII.27, ДЕ без -тъ 31а, окончание -тъ лишнее: вѣра твою спсе<тъ> та 41а, 74б, ОЕ без -тъ М. IX.22, ДЕ без -тъ 62б, 118в.

В рукописи 92 раза пропущены целые слова, в том числе 23 раза серьезно искажено содержание высказывания: еъ весь миръ 8а, ОЕ 16а, ДЕ 12г, И. VI.14, аще нѣ свѣсте 10в, ДЕ 16б, ОЕ 21в, И. VI. 53, кюко спидохъ с небесе 10а, ДЕ 15в, И. VI. 38, иди еѣмыиса въ коупѣли 19а, ср. ОЕ 38г, И. IX.11, аще ѿ ба не былъ 19г, ОЕ 40в, ѿверзе кто очи 19г, ОЕ 40в, И. IX.32, вина нова въ вѣтхы мѣхы 31б, ДЕ 47в, не еы бо ксте 33а, ДЕ 50а, не о хлѣбѣхъ 44а, ДЕ 67а, видѣ же витры крѣпкы 48в, ОЕ 71г, ДЕ 74г, иже кгда слышать слово 58а, и сде еъ очѣствѣи 68в, да не привлѣчетъ тебе

84в, ДЕ 135в, аще не приметъ пртва 98в, ДЕ 158а, кго ради 115б, а сами ни перѣстомъ своимъ не хотѣтъ подѣ/вигноути ихъ 125в, ДЕ 203г, тако ли не могосте 133г, ДЕ 216г, въ... днѣ иже ксть по пѣтѣцѣ 146г, ОЕ 195б, М. XXVII. 62, съ трапезы гди своихъ 155г, главы юана 168г, лежало тѣло 172а, съ ксть <причастникъ> приидѣте оубиимы и 57в, ОЕ 79а, ДЕ 90а, М. XXI. 38, нѣ <не> въ праздыникъ да не мољва боудеть 132а, ДЕ 214г.

Пропуск слов, не искажающий существенно содержание (текст в целом не обесмысливается): идаше и хожаше 16г, ОЕ 34б, И. VIII.59, дасть имъ животь 23а, ОЕ 47б, ДЕ 34в, И. XVII. 2, събѣблуди (так в рукоп.) ка во има твою 23б, ОЕ 48а, И. XVII.11, тогда вѣстаетъ запрѣти 31а, ДЕ 47б,

власи главы еси ищѣтени 33б, ДЕ 50в, еса си соутъ 41в, ДЕ 63б, ре хранигеса не отъ кваса 44а, ДЕ 67а, остави женоу свою братъ 49в, ДЕ 76в, се въ поустыни ксть 52б, ДЕ 81а, пришедъ азъ въ/заль быхъ 66б, ОЕ 85б, М. XXV. 27, не имоущема же има чѣто дати 74а, ДЕ 118а, имѣнѣмъ сво-

имъ 83г, приведи ми сна твоѣго 85б, ОЕ 102б, Л. IX. 41, ты же шедъ възвѣщаи 88а, ОЕ 104а, Л. IX. 60, оулѣе паки въ корабль 95в, ДЕ 153б, ꙗже ꙗмоу далече соуцю 106в, ОЕ 118в, Л. XV. 20, ѿвѣщавъ црь реть имъ 111б, ѿпоущаются тебѣ грѣси твои 117г, ДЕ 130б, Мр. II. 5, отре власы своими 122а, ДЕ 197в, гла имъ исъ... реѣ имъ азъ ꙗсмъ 139г, ОЕ 177а, И. XVIII. 5, бы гла... гла 161г, ничьсо же не възмоуть на поуть нъ токмо 167а, въ законѣ моисѣови и псалмѣхъ 171б, о десною страну корабля 173а, имати ли чьто снѣдно сде 173а. Пропуск служебных слов: ꙗко же, ꙗже и т. п. 4г, 11в, 18в, 19б, 23а, 27в, 32б, 45в, 69в, 82г, 83в, 96б, 168б, слышавши же жена 64г, блхоу же жены 110в, николи же ми почитасте 57г, ОЕ 79б, М. XXI. 42, иде(же) 63в, всакъ оубо иже исповѣсть 155а, ꙗвляються оубо красни 51б, имоущемоу бо дасться 39а, ꙗда и вы 12а, ОЕ 25а, ДЕ 18г, И. VI. 67 и псы бо 67а, и въ другоую 75б, ОЕ 93г, Л. VI. 6. Пропуски союза и усилительной частицы и имеются на лл. 17б, 62а, 68г, 77в, 88а, 99а, 106а, 151г, 158г, аще азъ 7в, ОЕ 14в, И. V. 31, ꙗже аще просиши 41г, ДЕ 63в, аще оуже оумертъ 8г, ОЕ 17в, Мр. XV. 44—45, во нъ же... градъ или съ весь 32в, ꙗда гла/ше ꙗ нама 171а, плакахоуса ꙗже ради 115б, ДЕ опущено ради 186а, пропуски не (второе отрицание) никто же не смаше 103б, то же 26в, 114в. При этом не всегда имеется в этом случае отрицание и в ДЕ, ср.: николи же заповѣди твоѣ ꙗже прѣстоупихъ 107а, ДЕ не пропущено 173а, в ОЕ отрицание имеется 119б, Л. XV. 29. В одном случае писец вставил отрицание не в то место, где ему следует быть (см. ниже).

Крупные пропуски текста, восстановленные писцом, имеются на лл. 15б, 28в, 39в, 57в, 95в, 139а, 167б, 174а. Имеются пропуски, не восполненные писцом: се мати и брати ꙗже <вънѣ стоихоу ищюще глаголю ꙗмоу рече ꙗже другъ ꙗже ꙗмоу се мти твоѣ и братъ твоѣ> внѣ стоить 37г (восполнено по ДЕ 57в); друзии глаголю съ ꙗсть воистинноу хъ <ими же глаголю> ꙗда ѿ галилѣи хъ приидеть 26в, ДЕ 39г, ОЕ 54в, И. VII. 40—41, николи же ꙗсть глѣ члвкъ <ꙗко члвкъ> съ 26в, ДЕ 40а, ОЕ 55а, И. VII. 46.

Ошибок второго класса — двойных написаний, случаев присутствия лишних букв и слов — в Галицком евангелии 1266—1301 гг. около 75, в том числе 24 исправлены. Как видим, общий процент исправленных ошибок невысокий. Присутствие лишних букв, слов, по-видимому, меньше привлекало внимание писца, чем пропуски текста. В этом классе главный вид ошибок — повторные написания. Поскольку интерпретация ошибок второго класса обычно не вызывает затруднений, приведем лишь несколько примеров: прѣда(ю)щающаго 112в (писец зачеркнул буквы ща, а лишнюю букву ю не зачеркнул), въ поу(поу)стыни 4в, пррци... възжелѣша видѣти и(и) не видѣша 39б, а мимоходящи же (ходящи же) коулахоуть ꙗже 144в.

Случаев замены одной буквы другой в рукописи более 100. Для ошибок этого класса характерны следующие общие особенности: писец редко допускает описки в начале слов, если же описка была допущена, писец ее исправил; при смешении букв происходит замена одной буквы на другую, но не двух букв на одну (удалось заметить лишь одно исключение — не съ ли ꙗсть снъ ꙗсифовъ 68в, ДЕ иосифовъ 108г); писец редко смешивает буквы согласных. Замечено 11 случаев смешения букв согласных. Три раза писец спутал графически близкие слова, одинаково возможные в данном контексте: своѣго (с исправлена на т) 31в, себе (с исправлена на т) 46а,

възиде (а исправлена на н) 56а. Один случай представляет собой явление орфографической вариантности ижъчюути (ч из ѓ) 118г. Три раза замечена произошла в результате переноса буквы из соседних слоговых отрезков: града (е исправлена из ѓ) 150б, нишени в.м. лишени 113а, корабля 173а. Остальное: издъноу в.м. извъноу 79а, облизъ в.м. облизъ «ад, преис-

подня» (если это не словосочетание об низъ), маю (=матѣю, выносная буква написана по м) 156в, вольхвомъ (вторая буква в написана по л, предотвращено повторное написание) 159а. Редкое смещение букв согласных не вызовет удивления, если учесть результаты исследований, предпринимавшихся в рамках теории информации, по компрессии (сжатию) текстов. Оказалось, что наиболее компактен и легче всего восстанавливается текст, где сохраняются только буквы согласных, а буквы гласных и пробелы между словами систематически пропускаются¹⁵. Любопытно, что обе названные возможности сокращения текста использовались в различных системах письма в истории письменности.

Наиболее компактную группу среди ошибок третьего класса образуют случаи переноса букв из одного слогового отрезка в другой, обычно из последующего в предыдущий (антиципация), реже наблюдается перенос уже написанной буквы в следующий слоговой отрезок (постпозиция). Приведем имеющийся материал. Исправлено: прѣбывающеѣ (ы из а) 8в, хлѣбъ бо (ъ из о) 10б, принесоша (о из а) 42а, пропасть (а из о) 78б, недѣстатъка (а из о, буква ѣ на о не исправлена) 103в, възаалка (ъ из а) 100б, снѣ ба (ъ из а) 109б, желакъ (е из а) 114в, о немъ (е из ѣ) 115а. Не исправлено: разараше (должно быть разараше) 6а, ДЕ а 10г, морю жю 8б, ДЕ же 13а, самаранаскъ 14в, ДЕ самарѣскъ 22б, въшюдшю 36б, ДЕ е 55а, рѣѣ къ 47б, ДЕ ки 72г, продавать (должно быть продадѣти) 53в, разамѣете 57г, ДЕ оу 98в, распоноути (должна быть ѣ) 110б, събледети 122а, ДЕ ю 197г, начанати 161б, начанъ 48в, ДЕ начати 74г, ОЕ начѣти 71г, стѣ/кльнати (должно быть стѣкланици) 51а, изъ/далача 59а, ДЕ издалеча 92в, ке<са>рави 124г (должно быть кесареви).

Правка букв гласных на буквы согласных и наоборот: боудѣте (е из т) 31г, чѣто (т из а) 115в, прѣки (ы из е) 50г, възненавидѣша (а на мѣте буквы ы написана) 11а, ты твориши (ы из е, писец предотвратил пропуск слова ты) 4а, своимъ (е из и, предотвратил пропуск части слова, написав на второй мѣте и петли буквы е) 82а.

Правка буквы гласного на букву гласного: тебѣ (ѣ из о) 44б, 111б, 118г, тобѣ (ѣ из о) 67г, боудети (ѣ из о) 81а, живѣ (ѣ из о), 9б, имѣ (ѣ из о, после о вытерта у) 54в, члѣвѣ, другѣ (ѣ из о) 73б, воды (ы из о) 15а, бѣсныѣ (ы из о 43а), крыша (ы из о) 117в, аще бы (ы из о) 133а, въ оны дни (ы из о, может быть, в результате смещения с оборотом въ оно врѣмѣ) 150г, моѣмъ (ѣ по о) 112г, въпрашающе (первая а написана по о) 160а, снѣ ба (ѣ из ѣ, следы вытирания) 166г, хранѣщеѣ (ѣ из и) 151в, ꙗмоу (ѣ из ю) 153а, слышати (а из и, и из е, писец предотвратил пропуск части текста между двумя формами слова: слышати... слышите) 39б, прохожаще (о по и, писец спутал два слова) 74б, посла вои (буква о написана над ѣ, писец первоначально написал форму послави) 159а, дадати знамѣниѣ (и по ѣ) 105а. В следующих случаях буква ѣ исправлена из ѣ: свѣдѣтельствова

(вторая буква ѣ) 5а, нѣбѣмъ 27б, съгрѣшѣнии (вторая ѣ) 116в, помышлѣниѣ 171б, идѣте 155б. Случай правки буквы е на ѣ: къ себѣ 129г, тебѣ 38в, пожнѣ те 88в, дрѣвеси 115б. Случай правки буквы и на ѣ: отагѣчалѣ

¹⁵ У. Плат, Математическая лингвистика, «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 215.

134а, вѣдите 77в, ДЕ видите. Случай правки буквы и на ж: нѣ 29а, дхомъ бѣжѣмъ 37б, видѣвъше 91в, глѣюжѣи 126а, будѣтъ 132а, послушаюжѣи 160а. Случай правки буквы ѣ на ѣ: имѣ же 5в, вѣмъ 49а, неоумѣвенама 63в, мѣ/нѣ 76б, докоѣ 173б, вѣ вифаню 107в, члѣкъ бѣ 123а. Правка буквы о на ѣ — нѣ (союз) 37в. Спутал две буквы: вѣ вѣ[ти]ки 16б.

Писец не заметил ошибки: иудѣюмъ (вм. ж) 51а, вѣѣюдоу 51б, жѣа (вм. е) 55в, жидовы (вм. е) 121а, кѣ (вм. о) 159а. Недописаны буквы: тѣсаѣ (вм. ѣ) 95в, прѣѣваѣтъ (вм. ѣ) 129 г. Имеется о вм. оу или «ук»: поѣи 59б, поѣи 42а, 62а, ѣпоѣи 115а, слоѣ 156в, сыропоѣ/ноѣ неѣ вм. сыропоѣ 114б (ср. правильно сыропоѣ 111г, 113б, 115г, 116в). Значительное число ошибок этого типа объясняется тем, что писец иногда употреблял в строке букву «ук», имеющую вид буквы о с усиками в междустроѣе в виде галочки или птички. Во всех перечисленных случаях писец забыл поставить надстроѣный элемент — галочку. Не ясно содержание правки букв не менее 25 раз.

Приведем несколько примеров более сложных ошибок, когда по небрежности или вследствие незнания писца имеем искаженный текст: иосифъ... не хота обличитѣса, 157в, ОЕ обличитѣ жѣ 247г, М.1.9; кто... разоумѣтъ о вѣѣѣни коѣ ѣ бѣ 12г, ОЕ оучениѣ 26б, И.VII.17; быѣ же стаѣанѣ ѣ оучнѣ ѣоановѣ ѣ иудѣи и очиѣѣни 5а, ОЕ ѣѣ... о 9г, И.III.25, ДЕ 8а; сѣ обращу вѣ домѣ свои 37г, ДЕ сѣ обращу 57б, идеже бѣ прѣже 12а, ДЕ бѣ, ОЕ бѣ 24в, И.VI.63. Имеются ошибки вследствие смешения грамматических форм слов: ѣго же послѣсте сѣмоу вѣры не кмѣте 7г, ОЕ 15б: кѣже тѣ поѣла сѣмоу..., ДЕ поѣла 12б, И.V.38, за... крамоѣоу ... и оубиѣство(мѣ) вѣвержѣнѣ вѣ темниѣи 115а, ДЕ оубиѣство 185 г. Ср. ошибки в результате грамматического уподобления друг другу соседних слов: и гѣа сѣмоѣоу петроу сѣмѣне иѣниѣе (вм. иѣниѣ), ниже правильно: сѣмѣне иѣниѣ 25г, ОЕ 53б, ДЕ 38г, И.XXI.15, 17, и стражѣиѣхъ ѣ дхѣ нечѣстѣхъ иѣѣлевахоуѣ сѣ 70в, должно быть стражѣиѣи, ниже правильно написано стражѣиѣи, ДЕ стражѣе 112а, в.

Если определить типы описок в терминах, принятых в работах по психологии речи, выяснится, что в рукописи представлены практически все виды описок, выделяемых специалистами-психологами, однако не все из них одинаково многочисленны¹⁶. Весьма распространенным видом описок является антиципация — предвосхищение, когда следующая далее буква, буквенный комплекс, слово, часть предложения переносится вперед, вытесняя раннюю, или вставляется рядом с нею (например, вѣшюдшю 36б вм. вѣшѣдшю). Реже наблюдается постпозиция, когда уже написанная буква, буквенный комплекс, часть слова или целое слово вставляется рядом или вытесняет более поздний элемент (например, морю жю 8б вм. морю же). Много случаев контаминации, когда из нескольких языковых единиц возникает одна при условии сходства в значении или в написании этих единиц (например, прѣ<дѣ> дѣверъ 117в, надѣ <до>момъ 52г).

Если справедливо мнение В. А. Богородицкого и психологов речи, что ускоренное письмо способствует пропускам и антиципации, можно высказать допущение, что писец торопился окончить работу, поскольку такого рода ошибок в рукописи несколько сот. О спешке в работе писца, помимо большого числа и типов ошибок, свидетельствуют случаи частич-

¹⁶ Классификация описок и определения терминов заимствованы из указанного выше труда Ф. Кайца. Единая классификация ошибок и единая терминология в настоящее время не выработаны.

ного их устранения. Например, заметив пропуск отрицания *не*, писец вставил его в междустроочье к тому же слову, но не в то предложение (см. первое *не* в тексте ниже). Иным почерком вставлено еще одно отрицание, однако первое отрицание не устранено: *аще тебе не послоушаѣтъ приобраща(е)и брата твоѣго, аще ли тебе не послоушаѣтъ поими пакы съ собою единого или два* 27в, ОЕ 56б, М. XVIII. 15—16, должно быть: *аще тебе послоушаѣтъ приобращаи брата твоѣго, аще ли тебе не послоушаѣтъ поими...* На л. 71г имеется текст: *просащемоу въ (вм. ^тоу) тебе даи и ѿемлющаго твою не истази, где после слова твою есть следы вытирания* (ДЕ твоѣ 114б). Если учесть, что выше было уже: *отемлющемоу твою ризоу и срачицѣ не възъбрани* 71г, можно полагать, что писец намеревался снова написать эту фразу. Заметив ошибку, он вытер слово *ризоу*, но забыл изменить форму *твою* на *твоѣ*. На л. 57в писец пропустил вторую из трех сходных между собою частей сложного предложения (даем курсивом): *дѣлатели... ового биша ового оубиша ового же камѣньмъ побиша* 57в, ДЕ 89г, ОЕ 78г, М. XXI.33. Пытаясь исправить положение, писец переделал первую часть на вторую и получилось: *дѣлатели... ового жѣ биша ового же камѣньмъ побиша* 57в, таким образом, в окончательном варианте вместо второй части отсутствует первая часть. Еще пример: *азъ же и [ма]мъ истинуу гл҃юхѣ имете въры мѣѣ* 16б, ДЕ *азъ же занѣ истинуу гл҃ю* 24в, ОЕ тот же текст, что в ДЕ 33б, И. VIII, 45. Писец, зачеркнув две буквы, переделал *имамъ* на *имѣ*, но местоимение 3-го лица здесь тоже неуместно, следовало бы употребить местоимение 2-го лица *вамѣ*.

О спешке при работе над рукописью свидетельствуют также достаточно многочисленные случаи неточного воспроизведения текста. Около 20 раз писец правил один допустимый вариант написания слова на другой: краткую форму прилагательного на полную, приставочный глагол на приставочный, близкий ему по значению в данном контексте. Например, *опѣ же прѣбывахи во мѣ/нѣ* 22в, ниже в том же столбце: *прѣбывахи*, ОЕ *прѣбываѣ* 46б, ДЕ *прѣбываѣ* 33г, И. XIV.10, ^тѣ добраго скровища 45б, ОЕ *добрааго* 69в, ДЕ *добраго* 69а, М. XII.35, ^тѣ поусти ки да ошедѣше... коупать 62а, ДЕ *шедѣше* 97г. Несколько раз осуществлена замена синонимичных конструкций друг другом: *иже... кльнеться (въ) олтарьмъ* ничто же есть 126а (частичное исправление, предлог остался), на 126б имеется: *кльнѣися въ нбо... въ прѣстолю* 126б, в ДЕ тоже используется конструкция с предлогом *въ* 204г. Довольно много восстановленных писцом пропусков слов, присутствие которых не является обязательным, так как правильное восприятие высказывания обеспечивается контекстом. Например, *отре власы своими* 122а, слово *своими* надписано в междустроочье, оно первоначально было пропущено. В особенности часто пропускаются служебные слова, если они не обязательны. Например, частица *же*, союз *и* частица *и* пропущены и восстановлены писцом 26 раз. Факультативный характер употребления этих слов обнаруживается при сравнении наших рукописей: писец Галицкого евангелия внес пропущенное служебное слово, а в одной из сравниваемых рукописей или в обеих это слово отсутству-

ет. Например, *ре же и друго/моу ходи въ слѣдъ мене* 88а, ОЕ *без и* 104а, ДЕ *без и* 141а, И. IX. 59. Имеются случаи устранения лишних слов, уместных по содержанию в данном месте, но внесенных ошибочно, ненужных. Например, *рекоша [къмоу] вараову—вытерто* 143б, ^тѣвѣща [имѣ] нафанаиль — зачеркнуто 3г. Сходные явления наблюдал Ф. Бласс в древнегреческих и средневековых греческих церковных текстах: пропуск небольших слов,

частиц, не особенно важных по значению для смысла прочитанной фразы, внесение лишних слов. Ф. Бласс объяснял эти явления тем, что переписчик прочитывал отрезок текста, затем в процессе письма забывал написать второстепенные по значению слова или вносил лишние¹⁷. В условиях спешной работы количество такого рода ошибок, естественно, увеличивалось.

Как видим, даже упрощенное системное описание ошибок в рукописи сформировало определенное общее представление об ее орфографии. Ниже попытаемся показать, что полученные сведения полезны при лингвистическом описании памятника. Прежде всего, приведем три примера, касающиеся выделенных классов ошибок.

1. В науке отсутствует четкое представление относительно причин пропусков буквы *г* в древнейших юго-западных памятниках. Многие историки восточнославянских языков склонны считать, что такие пропуски косвенно свидетельствуют о фрикативном (*ɣ*) или фарингальном (*ħ*) характере звука, обозначаемого буквой *г*¹⁸. Подобные примеры имеются в нашей рукописи: *ниневгистьсти* 37г, *изгнаъч* 156а, *изъ<г>наша* 91в, *къ<г>юпта* 159а. По-видимому, они не имеют лингвистического значения, так как в рукописи замечено 150 пропусков фрагментов слов. Ср., например, *кто* 76в, *книжници* 91г, *мѣ* 154б, *тем<н>ицю* 53в. Возможно, столь же малоудачны пропуски буквы *г* и в других рукописях, на которые ссылаются историки языка.

2. Полагают, что в XIII в. в юго-западных говорах древнерусского языка имело место отпадение начального безударного звука [и]: *играти* > *грати*, *из* > *з*¹⁹. В Галицком евангелии 1266—1301 гг. есть следующее написание: *азъ ксмъ хлѣбъ животныи(и) съшеди с ѱсе* 106. Было бы заманчиво разделить ряд букв иначе — *хлѣбъ животныи и съшеди с ѱсе* — и утверждать, что написание отражает смещение приставок *ис-*, *с-* в говоре писца вследствие отпадения начального гласного. Однако такая интерпретация неубедительна на фоне имеющихся в рукописи ошибок. О двойных написаниях уже говорилось выше, приведем примеры повторного написания буквы *и*: *азъ и(и) вѣмъ* 136, ДЕ 206, И. VII.29, *въжчѣлѣша видѣти и(и) не видѣша* 396, ДЕ 59в, М. XIII.17, *о...отрочати(и) сѣмъ* 1586. Следует иметь также в виду, что начало основ, о которых идет речь, оформляется в рукописи по-разному: *ишед-* и *съшед-*.

3. В «Лекциях по истории русского языка» А. И. Соболевского²⁰ содержится утверждение, что наличие дифтонгов типа [yɔ], [yɔ̃] на месте [ɔ], [ɔ̃] в новых закрытых слогах в юго-западных говорах древнерусского языка нашло отражение в старших рукописях юго-западного происхождения. В доказательство А. И. Соболевский ссылается на написания Типографского евангелия № 6 XII—XIII вв. *вечеръ субутныи*, *шюдръ* (вместо *суботныи*, *щедръ*), а также на написание Галицкого евангелия 1266—1301 гг. *июдѣюмъ* (вместо *июдѣемъ*). Мы выявили большое количество случаев смешения букв гласных в рукописи (ср.: *ѣмоу*, буква *ѣ* исправлена из *ю*, *въшюдию* вм. *въшедшю*), поэтому на основании приведенной из Галицкого евангелия орфограммы *июдѣюмъ*, нельзя делать лингвистических выводов. Гораздо интереснее с указанной точки зрения другая ошибка — *въ/змоужно* 87г, где вместо *о* (*въ/зможно*) написан диграф *оу*. Выше говорилось, что в рукописи имеется некоторое число ошибок противоположного типа (*пости* вм. *поусти*), где пропущена вторая часть диграфа, или писец забыл поставить усики в виде галочки над буквой «ук». В

¹⁷ Ф. Бласс, *Герменевтика и критика*, Одесса, 1891, стр. 139.

¹⁸ В. И. Борковский, П. С. Кузнецов, *указ. соч.*, стр. 89.

¹⁹ О. П. Безпалько и др., *указ. соч.*, стр. 165.

²⁰ А. И. Соболевский, *Лекции...*, стр. 67.

слове въ/зможно вместо одной буквы употреблено две, то есть выполненное написание более сложно, чем правильное. С нашей точки зрения, именно в этой ошибке отразилось наличие интересующего нас явления в юго-западных говорах — дифтонгическое произношение звука на месте [ō], возникшего в так называемых новых закрытых слогах: [ō] > [yo], типа *куонь*, *вудз*.

Далее, систематическое исследование ошибок в рукописях позволяет получить определенные представления об орфографии оригинала, с которого переписывалась рукопись. Эти сведения помогают оценить степень самостоятельности писца в вопросах орфографии и отделить явления, возникшие под его пером, от явлений, присущих оригиналу. Приведем примеры. Звуки, развившиеся из сочетаний *zđj, *zgj, *zg' писец регулярно передает буквами жч, например, въжч/челакте 88б, ДЕ 141г — въжде-лакте, ижчившю 106б, ДЕ иждившю 172г, ижченоуть 10а. Ср. на л. 118г в слове ижченоуть буква ч написана по частично вытертой букве ѡ (ДЕ ижденѡтъ 192а). По-видимому, в оригинале в этих случаях использовались буквы жд. На л. 59а имеется описка изъ/далача. По-видимому, в оригинале было издалеча (как в ДЕ л. 92в). Писец перенес букву л в предшествующий слог на место е, а после ч в соответствии со своей орфографической нормой написал а. На л. 48б имеется орфограмма тислсаца, обычно писец пишет тысяща. По-видимому, писец сначала воспроизвел орфографию оригинала, затем дал привычное написание. В оригинале, по-видимому, чаще, чем в нашей рукописи, употреблялись буквы слабых редуцированных. В этом убеждают нас описки типа ѡ (съ)сна 157в, по (съ)стоу 62б вместо сна или съна, стоу или сътоу.

При системном исследовании ошибок в рукописях следует также иметь в виду то обстоятельство, что правленные самим писцом лингвистические ошибки являются эффективным средством проверки реконструированных учеными лингвистических систем. Приведем пример. На стр. 116 «Лекций по истории русского языка» А. И. Соболевский приводит выражение *лоудымъ ѡмомъ* из записи Галицкого евангелия 1266—1301 гг. и указывает, что ѡ на конце является только данью орфографической традиции, в языке писца представлены были твердые губные в конце слов. В этой рукописи представлена интересная ошибка: писец первоначально написал «велить нечистымъ дхмъ и исходить 69а (использована форма ед. числа). Заметив, что нужно было написать «велить нечистымъ дхмъ и исходить» (использовать форму мн. числа), писец исправил не только исходить, а заменил оба «еря» на «еры» — нечистымъ дхмъ. По-видимому, разница между -мъ и -мь в окончаниях имен для писца была заметной и весьма существенной. Ошибка позволяет предположить, что мягкие губные на конце слов в говоре писца существовали. Это предположение превратится в уверенность, если учесть, что случаи смешения ѣ и ь в конце слов после губных единичны и легко объясняются как результат смешения разных форм слова, например, вѣмъ ѣ написана по ь 49а, здесь писец употребил форму 1-го лица ед. числа вѣмъ вместо формы 1-го лица мн. числа вѣмъ (глагол вѣдѣти). В заключение отметим, что в отношении количества ошибок исследованная рукопись не является чем-либо исключительным среди церковнославянских памятников.

В настоящей статье автор стремился показать, что атомистический подход, при котором каждая ошибка оценивается сама по себе, не может дать больше, чем расплывчатые или бездоказательные предположения. Автор стремился также показать, что при лингвистическом исследовании рукописей ошибки писцов достойны самого пристального внимания.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

ИВАНОВ В. С.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В СОВРЕМЕННОМ ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (1973—1977)

В течение последних пяти лет венгерские ученые продолжали работу над изучением венгерского языка, широко пользуясь количественно-статистическими методами. Умелое применение этих методов привело к конкретным результатам при выяснении ряда вопросов фонетического и грамматического порядка, при исследовании географических названий, имен, фамилий, при установлении идентичности текста и рукописи, при изучении стиля венгерских писателей и при решении многих других языковых проблем.

К одной из основных областей применения количественных методов относится грамматика венгерского языка.

В 1974 г. в сб. «Очерки этимологии и морфологии современного венгерского языка» Борбала Кеслер опубликовала статью «Квантитативное исследование глагольных корней»¹. Б. Кеслер, пользуясь новейшими словарями, установила, что в венгерском языке насчитывается 7002 глагольных корня, из которых 5007 относятся к неиковому спряжению, а 1995 — к иковому, 94,49% глагольных корней односложны. Все корни этого типа могут оканчиваться на любой согласный звук, за исключением *s, h*. В статье помещена также таблица, устанавливающая частотность употребления каждого глагольного корня в зависимости от того, на какой согласный звук он оканчивается. Б. Кеслер делит все глагольные корни на несколько групп, подсчитывает частоту употребления каждой группы и публикует итоги подсчетов в специальной таблице.

Годом раньше, в 1973 г., в «Очерках по общей лингвистике» была помещена статья Ласло Дэжэ «Типологические подступы синтаксиса»², где автор рассматривает ряд общих вопросов, проблему лингвистических универсалий, некоторые теоретические положения синтаксической типологии, а также проблему порядка слов. Л. Дэжэ устанавливает четыре основных типа порядка слов: SOV₍₁₎, SVO₍₂₎, VSO₍₃₎, VOS₍₄₎ (S — подлежащее, V — глагольное сказуемое, O — прямое дополнение). Если допустить, что каждый тип порядка слов мог измениться дважды, то воз-

¹ Keszler B., Az igetövek kvantitativ vizsgálata, сб. «Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből», Budapest, 1974.

² Dezső L., A mondatban tipológiai megközelítése, сб. «Általános nyelvészeti tanulmányok. IX. Grammatikai tanulmányok», Budapest, 1973.

можны 12 разновидностей порядка слов. Это, конечно, только теоретическое предположение. Л. Дажё считает, что языки с порядком слов VOS₍₄₎ встречаются крайне редко, поэтому их последующие варианты маловероятны, но они могут возникнуть в будущем. История значительной части языков неизвестна, поэтому трудно определить, какие изменения произошли в прошлом с порядком слов. Но поскольку существуют разные типы порядка слов, можно предположить, что изменения все-таки происходили. Так, например, у индоевропейского языка-основы, вероятно, был свободный порядок слов типа SOV; следовательно, в тех индоевропейских языках, которые характеризуются порядком слов SVO, произошло изменение типа. Также обстоит дело с кельтскими языками, у которых порядок слов VSO, хотя и неясно, возник ли этот порядок слов из древнего индоевропейского SOV или путем двойного изменения: SOV → SVO → VSO. Финно-угорский, или уральский, порядок слов мог относиться к типу SOV, и порядок слов в современном финском языке является вторичным, в то время как венгерский язык находится сейчас лишь в начале реорганизации. В индонезийском языке, а также в языках Океании из SVO образовался порядок слов VSO или VOS, хотя о последнем можно предположить, что он возник либо из одного, либо из другого подтипа VSO (VSO, VOS). Что касается семитских языков с порядком слов VSO, то ранее у них был свободный порядок слов SOV.

Неизменным условием изменения типа является на начальном этапе наличие тех вариантов, которые характерны для конечного, целевого порядка слов. Например, наряду с вариантами SOV, OSV (VSO), характерными для первого типа, должны быть еще и варианты SVO, OVS, свойственные целевому порядку слов.

Изменение происходит медленно и постепенно. Меняется частота употребления, в результате чего наиболее распространенным вариантом порядка слов становится SVO вместо SOV. Это явление можно проследить в древне- и среднеанглийском языке в материалах Англосаксонской хроники и других документов. В Англосаксонской хронике изменение типа зашло уже довольно далеко и порядки слов SOV и SVO представлены примерно поровну, SOV — 35%, SVO — 30%. Однако в Ормулуме вариант SVO уже значительно превышает SOV (SVO — 69%, SOV — 14%).

В уже упоминавшемся сборнике «Очерки этимологии и морфологии современного венгерского языка» опубликована статья Ференца Надя «Учебник „Современный венгерский язык“ и квантитативная лингвистика»³. Автор считает, что традиционные и структуральные методы исследования взаимно дополняют друг друга. Подавляющее большинство специалистов охотно воспринимает аргументацию, подкрепленную цифрами, формулами, схемами, таблицами и графиками, предоставляющую более полные и точные знания. Внедрение статистических данных, индексов, квантитативных категорий в учебный процесс не только возможно, но и необходимо. Ф. Надь установил показатели частотности частей речи, употребляемых в различных жанрах и текстах и свел их в таблицу, помещаемую ниже (табл. 1).

Ф. Надь установил также степень употребления местоимений; на первом месте по употреблению находятся указательные местоимения, за ними следуют личные, затем относительные, вопросительные, неопределенные, обобщающие, взаимные и, наконец, притяжательные.

При рассмотрении вопросов синтаксиса Ф. Надь отмечает различную частотность употребления предложений внутри сложного предложения.

³ N a g y F., A mai magyar nyelv című tankönyv és a kvantitativ nyelvészet, сб. «Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtan és alaktana köréből».

Таблица 1

Часть речи	Жанр									
	Лексико- гия	Повес- тов. про- за	Радио- пьеса	Народн. сказка	Куль- нарн. ре- цепты	Газеты	Радиотел- ежка	Романы	Рассказы	Диалектн. тексты
Глагол	6,23	10,20	15,90	23,82	14,97	9,14	5,87	15,44	15,75	19,48
Существ.	28,14	27,00	16,30	23,62	34,37	35,55	32,89	31,87	24,03	16,80
Иифин.	0,70	1,20	1,60	1,10	0,50	1,10	1,01	1,10	0,80	1,79
Прилаг.	18,09	14,50	8,50	5,81	11,66	13,86	18,72	10,96	8,47	5,57
Причаст.	3,12	2,20	0,10	0,20	3,12	5,02	4,75	1,90	2,50	0,30
Числит.	1,01	2,20	4,80	1,70	6,43	3,61	3,03	1,99	2,20	3,08
Местоим.	6,93	8,50	10,90	5,10	2,01	2,01	3,02	3,29	6,99	11,83
Наречие	3,02	4,90	7,80	8,71	4,72	3,22	2,73	4,48	7,98	15,21
Деепрям.	0,90	1,00	0,00	0,10	0,40	0,10	0,00	0,30	0,10	0,60
Частица	3,72	5,30	12,70	6,31	2,01	2,01	3,24	2,39	5,98	5,88
Приставки	1,01	1,30	1,70	2,20	0,90	1,71	1,21	1,59	1,40	3,68
Артикль	14,57	10,40	6,60	13,01	9,85	14,66	15,69	15,94	10,57	7,65
Послелог	2,61	1,50	0,70	0,40	1,41	1,91	1,92	1,69	0,90	0,40
Союз	9,75	9,80	11,30	7,21	7,64	6,12	5,87	6,97	12,36	7,55
Междом.	0,00	0,00	0,90	0,70	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,20

В сложных предложениях двучленного типа может быть 25 комбинаций: повествовательное предложение + повествовательное; повествовательное + вопросительное; повествовательное + восклицательное; вопросительное + повествовательное и т. д. Следовательно, формула вариантов двучленного сложного предложения $V_{2,2}^{(4)} = 5^2 = 25$. Формула вариантов трехчленного сложного предложения: $V_{3,3}^{(4)} = 5^3 = 125$. Формула вариантов четырехчленного сложного предложения: $V_{4,4}^{(4)} = 5^4 = 625$. Формула вариантов многочленного сложного предложения: $V_{k,k}^{(4)} = 5^k$, где k — число членов сложного предложения.

Количественные методы умело применяются венгерскими учеными для всестороннего исследования какого-либо одного языкового явления. Так, в 1976 г. в Будапеште была опубликована диссертация Иштвана Якаба «Исследование состава венгерских префиксов»⁴.

В этом фундаментальном исследовании анализируются основные проблемы венгерских префиксов. В начале работы дается подробная история вопроса и рассматриваются различные подходы венгерских специалистов к изучению префиксов в венгерском языке. При изучении вопроса И. Якаб учитывает прежде всего две особенности префикса: возможности соединения с глаголом и степень употребления. В работе подвергнуто исследованию 62 префикса. Помещено много таблиц, формул и цифр, отражающих результаты анализа. В качестве материала исследования используются «Толковый словарь венгерского языка», «Венгерско-английский словарь» Ласло Орсага, карманный венгерско-английский словарь Ласло Орсага; отрывки, насчитывающие по 100 000 знаков из романа Ференца Шанта «Двадцать часов», из исследования Иштванне Шимонович «Философское понятие материи», из газеты ЦК Компартии Словакии «Уй Со», из сборника стихотворений Михая Ваца «С Востока»⁵. В зависимости от степени

⁴ J a k a b I., A magyar igekötők állománya vizsgálata, «Nyelvtudományi értekezések», 91, Budapest, 1976.

⁵ «A magyar nyelv értelmező szótára», I—VII, Budapest, 1959—1962; Ország L., Magyar-angol szótár, Budapest, 1963; o r s á g L., Magyar-angol szótár. Késszótár sorozat, Budapest, 1957; S a n t a F., Hűsz óra, Budapest, 1965; S i m o n o v i t s I., Az anyag filozófiai fogalma, сб. «Világirodalom és filozófia c. kötet». Budapest, 1964; «Új Szó» (Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának napilapja): 1 IV 1967; V á c i M., Kelet felől, Budapest, 1965.

употребления префиксы подразделяются на шесть категорий, наиболее употребительная — I категория, наименее употребительная — VI категория. Результаты исследования в виде таблиц помещаются отдельно по каждому исследованному словарю или отрывку текста, а затем сравниваются между собой. В качестве примера приведем начало таблицы SZT₁, в которой помещаются данные анализа префиксов в толковом словаре (табл. 2).

Таблица 2

Номера пп.	Пристав-ки	Част. употр.	Част. употр. в %	Категория
1	<i>meg</i>	2015	16,87	I
2	<i>ki</i>	1714	14,35	
3	<i>el</i>	1437	12,03	
4	<i>le</i>	1160	9,71	
5	<i>fel</i>	1032	8,64	

Таблица 3

Пристав-ка	Част. употр.	Част. употр. в %
<i>fel</i>	2513	91,18
<i>félbe</i>	17	0,62
<i>fél e</i>	149,5	5,42
<i>felül</i>	49,5	1,80
<i>fenn</i>	27	0,98

В качестве итога данного раздела помещены таблица употребления префиксов в глагольных конструкциях и таблица употребления префиксов в неглагольных конструкциях по отношению ко всему исследованному материалу. Затем на основе сравнения материала этих двух таблиц делаются выводы. В них, в частности, говорится о том, что наиболее часто употребляется префикс *meg* (I категория); второе место по употреблению занимают древнейшие венгерские префиксы *el*, *ki*, *fel*, *le*, *be* (II категория); на третьем месте находятся префиксы *rá*, *vissza*, *át*, *össze*, *oda*, *bele* (III категория); на четвертом месте — 21 префикс (IV категория); на пятом месте — 15 префиксов (V категория); на шестом — 14 префиксов (VI категория).

И. Якаб в своей книге занимается также структурой конструкций с префиксами. С этой целью он подвергает анализу пять префиксов, начинающихся на *f*. В материале словарей таких префиксов насчитывается 2756. Более конкретно о них говорит приведенная таблица (табл. 3).

Выяснив типы глагольных и неглагольных конструкций с префиксами, И. Якаб вычисляет показатели внутренней и внешней производности этих конструкций во всех исследуемых текстах. В заключение автор подводит итоги исследования и дает свое определение префикса в венгерском языке.

С помощью применения количественно-статистических методов в венгерском языковедении изучаются и различные синтаксические явления в диалектах венгерского языка. В 1976 г. в журнале «Мадьяр Нельвёр» помещена статья Йожефа Сабо «Исследование частоты употребления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений в Надькёньском диалекте»⁶. Весь анализируемый материал, записанный на магнитофонную ленту, автор статьи делит на две части. Первая часть называется «Трудовой процесс, хозяйство», вторая — «Переживания». Первая часть включает рассказы «О стирке», «Уборка урожая», «О возделывании льна», «О выращивании перца и капусты», «Об уходе за виноградом», «О содержании животных», «Пахота» и др., вторая — «Воспоминание о детстве и юности», «О детских играх», «О службе в армии» и др. В каждой части насчитывается 100 000 знаков, или примерно 2,5 авторских листа. Каждая часть анализируется отдельно.

⁶ Szabó J., A mellérendelt és az alárendelt mondatok gyakoriságának vizsgálata Nagykoványi nyelvjárásában, «Magyar Nyelvőr», 1976, 2.

Количественный анализ показал, что в первой части насчитывается 687 сложносочиненных и 772 сложноподчиненных предложений, что соответственно составляет 47,09% и 52,91%. Сложные предложения, внутри которых имеется свыше шести членов-предложений, анализу не подвергались ввиду их малочисленности (в первой части — шесть, во второй — пять). Вторая часть показывает несколько иную картину. В ней насчитывается 754 сложносочиненных и 711 сложноподчиненных предложений, что составляет соответственно 51,47% и 48,53%. Далее Й. Сабо устанавливает частоту употребления отдельных видов сложносочиненных предложений, отмечая большое количество соединительных предложений, составляющих 75,55% от общего числа сложносочиненных предложений. С увеличением длины сложносочиненного предложения увеличивается количество соединительных предложений. Анализируя особенности сложноподчиненного предложения, Й. Сабо отмечает большой процент обстоятельственных предложений (свыше 70%) и приводит статистику употребления других видов придаточных предложений.

Опираясь на количественные выкладки, автор статьи критикует распространенную в венгерской специальной литературе точку зрения, согласно которой диалекты отличаются в основном лишь фонетическими особенностями, для их синтаксиса характерны прежде всего простые или, в крайнем случае, сложносочиненные предложения. Количественный анализ показал, что число простых предложений составляет примерно треть всех употребляемых предложений, примерно такую же треть составляют сложные предложения из двух предложений, и примерно треть всех предложений составляют сложные предложения из трех и более предложений.

Количественные методы широко применяются в венгерском языкознании также и для исследования особенностей имен, фамилий, кличек, прозвищ и географических названий.

В 1973 г. в Будапеште вышла в свет книга Ференца Эрдега «Исследование личных имен на территории Гёчей и Хетеш»⁷, написанная на основе анализа 47 082 имен, фамилий, прозвищ, кличек, обращений. В книге, в частности, подробнейшим образом анализируются венгерские фамилии. В длинном списке перед каждой фамилией стоит порядковый номер и число, показывающее, сколько раз встречается фамилия в процессе исследования. К наиболее распространенным фамилиям, каждая из которых встречается свыше тысячи раз, относятся шесть фамилий: 1) 2636 Хорват, 2) 1610 Тот, 3) 1524 Ковач, 4) 1176 Варга, 5) 1108 Немет, 6) 1078 Сабо. Всего в списке насчитывается 160 порядковых номеров, причем под последним номером находятся 250 фамилий, встречающихся лишь по одному разу.

Помимо фамилий, исследователь занимается и именами. 47 082 жители несут 383 имени. У женщин больше имен, чем у мужчин. По состоянию на 31 декабря 1966 г. наиболее распространенными мужскими именами были Йозеф (3303, или 14,3%), Иштван (2662, или 11,5%), Ференц (2051, или 8,9%), Янош (1736, или 7,5%), Ласло (1465, или 6,4%), Лайош (1144, или 5%), Шандор (1040, или 4,5%), Дюла (988, или 4,3%), Карой (699, или 3%), Имре (608, или 2,6%), Йенё (541, или 2,3%), Тибор (470, или 2%), Золтан (449, или 1,9%), Дёрдь (442, или 1,9%), Пал (430, или 1,9%). Тринадцать наиболее распространенных имен составляют 89% списка всех венгерских мужских имен, однако 78% всех мужчин носят эти имена.

Наиболее распространенными женскими именами являются Мария (4167, или 17,3%), Эржебет (1899, или 7,9%), Анна (1739, или 7,2%), Ро-

⁷ Ördög, F., Személynévvizsgálatok göcsei és hetés területén, Budapest, 1973.

залия (1649, или 6,9%), Илона (1424, или 5,9%), Маргит (1185, или 4,9%), Каталин (894, или 3,7%), Ирен (793, или 3,3%), Юлианна (787, или 3,3%), Гизелла (697, или 2,9%), Терез (687, или 2,9%), Магдолина (593, или 2,5%), Жужанна (454, или 1,9%), Ирма (431, или 1,8%), Ева (376, или 1,6%). Пятнадцать имен составляют 6,8% списка всех женских имен, в то же самое время 74% женщин носят эти имена.

Именами занимался также Бела Бюки в статье «Имя и место жительства»⁸, в которой он исследовал вопрос о том, какие имена даются детям при рождении в Будапеште, и есть ли в этом отношении какая-нибудь разница между центральными районами города и окраинами.

В ходе работы было выяснено, что и в центре Будапешта и на окраинах к наиболее распространенным мужским и женским именам относятся десять имен, но по степени употребления они располагаются в различном порядке. В районах центра (на 500 имен): Кристина 41, Каталин 30, Моника 29, Сильвия 22, Агнеш 21, Андреа 21, Илдико 21, Жужанна 19, Эрика 17, Ева 15. В районах окраин (на 500 имен): Моника 37, Каталин 36, Илдико 30, Андреа 27, Кристина 27, Сильвия 23, Жужанна 22, Ева 21, Эрика 17, Агнеш 17.

Десять наиболее употребительных мужских имен — в районах центра (на 500 имен): Габор 41, Ласло 38, Жолт 31, Петер 29, Золтан 29, Тамаш 25, Чаба 24, Атила 23, Балаж 20, Иштван 19. В районах окраин (на 500 имен): Ласло 45, Атила 41, Золтан 37, Габор 34, Жолт 31, Тамаш 24, Андраш 17, Иштван 17, Тибор 17, Чаба 15.

Некоторые различия в употребительности имен объясняются не теми традициями, которые существовали в некогда обособленных населенных пунктах, превратившихся затем в окраины столицы, а модой, захватывающей сначала центр, а затем и окраины. В отдельных местах на окраинах группами можно встретить такие редкие женские имена, как Беатрис, Эдина, Тимеа. Список десяти наиболее употребительных мужских имен продолжают Янош, Йожеф, Ференц, Лайош, т. е. модные имена начала века. Иногда модными становятся устаревшие архаические имена, такие, как Бенце, Эрик, Хенрик, Марк, Норберт и др. Причиной этого часто служат легкие музыкальные песни, исполняемые известными артистами и связанные с определенными историческими лицами и событиями (например, исполняемые Жужой Конц песни «Я была женой Генриха VIII», «Помолвка в полночь» и др.). Такие имена характерны для центра венгерской столицы. Между редкими именами, т. е. теми, которые встретились лишь один раз, тоже есть разница в употреблении в центре и на окраинах.

Редкие мужские имена центральных районов Будапешта: Алайош, Альфонс, Альфред, Анатолий, Арнольд, Арсен, Барнабаш, Бенце, Элек, Элемер, Эрвин, Фридьеш, Дёзё, Хенрик, Марк, Мартон, Матиаш, Раймунд, Рудольф, Тивадар, Вильмош, Жадань. Редкие мужские имена районов окраин: Альфред, Аурель, Давид, Душан, Элёд, Эндре, Фридьеш, Гергё, Горан, Густав, Хенрик, Иван, Йенё, Казмер, Кристиан, Марк, Мартон, Венцель.

Редкие женские имена центральных районов: Агота, Алекса, Александра, Анна, Антония, Аранка, Цецилия, Джамила, Доната, Элефтерия, Элеонора, Эникё, Фанни, Фружина, Гитта, Ибоя, Имола, Йолаи, Юлия, Клаудиа, Маргит, Мелинда, Мерседес, Отилия, Пирошка, Шаролта, Терезия, Вилло, Зита, Жеральдина. Редкие женские имена районов окраин: Агота, Александра, Аннет, Анна, Бланка, Богларка, Цецилия, Диа-

⁸ B ü k y B., Névadás és lakóhely (A városközpont és a peremkerületek közötti keresztnévadási különbségek Budapesten 1972-ben), «Magyar Nyelvőr», 1974, 1.

на, Датта, Эмеренция, Фунике, Францишка, Лидия, Лили, Марта, Мелинда, Наталия, Николь, Николетта, Ноэми, Петра, Регина, Рената, Розалия, Шаролта, Вероника, Вираг.

Под влиянием женских имен возникают соответствующие мужские имена и наоборот. Под влиянием имени Кристина возникло мужское имя Кристиан, под влиянием имени Карой возникло женское имя Карола.

В центральных районах Будапешта насчитывается 91 женское имя и 70 мужских имен, в районах окраин — 88 женских и 64 мужских имени. 14—16% мальчиков и 6—8% девочек, родившихся как в центре, так и на окраинах, наследуют имена своих родителей.

Считая, что постоянство, изменение и исчезновение географических названий является таким же важным вопросом исследования, как и возникновение имен, Ласло Тот в 1974 г. в журнале «Мадьяр Нельвёр» опубликовал статью «Знакомство с географическими названиями села Секей»⁹.

В этой статье было исследовано 289 названий лугов, пашен, хуторов, пастбищ, зданий, лесов, водных источников, садов, дорог. После установления названий Л. Тот опросил 90 жителей села, известны ли им эти названия (30 жителей в возрасте 10—15 лет, 30 жителей в возрасте 40—60 лет, 30 жителей в возрасте 60—80 лет). В зависимости от ответов все названия были разделены на девять групп. 32 названия первой группы (11,08% всех исследуемых названий) знали все, 16 названий второй группы (5,56%) знали 85—90 человек, 21 название третьей группы (7,26%) — 80—84 человека, 69 названий четвертой группы (23,87%) — 70—79 человек, 88 названий пятой группы (30,44%) — 60—69 человек, 29 названий шестой группы (10,03%) — 50—59 человек, 19 названий седьмой группы (6,57%) — 40—49 человек, 9 названий восьмой группы (3,11%) — 20—30 человек, 6 названий девятой группы (2,07%) — до 10 человек. Количественный анализ показал, что критерием общеизвестности названия служит необходимость в его употреблении, которая складывается в соответствии с потребностями данного коллектива. Поэтому в первую группу попали самые нужные для села названия: «автобусная остановка», «Полосатая плотина», «Сельский виноградник», «Песчаный холм», «Малый канал» и др. В девятой группе, последней по степени употребления слов, находятся названия, потребность в которых исчезла: «Место крепостной повинности», «Девичий холм», «Комитатский ров» и др. Слабее всего ориентируются в названиях родного села школьники. Л. Тот объясняет этот факт тем, что в сельском хозяйстве они работают немного, их интересы связаны со школой, у них нет особого желания разбираться в местных названиях. Но названия, которых не знает подрастающее поколение, обречены на исчезновение.

Венгерские специалисты в последние годы продолжали работу по установлению авторства с помощью количественных методов. В 1973 г. в сборнике «Венгерские диалекты. XIX Ежегодник Института венгерского языка при Дебреценском университете имени Лайоша Кошута» опубликована статья Иштвана Ковача «Возможности использования палеографических особенностей для установления идентичности текста и рукописи»¹⁰. В этой статье решается вопрос, действительно ли письма и мемуары, приписываемые Ференцу Заю, принадлежат одному и тому же лицу. В целях установления истины И. Ковач сопоставляет рукописи, фотокопии и напечатанные тексты. При этом он проводит подсчеты букв, графем, сочетаний букв, устанавливает особенности фонетической, графической

⁹ Tóth L., A nyírségi Székely község földrajzinévismerete, «Magyar Nyelvőr», 1974, 81.

¹⁰ Kovács I., Paleográfiai sajátosságok felhasználásának lehetősége a szövegző és a kéz azonosításában, сб. «Magyar nyelvjárások», XIX, Debrecen, 1973.

и грамматической системы автора и определяет личные особенности его стиля. И. Ковач даже делает вывод о том, что за тридцать лет, прошедшие между написанием первого и последнего письма, орфография Ференца Зая не изменилась, только появился опыт в написании графем. Параллельное употребление готских и других букв постепенно стало реже, они все чаще стали заменяться латинскими буквами *a, d, e, z*. И для писем, и для мемуаров характерно употребление в равной степени одной и той же группы заглавных букв, применение одних и тех же букв либо в качестве строчных, либо в качестве прописных. Все эти доказательства, убедительно выведенные с помощью количественных методов, дают право И. Ковачу утверждать, что письма и мемуары принадлежат одному лицу, Ференцу Заю.

Пал Йекель и Ференц Папи в книге «Фонематическая статистика собрания сочинений Эндре Ади»¹¹, увидевшей свет в 1974 г., подвергли детальному количественному анализу наследие венгерского поэта. Работа была выполнена с помощью ЭВМ. Основная задача авторов заключалась в том, чтобы дать полную картину количественной стороны языка произведений Ади и проверить, проявляются ли какие-либо определенные тенденции на протяжении всего творческого пути поэта и отдельных этапов. Результаты исследования опубликованы в форме таблиц, перед которыми имеется общее название «Таблицы частотности фонем». Таблицы открываются общими данными относительно всего поэтического творчества Ади. Авторы, в частности, сообщают, что в 13 томах Эндре Ади насчитывается 1048 стихотворений, 115 564 слов, 552 788 звуков, из них 327 075 согласных (59,17% всего числа звуков), и 225 713 гласных (40,83% всего числа звуков). Палатальных гласных насчитывается 115 592, т. е. 51,21% всего числа гласных звуков, и велярных гласных — 110 121, т. е. 48,79% всего числа гласных. Средняя длина слова равна 4,783 звука или 1,953 слога. На один согласный звук приходится 0,690 гласного звука. На один велярный гласный приходится 1,050 палатального гласного. Далее следуют таблицы, в которых помещены цифровые данные о каждом цикле стихотворений соответствующего тома. Каждая таблица состоит из общей части, из данных о звуках, расположенных в алфавитном порядке, и из указателя частотности употребления звуков. Отдельно упоминается число стихотворений, слов и звуков цикла, количество согласных и гласных, количество палатальных и велярных гласных; указана средняя длина слова цикла, т. е. сначала указывается, из какого количества звуков состоит слово, а затем — из какого количества слогов. Особо помещено соотношение числа гласных и согласных, а также соотношение числа палатальных и велярных гласных.

В результате исследования авторы установили ряд закономерностей в поэтическом языке Эндре Ади. Были выявлены семь основных, наиболее употребительных фонем в каждом томе собрания сочинений. Фонемы /e/ и /a/ вместе составили почти 20% всех употребляющихся фонем каждого тома. Повсюду к основным фонемам относятся также сонанты /n/ и /l/, а также согласный /t/. За исключением 12-го тома, везде в числе основных фонем фигурирует фонема /k/. Помимо перечисленных в 3-м томе, основной фонемой является еще и /o/, в 1-м томе — /i/, а в 8 томе — /m/. Другими словами, в каждом томе, за исключением 12-го, наряду с обязательными /t, k, l, n/, в числе основных фонем есть еще три «звонких» элемента: три гласных звука, или два гласных и один сонант. В 12-м томе выступают в качестве основных фонем /l, n, a, e/, однако /k/ основной

¹¹ J é k e l P., P a p p F., *Ady Endre összes költői műveinek fonémastatisztikája*, Budapest, 1974.

Таблица 4

Число предложений писателя — 68		Число предложений действующих лиц — 109			
Простые предложения — 23	Сложные предложения — 45	Простые предложения — 73		Сложные предложения — 36	
		неполные предложения — 18	предложения, выражающие чувства говорящего, — 6	Из двух-трех предложений — 30	Из числа предложений более трех — 6

Таблица 5

Число предложений автора — 40		Число предложений действующих лиц — 179			
Простые предложения — 22	Сложные предложения — 18	Простые предложения — 133		Сложные предложения — 46	
		неполные предложения — 45	предложения, выражающие чувства говорящего, — 18	Из двух-трех предложений — 44	Из числа предложений более трех — 2

фонемой не является. Зато в качестве основных фонем употребляются /o/ и /m/. Самые короткие слова Ади употребляет в наибольшем количестве в начале творчества в книге «Новые стихотворения». Последние тома стихотворений поэта с точки зрения употребления коротких слов близки к «новым стихотворениям». Во всех томах примерно одинаково распределяются гласные переднего и заднего ряда.

Количественные методы широко применяются венгерскими учеными при определении особенностей стиля того или иного писателя. В 1977 г. во втором номере венгерского журнала «Мадьяр Нельвёр» была опубликована статья Йенёне Батки «Некоторые характерные особенности Эрнё Урбана при образовании предложений»¹².

В основном автор исследования подверг анализу произведения Эрнё Урбана «Рассвет», «Мертвая буква», «Твердый орешек» и частично сборник новелл «Спор с миром»¹³. В результате он приходит к определенным выводам. В романах и новеллах 50-х годов Эрнё Урбан прежде всего рассказчик, отсюда большое количество сочинительных предложений и конструкций. Например, в «Рассвете» (1955) нужно перелистать немало страниц, пока читатель не наткнется на речь действующих лиц или диалоги. С 60-х годов картина меняется. Рассказчик Эрнё Урбан все чаще уступает место репортеру Эрнё Урбану. Предложения, характеризующие повествование от лица автора, начинают встречаться все реже и становятся все меньше по объему. Писатель оттесняется на задний план, уступая свое место действующим лицам. Это проявляется в соотношении предложений, принадлежащих автору и действующим лицам. В «Мертвой букве» (1967) действующие лица говорят больше, чем автор. Возрастает роль прямой речи. Это подтверждается данными при сопоставлении «Рассвета»

¹² B a t k i J., Urbán Ernő mondatszerkesztésének néhány jellemző vonása, «Magyar Nyelvőr», 1977, 2.

¹³ «Pirkadás», Budapest, 1955; «Irott malaszt», Budapest, 1967; «Kemény dió», Budapest, 1955; «Pörben a világgal», Budapest, 1970.

и «Мертвой буквы». Если в отрывке из «Рассвета» длиной примерно в 16 500 букв соотношение предложений автора и действующих лиц равно 68: 109, то в отрывке такой же длины из «Мертвой буквы» из 219 предложений автору принадлежат только 40, а действующим лицам — 179. Это изменение соотношений отражается и на структуре предложений. По сравнению с «Рассветом» в «Мертвой букве» значительно возросло число простых предложений. На 133 простых предложения приходится только 46 сложных, причем последние состоят не из большого числа членов. Из 133 простых предложений 45 неполных и 18 представляют собой восклицания или выражают чувства говорящего (*Apa!* «Отец!»; *Dehogy* «Как бы не так» и т. д.). В подтверждение своих выводов Йенёне Батки помещает таблицы.

В одной таблице (табл. 4) дается соотношение предложений в романе «Рассвет» (всего в анализируемом отрывке 177 предложений).

В другой таблице (табл. 5) приводится соотношение предложений в романе «Мертвая буква» (всего в анализируемом отрывке той же длины 219 предложений).

Опыт работы ученых в области венгерского языкознания лишний раз подтвердил значение количественных методов для изучения различных сторон венгерского языка.

РЕЦЕНЗИИ

O. Akhmanova, R. F. Idzels. What is the English we use? A course in practical stylistics.—Moscow University Press, 1978. 157 стр.

Книга О. С. Ахмановой и Р. Ф. Идзельса представляет собой глубокое и оригинальное исследование, которое вносит весомый вклад в развитие советской англистики. Основное ее достоинство заключается в том, что в ней со всей очевидностью проявляется нерасторжимое единство теории и практики. Практический, даже прикладной характер книги бесспорен: она может и должна с успехом использоваться как учебное пособие по стилистике современного английского языка для студентов-филологов. Однако это не просто «еще одно» пособие подобного типа, мало чем отличающееся от предыдущих. Многие теоретические вопросы, остро волнующие современное языкознание, находят здесь не только всестороннее освещение, но и глубокое, научно обоснованное решение. К числу таких вопросов прежде всего относится разработка принципов текстологического анализа — проблема, которая находится в центре внимания сравнительно новой отрасли языкознания, получившей название «лингвистики текста». В книге детально разработаны методы разных типов текстологического анализа, применимых, с одной стороны, к художественному тексту, а с другой — к тексту научному. При этом анализ научного текста оказывается направленным на выделение и всестороннее описание тех его особенностей, которые составляют неотъемлемую принадлежность варианта английского языка, считающегося оптимальным для использования в целях международного общения научных специалистов.

Особенно важно, что в рецензируемой книге достижения лингвистической мысли ставятся на службу методике, помогая найти ответ на многие методические вопросы, которые представляют особую трудность при обучении иностранному языку. Какова цель, которая преследуется при изучении иностранного языка в вузе? Какой вариант, разновидность, функциональный стиль иностранного языка должен в этом случае составить основу изучения? Какой степени владе-

ния языком следует добиваться от представителя технической и гуманитарной специальности? Как, какими методами учить иностранному языку в вузе? В чем должно состоять различие между обучением иностранному языку представителей языковых и неязыковых специальностей? Что брать за образец при изучении иностранного языка? Таков по необходимости краткий список вопросов, которые стоят в центре внимания современной методики и на которые авторы книги находят убедительные ответы¹.

Уже из сказанного видно, что очень трудно точно определить, к какой области относится рецензируемая книга. Что это: монография, в которой отражены результаты лингвистического исследования? Методическое пособие, в котором предлага-

¹ В последнее время в печати появился целый ряд интересных книг и монографий, написанных специалистами-методистами. См., например: «Очерки по методике обучения немецкому языку» под ред. И. В. Рахманова, М., 1974; «Обучение иностранному языку как специальности», М., 1975; Е. И. Пассов. Основы методики обучения иностранным языкам, М., 1977; «Общая методика преподавания иностранных языков в средних специальных учебных заведениях» под ред. А. А. Миролюбова и А. В. Парахиной, М., 1978; Ж. Л. Витли. Обучение взрослых иностранному языку. Вопросы теории и практики. М., 1978. Ср. также: P. Stevens. New orientations in the teaching of English, Oxford, 1977. Авторы этих пособий сосредотачивают внимание прежде всего на собственно методических вопросах, обсуждая главным образом приемы и методы, с помощью которых можно вести обучение иностранному языку в вузе. Сама же языковая реальность, то, чему нужно учить, часто остается при этом за пределами исследования или принимается как нечто само собой разумеющееся и всем известное.

ются наиболее рациональные пути и методы обучения иностранному языку? Курс практической стилистики английского языка для студентов-филологов?

Читатель, вероятно, уже заметил, что в рецензии очень часто упоминаются слова «практика» и «практический». И это не случайно. В последнее время слишком уж строго проводится принцип «разделения труда» между «теоретиками»-лингвистами и «практиками»-методистами. Первые разрабатывают свои идеи и теории, полагая, что дело методистов — переработать эти идеи и пустить их в ход, приспособив к практике преподавания (а часто и вообще не очень заботясь о том, найдут ли эти идеи какое-либо применение в методике). Вторые же слишком озабочены своими собственными, «чисто» методическими проблемами, чтобы лезть в непроходимые дебри теоретических лингвистических построений в смутной надежде отыскать там хоть крупицу сведений, которые могли бы быть внедрены в практику преподавания. Вот и обращаются методисты за помощью к приемам и методам, обещающим быстрый и легкий успех в усвоении иностранного языка. И распространяются в нашей методике (и усердно внедряются на практике!), сменяя друг друга, то «прямой метод» Г. Пальмера и М. Уэста, то аудио-лингвальный метод Р. Ладо и Ч. Фриза, то аудио-визуальный метод, то метод гипнопедии, то метод «языкового погружения», то метод суггестопедии Г. Лозанова, то «эмоционально-смысловой» метод, то, наконец (последнее слово в методике!), «суггестоканалитический интегральный» метод. Даже идеи Хомского некоторые авторы учебных пособий пытаются приспособить к делу преподавания, вдохновленные, видимо, его утверждением, будто генеративная грамматика способна познать языковой «механизм порождения», а значит, открывает неограниченный простор для изучения иностранных языков.

А ведь эти методы, к сожалению, далеко не всегда опираются на реальные достижения в смежных областях науки — лингвистике, психологии и т. п.; чаще всего они привлекают своей легкостью и кажущейся эффективностью. Заманчиво, в самом деле, когда тебе заранее гарантируют быстрый успех в изучении иностранного языка².

Однако каждый, кто имел дело с изучением иностранного языка и кто сталкивался с необходимостью активно использовать этот язык (особенно в целях

профессионального общения), знает, насколько это непростое дело. И очень хорошо, что в рецензируемой работе убедительно показано: изучение иностранного языка — это не забава, не игра и не развлечение. Легких путей здесь нет и быть не может.

Остановимся теперь подробнее на тех проблемах, затрагиваемых в книге, которые, по нашему мнению, представляют наибольший интерес.

Уже во «Введении» раскрывается смысл английского названия книги, сформулированного в виде вопроса: «What is the English we use?». Название плохо поддается переводу на русский язык, но смысл его можно приблизительно передать следующим образом: «Каким английским языком мы пользуемся?», или: «Каков тот английский язык, которым мы пользуемся?». «Мы» в данном случае относится к филологам — лингвистам и литературоведам, к ученым разных специальностей, к деятелям науки и культуры, к инженерно-техническим работникам, ко всем лицам, имеющим высшее образование (или находящимся в процессе его получения), чья профессиональная деятельность в той или иной степени требует применения английского языка, т. е. к тем, кто читает литературу по специальности на английском языке, пишет на этом языке статьи или книги, участвует в работе международных конференций или симпозиумов и выступает на них с докладами и т. п. Короче говоря, это относится ко всем, кто использует английский язык в целях профессионального общения, а круг этих лиц, как легко можно себе представить, очень широк.

Сформулированный в названии вопрос, ответом на который, по существу, является вся книга, имеет первостепенную важность. Хотя на первый взгляд это вопрос сугубо методический, — ведь прежде чем обучать будущих специалистов в области естественных и гуманитарных наук иностранному языку, надо знать, чему именно обучать, — однако решать этот вопрос должны в первую очередь не методисты, а лингвисты. Именно они могут теоретически обосновать выбор того «регистра» иностранного языка, который должен лечь в основу изучения его специалистом.

Как же подходят авторы книги к решению этого вопроса? Одним из достоинств книги следует признать то, что точка зрения авторов здесь не просто декларируется с самого начала как единственно приемлемая. О. С. Ахманова и Р. Ф. Идаелис последовательно обсуждают различные варианты ответа на поставленный вопрос, стараясь подвести самого читателя к правильному решению. Они начинают с обсуждения распространенной точки зрения, согласно которой в качестве модели, образца для подражания следует выбирать произведение тех авторов, главным образом классиков, которые являются

² См., например, газетные публикации рекламного характера: «Погружение в английский», «Неделя» № 6 (80), 1976; «Что такое сверхзапоминание? (Иностранный язык за три месяца)», «Вечерняя Москва», 7 XII 1977; «Школа Лозанова. (Иностранный язык — за три месяца)», «Труд», 20 XII 1974.

признанными мастерами стиля. Считается, что именно их творения, безупречные в языковом отношении, способны составить основу того варианта английского языка, который должен явиться нормой, моделью для воспроизведения не только в речи естественных носителей языка, но и в речи иностранцев, изучающих этот язык. Авторы книги подвергают тщательнейшему анализу отрывки из произведений английских писателей-классиков, признанных стилистов (в основном Джейн Остин и лорда Честерфилда), рассматривая эти отрывки буквально «под лингвистическим микроскопом», и убедительно доказывают, что несмотря на все их стилистическое совершенство, они не могут служить моделью и образцом для подражания. Дело не только в том, что некоторые из языковых средств и способов выражения, употребительных в текстах XVIII—XIX вв., сейчас либо кажутся устаревшими, либо приобрели новые значения и коннотации, и выбрать из этих текстов то, что и сейчас в языковом отношении «составляет норму», может только человек, прекрасно владеющий английским языком и имеющий солидную филологическую подготовку. Может быть, еще важнее то, что в произведениях художественной литературы стиль оказывается настолько индивидуализированным, что эта индивидуализированность не может не получить отражения в способах выбора и сочетания слов. А это создает непреодолимые трудности на пути каждого, кто попытается имитировать такой стиль: в самом деле, как узнать, что в данном тексте «обычно», воспроизводимо в повседневной речи, а что индивидуально, неповторимо, отражает творческую личность автора? При попытке решить этот вопрос человек, недостаточно хорошо владеющий языком, остается в полной растерянности.

Таким образом, читатель убеждается, что язык писателей вовсе не может служить основой «идеального» (с точки зрения иностранца) варианта английского языка.

Тогда, может быть, следует обратиться к работам специалистов-литературоведов, критически анализирующих произведения писателей и поэтов? Ведь язык филологов, свободный от слишком ярко выраженной индивидуальной манеры художников слова, должен быть по определению безупречен с точки зрения литературной нормы? Возможно, именно здесь следует искать «идеал», образец, которому может подражать иностранец (особенно филолог), стремящийся научиться читать, писать и говорить по-английски? О. С. Ахманова и Р. Ф. Идзелис подробно обсуждают и эту возможность. Приводя обширные выдержки из разнобразных работ английских и американских литературоведов и критиков, они детально комментируют и анализируют

их стиль. Вывод оказывается несколько парадоксальным: язык, на котором написаны анализируемые литературно-критические работы, еще дальше отстоит от искомого образца, чем произведения самих писателей! Авторы показывают, как часто в погоне за мнимой оригинальностью суждений литературоведы и критики перестают говорить языком фактов, сбиваясь на туманно-высокопарные рассуждения, порой напоминающие плохую пародию на стиль анализируемых ими писателей.

Следующим шагом является обращение к тем книгам, которые можно было бы назвать «пособиями по культуре речи»: в них даются практические советы и рекомендации по употреблению тех или иных слов и выражений, указывается, каких оборотов следует избегать в речи, как правильно строить фразы и сверхфразовые единства и т. п. О. С. Ахманова и Р. Ф. Идзелис справедливо указывают, что язык, которым написаны эти книги, хотя он вряд ли когда-либо серьезно анализировался с лингвистической точки зрения, представляет большой интерес: ведь чтобы предлагать нормативно-оценочные суждения о языке, авторы подобных пособий должны прекрасно знать язык и обладать тонким языковым чутьем и вкусом. В англоязычной филологической литературе традиция создания таких пособий развита достаточно широко, что дает богатый материал для исследования³.

Анализируя язык, которым написаны подобные работы, авторы книги делают весьма важное и тонкое наблюдение. Они приходят к выводу о существовании языкового способа выражения, который не просто нейтрален в стилистическом плане, но фактически представляет собой некий «усредненный» вариант английского языка, в котором не отражается (или почти не отражается) творческая индивидуальность автора и который тем не менее безусловно представляет собой вполне правильный, идиоматичный английский язык. Такой способ выражения, по удачной формулировке авторов, оказывается как бы «ничьей землей», «нейтральной полосой»: он не принадлежит никому в отдельности, и тем не менее он доступен каждому. Он является общественным достоянием и потому им может пользоваться каждый, и, вернее, каждый может черпать из него ресурсы для собственной речи; этот способ выражения может составить основу индивидуального стиля, но в нем самом авторская принадлежность и индивидуальность не выражена. Именно таким вариантом или стилем английского языка может и должен стараться овладеть иностранец.

³ Хорошо известны, например, работы таких английских исследователей проблемы культуры речи, как братья Фаудеры, Э. Партридж, Г. Валлииз, Э. Гауэрс, А. Квиллер-Коуч и др.

филолог: им он может пользоваться без опасения показаться либо нарушающим законы идиоматичности, либо, наоборот, слишком слепо им повиновущимся.

Не ограничиваясь простой констатацией существования такого регистра английского языка, авторы в последующем изложении подвергают подробному рассмотрению основополагающие черты и признаки этого стиля, проявляющиеся в лексике и синтаксисе: они детально исследуют употребление слов и фразеологических единиц, особенности глагольно-временных форм, функционирование сверхфразовых единств и параграфов в составе текстов, принадлежащих к данному функциональному стилю. Это исследование еще больше укрепляет в них (а также в читателе) убежденность в том, что именно данный функциональный стиль составляет тот необходимый базис, овладеть которым обязан каждый филолог, избравший своей специальностью английский язык. Овладение этим стилем поможет ему обрести уверенность в своих силах, даст возможность свободно пользоваться английским языком (как в письменной, так и в устной его форме) для любых целей профессионального общения. Крайне важно и то, что в этом случае филолог избавляется от преувеличенного, слепого доверия к информанту — естественному носителю языка: авторы справедливо замечают, что такое стремление во всем положиться на некоего идеального информанта, который будто бы один знает, как пользоваться языком, получив этот чудесный дар уже при рождении, зашло в последнее время очень далеко и зачастую приобретает уродливые формы. Между тем еще Л. Блумфилд предостерегал против неумеренного «преклонения» перед информантами и стремления во всем слепо следовать их советам и рекомендациям: он (на наш взгляд, весьма справедливо) скептически относился к надежде изучить таким образом язык, считая эту надежду распространенной иллюзией⁴.

Тот функциональный стиль английского языка, о котором шла речь выше, в первую очередь рекомендуется авторами для обучения филологов. Для них овладение этим стилем составляет необходимую первую ступеньку, базис, на основе которого они затем могут совершенствовать свое языковое мастерство, вырабатывать свой индивидуальный стиль и т.п. Что касается представителей естественных наук, то для них этот стиль языка является скорее образцом, к которому они должны стремиться и которым (в иде-

але, в конечном случае) они должны рано или поздно овладеть. Первым же этапом в изучении английского языка для них может стать овладение той его формой, или разновидностью, или «подрегистром», который авторы книги, вслед за Р. Кверком, называют «restricted English» («ограниченная разновидность английского языка»).

Такое понимание специфики обучения иностранному языку филологов и представителей естественных наук является весьма перспективным. К сожалению, в практике преподавания, да и в теоретических методических трудах эта специфика до сих пор учитывается далеко не достаточно. Слишком часто программы и учебники по иностранному языку для неязыковых специальностей по существу слепо копируют аналогичные издания, предназначенные для студентов-филологов. Студенту-математику, физику или химику вменяется в обязанность досконально разбираться в тонкостях английской грамматики и фонетики. Естественно, практически он при этом не овладевает ни той, ни другой, а теоретические «знания» такого рода могут быть приобретены только усердной и бессмысленной зубрежкой.

«Ограниченная разновидность» английского языка в этом смысле открывает отличный выход из положения: во-первых, этот вариант языка практичен, т.е. им может овладеть каждый, желающий ему научиться; во-вторых, он вполне достаточен для целей профессионального общения. При этом от изучающего язык требуется овладение лишь строгим минимумом грамматических и фонетических знаний; пределы этого минимума определяются критерием «интеллигибельности», или «понимаемости»⁵.

Основная, можно даже сказать, уникальная ценность книги состоит в том, что авторы не просто теоретически обосновывают выбор того функционального стиля или варианта английского языка, который должен служить моделью для изучающих этот язык. Вся книга фактически написана этим самым языком, и «языковая субстанция»

⁵ Видный советский психолог А. Н. Леонтьев указывает, что «оптимизировать» требования, предъявляемые к учащимся при изучении иностранного языка, можно только определив научный критерий меры этих требований. «Эта мера, как называют ее в теории коммуникации, есть степень интеллигибельности речи, т.е. ее понимаемости собеседником, владеющим данным языком как родным» (А. Н. Леонтьев, Некоторые вопросы психологии обучения речи на иностранном языке, сб. «Психоллингвистика и обучение русскому языку нерусских», М., 1977, стр. 9).

⁴ См.: Л. Блумфилд, Краткое руководство по практическому изучению иностранного языка, в кн.: «Методика преподавания иностранных языков за рубежом», 1, М., 1967, стр. 15—32.

книги (то, что к сожалению, отсутствует в большинстве пособий по методике) служит лучшим доказательством того, что такой стиль существует, живет и представляет благодарный материал для желающего им воспользоваться.

Книга О. С. Ахмановой и Р. Ф. Идзелиса представляет собой одно из первых прагмалингвистических исследований того «важнейшего функционального стиля, который является основным для всей многомиллионной армии обучающихся языкам,

включая родные»⁶. Направленная на оптимизацию того варианта английского языка, который может наиболее успешно использоваться в целях профессионального общения, эта книга, несомненно, вызовет живой интерес у самых широких читательских кругов.

Краснова И. Е., Марченко А. Н.

⁶ О. С. Ахманова, И. М. Магидова, Прагматическая лингвистика, прагмалингвистика и лингвистическая прагматика, ВЯ, 1978, 3, стр. 45.

«Les Français régionaux. Colloque sur le français parlé dans les villages de vignes organisés par la faculté des lettres et de philosophie de l'Université de Dijon du 18 au 20 novembre 1978». — Paris, Librairie Klincksieck, 1977. 262 стр.

Настоящая книга является двадцатым выпуском серии «Акты и коллоквиумы», издаваемой Международным Центром романской филологии при Страсбургском университете («Colloques et Congrès organisés par le Centre de philologie et de littérature romanes de l'Université des Sciences humaines de Strasbourg. Actes et colloques», 20). Книга содержит материалы коллоквиума по изучению региональных разновидностей французского языка в виде двадцати статей, посвященных разным областям Франции, в которых культивируется виноградарство и виноделие. Сборник открывается предисловием Ж. Таверде (стр. 5—6) и заключается носящим теоретический характер послесловием Ж. Спрака (стр. 227—243). К книге приложен указатель регионализмов — фонетических, грамматических и лексических. Последние наиболее многочисленны и представлены в виде небольшого словаря, в котором каждое слово локализовано (стр. 245—259).

Появление данного труда является результатом исследования особенностей регионального языка Франции авторами, большинство которых — известные диалектологи, составители соответствующих региональных атласов Франции. Проблема регионализмов тесно связана с особенностями диалектной речи. Региональный и диалектный языки — понятия, как известно, не тождественные, хотя диалектизмы являются одним из существенных компонентов регионального французского языка («français régionaux»).

Ж. Таверде в своем предисловии отмечает, что «диалектологи больше, чем кто-либо, знают, что французский язык не является однородным (единым) языком» (стр. 6). Он отмечает различие не только между французским языком во Франции и за ее пределами, но также и во французском языке внутри страны, например,

языком жителей Марселя и Лиля. Была предпринята специальная анкета, в рамках которой по специально разработанной методике изучались особенности региональных говоров разных областей Франции. Предметом исследования послужила терминология, связанная с виноделием и виноградарством, поскольку в ней наблюдается значительное количество характерных регионализмов.

Особенности анкеты рассматриваются более подробно в первой, теоретической статье Г. Тюайона на тему «Размышления о региональном французском». Автор приводит образцы анкет, в которых учитываются форма слова, ее вариативность, произношение, грамматическая характеристика, локализация, значение (в контекстах), сведения о «жизненности» слова, его употребительности, географическом распространении, этимологии. В качестве примера анализируется диалектное слово *varvoule*, употребительное в области Дофине (синоним литературного *liseron* «опушка»).

Проблема регионального языка ставится в ее историческом аспекте, о чем свидетельствует последняя статья трудов «Коллоквиума», написанная Кр. Шмитом (Гейдельберг — Гамбург) на тему «Французская грамматика XVI—XVII вв. и региональные языки» (стр. 215—225).

Фонологические региональные особенности французского языка представлены анкетой Г. Вальтер (стр. 31—34). Ж. Таверде изучает проявление регионализмов в Бургундии в фонетике, фонологии, семантике, морфологии и синтаксисе. В заключение автор делает попытку определения французского регионального языка (стр. 35—42). Региональным говором в ареале Бургундии занимается также Ф. Дюма (стр. 43—49). К. Донден принадлежит наблюдения о языке одного се-

ла Верхней Сомы; А. Бурсело излагает свои наблюдения о языке виноградарей Шампани.

М.-Р. Симони-Орембу изучает французскую региональную речь в долине реки Сисс (правый приток Луары) (стр. 71—87). Автор пытается выяснить следующие вопросы: 1) что остается от диалекта после его исчезновения; 2) каким образом французский региональный говор использует литературный язык, приспосабливая его к местным особенностям; 3) каковы связи между словами и вещами.

Статья Р. Лешелле посвящена наименованиям кальвадоса и сидра, распространенным в Нормандии (стр. 89—96), статья П. Брассер — французскому региональному говору англо-нормандских островов (стр. 97—103), статья Ж.-П. Шово — французскому региональному говору юго-западных провинций (стр. 105—118), в то время как М. Казанова исследует говор виноделов во французской Швейцарии (стр. 119—129).

Ряд статей посвящен региональным говорам юго-восточных областей Франции, в частности, франко-провансальскому (статьи Бр. Орио и А.-М. Вюпра, М. Говно, Ж.-Б. Мартен, Ж. Сальмон и др.). А. Гатэ изучает городской полудиалект («французский разговорный») Перпиньяна (стр. 209—213), Ж.-К. Потт — фонетические особенности области Пюи-де-Дом (стр. 191—198).

В итоговой и посвящей теоретический характер статье Ж. Страка «Французские региональные говоры. Заключение и результаты коллоквиума в Дижоне» (стр. 227—242), помимо подведения конкретных итогов по разным докладам, суммируются наблюдения над французскими региональными говорами, которые рассматриваются автором как географические варианты национального языка, и над методикой их исследования. Как отмечает Ж. Страка, для многих авторов статей (например, Ж. Таверде и М.-Р. Симони-Орембу) изучение словаря виноградарства и виноделия явилось лишь предлогом для обсуждения теоретических вопросов, связанных с французскими региональными говорами и определенным последним. Ж.-К. Потт показывает необходимость предварительного исследования изучаемой среды с точки зрения социокультурной и социoproфессиональной, Г. Тюайон и Э. Шюле (доклад которого был прочитан, но не прислан для публикации) наиболее целенаправленно останавливались на тех вопросах, которые связаны с понятием французского регионального говора, и на трудностях его исследования. Г. Тюайон определяет французский региональный говор как «сумму геолингвистических вариантов французского». Французские региональные говоры существуют в основном в разговорной форме (М. Каза-

нова), хотя, по мнению других исследователей, они отражаются и в письменной речи. Э. Шюле предлагает вычленять регионализмы, исходя из той нормы, которую дают грамматика и словарь французского литературного языка. Ж. Таверде определяет двойную соотносительность французского регионального говора: с одной стороны, с его диалектным субстратом, а с другой — с нормативным французским. Ж. Страка подчеркивает, что, в отличие от диалекта, который определяется как известное лингвистическое единство, во французском региональном языке «лексические, фонетические и другие элементы не представляют собой определенной системы» (стр. 231). Лексические регионализмы доминируют над другими уровнями языка.

Ставился вопрос о том, не является ли понятие французского регионального говора соотносимым с французским разговорным языком. По мнению Ж. Страка, эти понятия не идентичны, прежде всего потому, что черты регионализмов не ограничиваются устным употреблением и часто имеют письменное выражение. Тем не менее Ж. Страка подразделяет французскую разговорную речь на два лингвистических типа: региональные факты (связанные с геолингвистикой) и факты народной и фамильярной (вульгарной) речи. К элементам регионализмов относятся и арготические выражения. Опираясь на данные А. Доза, Ж. Сеги и Э. Шюле, Ж. Страка отмечает дивергенцию французского регионального языка в зависимости от социальной среды. Естественно, что регионализмы прежде всего появляются в разговорном языке, в актах речи. Но регионализмы засвидетельствованы и в письменной речи, как в литературных текстах, так и в нелитературных текстах делопроизводства, документации и др. (Э. Шюле констатирует, что в Швейцарии регионализмы встречаются даже в тексте конституции). Г. Тюайон настойчиво подчеркивает, что диалектные ареалы не соотносятся с ареалами регионального языка. Как и в диалектологии, метод картографирования, согласно мнению Ж. Страка и некоторых других авторов «Коллоквиума», должен рассматриваться как основной метод для изучения регионального языка и соответственно следует запланировать «Атлас регионализмов», которому должна предшествовать картотека регионализмов.

В качестве источников для формирования французских региональных говоров, как писал еще А. Доза, служат архаизмы и диалектизмы французского языка; К. Балдингер устанавливает еще два источника — внутреннее развитие и инновации через заимствования. В добавление к этим четырем источникам регионализмов Ж. Таверде обращает внимание на особенность, которую он назы-

вает «негативной» и которая в региональном языке заключается в отсутствии общепользовательского в той или иной области. Перу Ж. Таверде принадлежит наиболее полное определение регионального французского, который понимается им как «объединение [а не система] (последняя разрядка наша. — Б. М., Г. Л.) всех лингвистических явлений, устных или письменных, позитивных или негативных, созданных говорящими на французском языке и ограниченных в плане географическом одним пунктом или суммой пунктов, более или менее значительной» (стр. 239).

Заключая свое послесловие, Ж. Страка отмечает, что следует продолжить исследование регионализмов в литературных текстах, которые еще не были рассмотрены с этой точки зрения, а также текстов нелитературных; одновременно необходимо как можно скорее определить опорную сеть исследования регионализмов французского разговорного языка. В этом плане следует указать, что близится окончание работы над серией региональных лингвистических атласов Франции, после чего начнется реализация нового большого национального мероприятия — изучение регионализмов Франции.

Рецензируемый сборник, как мы пытались показать, посвящен одной из актуальных проблем современного общего языковедения: региональные говоры рассматриваются, с одной стороны, как явление, относящееся к социолингвистике и диалектологии, а с другой стороны — к вопросам литературного нормированного языка. Актуальность проблематики связана с тем, что региональные говоры относятся к области языковой вариативности. В сложной, но в настоящее время достаточно хорошо разработанной проблеме соотношения литературного языка и диалекта региональные говоры занимают определенное место, поскольку диалект, как об этом справедливо пишут авторы статей сборника, является своеобразным субстратом регионального языка. Одной из весьма интересных проблем, поднятых в сборнике, является проблема разграничения региональных говоров и арг.

Новизна проблематики и ее неразработанность, нечеткость терминологии, естественно, приводят к ряду критических замечаний, точнее, к желанию продолжить полемику по ряду вопросов, затронутых в книге. В этом плане наиболее интересным и требующим обсуждения является вопрос о картографировании региональных языков, поставленный рядом авторов сборника (стр. 8, 28—29, 33, 150, 186 и др.), т. е. о проблемах пространства в лингвистике. Картографиро-

вание, как нам представляется, тесно связано с особенностями объекта исследования. Каковы же характеристики регионального говора, если его рассматривать как объект картографирования?

В книге, как было сказано выше, дается определение региональных говоров, которое принадлежит Ж. Таверде. К нему можно добавить уточняющую характеристику Г. Тюайона, подчеркивающую, что французские региональные говоры — это «геолингвистические варианты французского, а не диалекта» (стр. 11). Автор отмечает, однако, что «изучение этих говоров не является глобальным исследованием их функционирования в определенном очерченном месте» (стр. 10). Тем самым Г. Тюайон подчеркивает свой тезис об отсутствии во французском региональном языке безусловной и четко очерченной его связи с территориями, которая характерна для диалектов. Не принимая безоговорочно необходимости и возможности картографирования региональных говоров, но отнюдь и не отрицая этого приема исследования, авторы обсуждают те особенности и трудности, которые сопутствуют применению этого метода исследования диалектов к особенностям регионального языка.

С нашей точки зрения, эта проблема должна решаться следующим образом. Картографирование как прием фиксации распространения явления в пространстве имеет основным объектом исследования единицу этого пространства, называемую «ареалом». «Ареал» представляет собой не просто территорию распространения того или иного явления, а строго обусловленное историческими, географическими, социальными, лингвистическими и другими параметрами пространство, форма и контуры которого не только не случайны, но имеют строгую закономерность и определенное значение. Отсюда разветвленная терминология, связанная с формой ареала (компактный, кружевной, клинообразный, изолированный и др.) и его границами (изоглосса, изоморфа и др.). Теория ареала возникла на диалектном материале, имеющем соответствующую территориальную специфику, компактность и системность расположения явлений, обусловленность историческим развитием области, вплоть до истоков формирования определенной зоны (например, для Франции — соотнесение диалектного ареала с границами римских диоцезов и провинций и средневековых политических и церковных членений). Применима ли эта теория (и соответственно лингвистическое картографирование) к явлениям региональных говоров — вопрос, требующий внимательного рассмотрения, поскольку региональные говоры отличаются от диалектов не только по произно-

хождению и содержанию, но и по территориальному распространению.

Суммируя по материалам «Коллоквиума» некоторые черты, характерные для региональных говоров, необходимо отметить: 1) большую территорию их распространения по сравнению с отдельными диалектами; 2) территорию, не столь строго обусловленную исторически и подчас представляющуюся случайной; 3) меньшую компактность территории распространения [ср. определение ареала как «продырявленного пространства» (*l'espace à trous*)], данное Г. Тюайоном]; Г. Тюайон отмечает, что от компактного диалектного ареала в региональном французском языке чаще всего остаются размытые ареалы (*sporades d'attestation discontinues*) (стр. 16); 4) несистемность характеристик регионального языка — фактор, входящий в его определение, но с явней точки зрения спорный.

Характеризуя языковое состояние современной Франции, Г. Тюайон пишет: «Мы не можем ясно сказать, в каком пространстве явление имеет место, как это говорил Жильерон, а также сделать наблюдение о частоте и условиях реализации в этом пространстве... Обнаружение пространства до сих пор лингвистам давала диалектология» (стр. 29).

Вторым сложным вопросом, требующим обсуждения, является проблема системности региональных говоров. Чтение материалов «Коллоквиума» показывает неслучайный характер именований, как на лексическом, лексико-семантическом, фонологическом уровнях, так и на уровне синтаксическом. Так, например, в статье Ф. Дюма, в которой исследуется лексическая подсистема, убедительно показывается системность региональной лексики, теряющей первичную мотивацию, характеризующейся методичностью и переносами значений по аналогии (*transferts analogiques*). Здесь же, как и в ряде других статей, изучаются черты сходства и различия в общепользуемом французском языке. Системны и наблюдения, связанные с региональными особенностями языка (например, о распределении [a] переднего и [a] заднего в статье Г. Вальтер или деабилитизации фонемы [œ] в [ɛ] в статье Р. Тюайона). Системность региональных явлений обусловлена, с одной стороны, их связью с диалектным субстратом, с другой стороны — с литературным языком. Однако при неустойчивости состояния региональных говоров их системность находится в непрерывном движении, что отнюдь не тождественно отсутствию системы.

Подвижность лексической системы проявляется, например, во взаимоотношениях особенностей региональных говоров и литературной нормы, что отражается в национальных словарях француз-

ского литературного языка. Из-за подвижности и недостаточной изученности региональных говоров спорны случаи включения того или иного слова в нормативные словари. Так, отсутствие лексемы *vendangeur* «нож для срезания гроздьев винограда» во всех известных нормативных словарях, как пишет Г. Тюайон, «вызывает улыбку, хотя должно было бы вызвать возмущение против официальной лексикографии». Интересны материалы региональной лексики в словарях Литтре, Робера, Лярусса. Характеристика этого лексического фонда дается в статье Ж.-П. Шаво, в то время как характеристика и соотношение регионального словаря с диалектным представлены в статье Ж. Салмона и М.-Р. Симони-Орембу.

Из более мелких замечаний хотелось бы отметить два момента: 1) включению в сборник статьи о языке города Перпиньяна (городской полудиалект) может создать впечатление о тождестве принципиально различных понятий «региональный язык»¹ и «язык города»; 2) термин «региональный говор», может быть, следовало бы заменить термином «региональная речь», тем более, что авторы «Коллоквиума» пишут о несистемном характере региональных языков, и проблема остается нерешенной.

В целом чтение материалов «Коллоквиума» представляет большой интерес как для теории, так и для практики языка. В книге обсуждается сравнительно новая проблема региональных говоров, или, как пишет Кр. Шмитт, «региолектов» (*régiolectes*, стр. 225) — терминологическое новообразование по аналогии с диалектами (*dialectes*). Приведенная Кр. Шмиттом историческая характеристика «региолектов» подчеркивает закономерность появления и существования этого лингвистического явления.

Бесспорно то, что региональные говоры лимитированы географически, однако при этом они, как и литературный язык, но в отличие от диалектов, не обусловлены в такой же мере пространством (ареалом). Если говорить о методике исследования регионального языка, то, по видимому, метод анкетирования, разрабатываемый в статьях Ж.-Кл. Потта и М. Говоя, является ведущим методом. Что касается картографирования, то, на наш взгляд, оно представляется здесь менее обязательным, чем картографирование диалектов, поскольку региолекты (региональные говоры), составляющие в своей совокупности региональный язык, теряют непосредственную связь с территорией.

Бородина М. А., Гущина Л. Г.

¹ Калька с французского «la langue régionale».

Б. Татар. Русская лексикография. Анализ одновязочных филологических словарей русского языка, т. I, II, III, Будапешт, 1977. 392 стр.

Из самой природы словаря вытекает необходимость постоянного использования его в преподавательской практике. Одной из главных просветительских целей языкознания вообще и лексикографии в особенности выдающийся лексикограф В. Дорошевский считал «...систематическое развитие способности пользоваться речью и ориентироваться не только в мире вещей, но и в связях между вещами и словами, которые их сигнализируют...»¹. В изучении иностранного языка и в разработке методов его преподавания словарям обычно отводится особенно важная роль. Но ориентироваться в современной лексикографии преподавателям, а тем более учащимся, становится все труднее: с каждым годом семья филологических словарей становится все обширнее. За последние годы появилось много новых видов справочников, отсутствовавших ранее, в частности, в русистике.

Книга венгерского русиста Б. Татара, изданная Будапештским университетом им. Л. Этвеша, может служить хорошим руководством для всех, кто знакомится с русской лексикографией, в особенности, конечно, для преподавателей и студентов-иностранцев. Установка на использование в преподавании сказывается и в подборе материала, и в манере изложения. Но методический аспект — не единственный в книге. Автор останавливается на ряде сложных вопросов теории лексикографии и критически, во многом по-новому оценивает достоинства и недостатки основных словарей русского языка. Автор стремится к тому, чтобы подробное рассмотрение словарей «служило не только информативным заданием, но и способствовало в некоторой степени стимуляции интереса к научному анализу» (стр. 6).

В теоретическом «Введении» и в разделе «Общие замечания», открывающем основную часть работы, указаны задачи теоретической и практической лексикографии как особой отрасли лингвистической науки, примыкающей к лексикологии. Отмечена, в частности, задача оптимизации способов представления лексики языка. В словарях, по мнению автора, раскрывается «подлинная семантическая целостность слова как инвариантной единицы» (стр. 13—14).

Система основных противопоставлений типов словарей, понятий и терминов лексикографии в целом соответствует принятым в современном советском языкознании. Определены термины «словник», «отбор слов», «алфавитный и алфа-

витно-гнездовой» способы расположения материала», «словарная статья» и др.

На конкретном примере демонстрируется различие филологических и энциклопедических словарей, указан также объем и характер лингвистической информации о слове, представленной в филологических словарях различных типов. Для этого рассмотрены словарные статьи на слово *яблоко* в Энциклопедическом словаре, Словаре С. И. Ожегова, семнадцатитомном, фразеологическом, словообразовательном, частотном, этимологическом словарях русского языка. Этот прием демонстрации словарных статей на одно и то же слово или одну и ту же группу слов из разных словарей применяется затем в работе постоянно. С его помощью показано не только различие типов словарей, но и развитие лексикографической техники, изменение в семантике отдельных слов. Очевидна самая непосредственная связь применения сравнительного анализа словарей с практикой проведения занятий по лексикологии и лексикографии.

В основной части работы Б. Татара достаточно подробно описаны 55 важнейших словарей, принадлежащих 25 типам русских филологических словарей и терминологических справочников. Следует заметить, что такого полного описания нет пока и в нашей отечественной литературе, хотя очевидна настоятельная необходимость публикаций и научных обобщений, и учебных пособий по русской лексикографии. Вышедшая 20 лет назад книга Р. М. Цейтлина² и небольшие разделы в учебниках по введению в языкознание и современному русскому языку не могут удовлетворить даже самые скромные потребности вузовского образования.

Анализ современных толковых словарей в книге Б. Татара предшествует краткая историческая справка о рукописных и печатных словарях XIII—XVII вв., о словарях Академии Российской и Второго отделения АН, изданных в XVIII—XIX вв. Подробно рассмотрены Словарь В. И. Даля, Словарь под ред. Д. Н. Ушакова, Словарь С. И. Ожегова, семнадцатитомный и четырехтомный академические словари. К числу немногочисленных в книге фактических неточностей относится указание на то, что Словарь В. И. Даля был издан в 1955 г. «с использованием орфографии современного русского языка...» (стр. 52).

Состав словника, структура словарной статьи, решение проблемы нормативности, характер иллюстративного материа-

¹ В. Дорошевский, Элементы лексикологии и семантики, М., 1973, стр. 15.

² Р. М. Цейтлин, Краткий очерк истории русской лексикографии, М., 1958.

ля, виды толкования — таковы основные моменты в описании каждого из указанных словарей. Большое внимание уделяется подаче в словарях фразеологии. При этом к фразеологии в ряде случаев (стр. 65 и сл.) автор приравнивает составительские речения, заменяющие в однотомном Словаре С. И. Ожегова обычные для многотомных словарей литературные цитаты, а также иллюстративные примеры, в которых показаны смысловые оттенки и употребления, — «с соответствующими пояснениями или с пометой „переносное“ в скобках»³. Принцип смысловой характеристики на уровне слова (значения, употребления), а не словосочетания, принят в нашей одноклассичной лексикография, он, в частности, сохранен и в первом толковом словаре для иностранцев⁴. Широкий показ сочетаемости слова — задача справочников иного рода.

Однако следует заметить, что неизбежно сознательное или бессознательное смешение с фразеологией кратких составительских речений, приводимых в форме так называемых типичных словосочетаний. Смещение даже закономерно в тех случаях, когда сочетаемость слова в той или иной мере ограничена. Сочетания со словами, имеющими фразеологически связанные значения, если и не входят во фразеологию, то по крайней мере примыкают к ней⁵. По-видимому, нуждается еще в обсуждении предложение и в больших словарях заменять литературные цитаты с их индивидуальным речевым и ситуативным фоном, даже «смысловыми приращениями» и «смысловыми оборотами» на краткие речения⁶. Дело в том, что словосочетание создает иллюзию обязательности указанной составителем связи, в то время как широкий контекст демонстрирует речевые потенции слова, а индивидуальность авторского употребления хорошо дополняет именно своей конкретностью обобщенность словарного определения.

К вопросам лексикографической разработки русской фразеологии Б. Татар обращается также в специальных разделах работы, посвященных фразеологическим словарям и словарям словосочетаний. Отмечая неполноту «Фразеологического словаря русского языка» под ред. А. И. Молоткова (М., 1968), автор приводит список сочетаний, не вошедших в словарь. И в этот список попадают со-

четания, разнообразные по характеру, например: *держать путь, добрый путь, до небес, зло берет, проститься с жизнью, расстаться с жизнью, скрыться из виду, смотреть вперед* и т. п. (стр. 166—167).

В учебных словарях словосочетаний, как правило, не разграничиваются свободные и несвободные сочетания, на что справедливо указывает Б. Татар. Однако осмыслена ли задача таких словарей? Термины «устойчивые» или «несвободные» словосочетания, применяемые в названиях таких словарей, по-видимому, являются лишними, так как практически в эти пособия попадает множество типичных, просто часто встречающихся в текстах сочетаний. В общем плане можно согласиться с П. Н. Денисовым, утверждающим, что «понятие сочетаемости является, во-первых, понятием синтаксической синтагматики (лексического синтаксиса), во-вторых, понятием языка, то есть потенциальным свойством виртуального слова. Описание сочетаемости слова вслед за истолкованием его значения является важнейшей частью его адекватной семантизации»⁷. Особые словари сочетаемости служат, таким образом, необходимым дополнением к толковым словарям, и особенно важна их роль в обучении русскому языку иностранцев. Лучшими из вошедших в обзор словарей автор считает те, в которых полно и систематически представлены «синтаксические и лексические особенности, а также лексико-семантическая валентность» слова (стр. 209).

В связи с уже сказанным обратим внимание на следующее замечание автора: «Общим недостатком всех словарей словосочетаний является отсутствие оправдательных примеров, взятых из литературных произведений или же из других источников» (стр. 187).

Этимологические словари русского языка Б. Татар разделяет на три типа: 1) корневой, 2) словообразовательный, 3) словообразовательно-исторический (стр. 94). К первому типу, наряду со Словарем А. Г. Преображенского, отнесен и Словарь М. Фасмера, с чем едва ли можно согласиться, ко второму — «Краткий этимологический словарь», составленный Н. М. Шанским, В. В. Ивановым и Т. В. Шанской, к третьему — Словарь под ред. Н. М. Шанского, выпускаемый Издательством МГУ, и Словарь Г. П. Цыганенко. Правда, в описании основным становится разделение словарей на научные и научно-популярные (учебные). Автор признает высокий научный уровень Словарей А. Г. Преображенского и М. Фасмера (рассматривается русское издание, в переводе и с допол-

³ С. И. Ожегов, Словарь русского языка, 9-е изд., М., 1972, стр. 11.

⁴ «Краткий толковый словарь русского языка (для иностранцев)», под ред. В. В. Розановой, М., 1978.

⁵ В. В. Виноградов, Избранные труды. Лексикология и лексикография, М., 1977, стр. 180 и сл.

⁶ К. С. Горбачевич, Словарь и цитата, ВЯ, 1978, 5.

⁷ П. Н. Денисов, Основные проблемы теории лексикографии. АДД, М., 1976, стр. 37.

нениями О. Н. Трубачева), но с известной сдержанностью относится к «Краткому этимологическому словарю». Указаны также многочисленные пропуски в Словаре Г. П. Цыганенко. Справедливо замечание автора о необходимости предъявлять высокие требования и к учебным пособиям (стр. 109—110), ср. прямо высказанное недавно мнение О. Н. Трубачева: «...есть только одна этимология, а не две — одна для учащейся молодежи, а другая для специалистов»⁸.

В разделе «Исторические словари» характеризуются «Материалы» И. И. Срезневского, в примечаниях даны сведения о таких словарях, как «Материалы» А. Л. Дювернуа, Словарь Н. М. Тупикова, «Материалы» Г. Е. Кочина, выходящий в настоящее время «Словарь русского языка XI—XVII вв.» и составляемый «Словарь русского языка XVIII века».

Раздел «Диалектные словари» включает в себя не только краткие сведения о старых диалектных словарях (таких, как «Опыт областного великорусского словаря» и «Дополнение к Опыту»), но также и обзор диалектного членения русского языка; помещена даже карта из книги К. Ф. Захаровой и В. Г. Орловой «Диалектное членение русского языка». Подробно описаны два современных словаря: «Словарь русских народных говоров» (гл. ред. Ф. П. Филин) и «Словарь современного русского народного говора» (под ред. И. А. Оссоведкого). При характеристике первого из них обращается внимание на определение понятия «диалектизм», на богатство источников и структуру словарных статей, отражающую особенности народного словаря говоров. При анализе «Словаря современного русского народного говора» рассмотрены вопросы, связанные с понятием отдельного говора, и вопросы методики собирания диалектной лексики.

Кратко охарактеризованы в книге Б. Татара «Словарь языка Пушкина», «Крылатые слова» Н. С. Ашукина и М. Г. Ашукиной, «Словарь русских пословиц и поговорок», составленный В. П. Жуковым.

Словари синонимов рассмотрены более подробно. Автор считает необходимым существование словарей синонимов различных типов. При этом, по-видимому, предполагается и возможность различного понимания синонимии — системного, узкого, представленного в двухтомном академическом словаре под ред. А. П. Евеньевой,

и распирительного (Словарь Э. Е. Александровой). Указывая на большие достоинства двух- и однотомного академических словарей, недостатком их Б. Татар считает слишком осторожный подход к включению в состав синонимических рядов фразеологизмов.

Сравнение двух словарей омонимов (О. С. Ахмановой и Н. П. Колесникова) показывает также «неодинаковый подход авторов-составителей к вопросу об омонимии...» (стр. 263). И можно согласиться с автором в том, что «наличие словарей, в которых содержится материал, разработанный с различных — противоречивых — точек зрения... создает ощутимые трудности для специалистов...» (стр. 265). Сравнение двух словарей омонимов (Л. А. Введенской и Н. П. Колесникова) демонстрирует, главным образом, различие в способах подачи материала и глубину его семантической разработки.

Специальные разделы книги посвящены также словарям названий жителей, словарям собственных имен, словарям новых слов, иностранных слов и выражений, орфографическим, орфоэпическим, словообразовательным, обратным, частотным и словарям сокращений. Основная задача, которую автору удается здесь решить, — познакомить венгерских русистов со справочниками, появившимися в советской лексикографии в последние десятилетия.

Разделы «Грамматические словари» и «Словари правилностей, словари трудностей» — подробные, так как знакомство с этими пособиями особенно важно для учащихся и педагогов.

В разделе «Терминологические словари» охарактеризованы словари лингвистических и литературоведческих терминов.

В книге Б. Татара, являющейся учебным пособием, приведены фотокопии титульного листа и страницы текста каждого из рассмотренных словарей. Это представит большое удобство для читателей, которые, по понятным причинам, лишены возможности иметь под рукой все справочники. Особое внимание можно обратить на библиографию: хорошо подобранный список филологических словарей русского языка, в котором перечислено 147 названий, и список основных трудов по русской лексикографии — 78 названий; указаны также библиографические издания.

Работа Б. Татара представляет заметное явление в зарубежной русистике. Венгерские преподаватели русского языка и учащиеся получили хорошее, интересное по замыслу и исполнению учебное пособие.

Дерягин В. Я.

⁸ О. Н. Трубачев, Этимологические исследования восточнославянских языков: словари, ЯЯ, 1978, 3, стр. 18.

А. А. Брагина. Русское слово в языках мира. Книга для внеклассного чтения. — М., «Просвещение», 1979. 192 стр.

Отечественная традиция исследования языковых контактов (она сопряжена с именами Ф. И. Буслаева, С. К. Булича, И. А. Бодуэна де Куртене, Л. В. Щербы, Е. Д. Поливанова, В. М. Жирмунского, М. П. Алексеева и других выдающихся ученых) успешно развивается, расширяется и углубляется также и в наши дни. Правда, все же нельзя не отметить, что иноязычные заимствования в русском языке¹ кодифицированы полнее и лучше, чем русизмы в иностранных языках. Эта диспропорция представляется досадной, особенно в связи с возросшей ролью русского языка как средства межнационального и международного общения и в свете явной интенсификации влияния этого языка на другие языки нашей страны и всего мира. Новая книга А. А. Брагиной как раз и содержит анализ такого влияния и, следовательно, является весьма своевременной.

В небольшом введении поставлены вопросы («Как и когда проникают русские слова в другие языки? Что может донести до наших дней слово? Что сохранило оно из русской истории... что внесло в другой язык и как сложилась его жизнь в других языках?»; стр. 3), которыми определена основная цель книги. Здесь четко формулируется филологическая позиция автора: русизмы в иностранных языках воспринимаются как «свидетели» культурных взаимодействий и взаимобогащения, причем, по мнению А. А. Брагиной, как бы ни было ассимилировано чужое слово, оно «очень долго, а иногда и всю свою жизнь несет отпечаток прежнего существования, отпечаток образа мыслей, чувств, представлений другого народа» (стр. 8). Эта точка зрения в известной мере проблематична: мы привыкли думать, что Fremdwörter лишь какое-то время сохраняют фонетические, морфологические и семантические приметы своего иноязычного происхождения, а затем переходят в Lehnwörter, т. е. слова, ко-

торые в синхронном плане и в обыденном массовом сознании ничем не отличаются от исконной лексики. Между тем высказанное А. А. Брагиной теоретическое положение отнюдь не просто декларировано ею, а подтверждено немалым фактическим материалом: так, в языке калифорнийских индейцев (пусть редкие) заимствования из русского все еще воспринимаются как русизмы, хотя прямые контакты с носителями языка прекратились полтора века назад (стр. 51—52)²; русизмы, вошедшие в английский язык в XVI—XVII вв., все еще сохраняют русский колорит и остаются источниками важных страноведческих сведений (стр. 46) и т. д. Таким образом, одним из важных положений, которыми обогащается лингвистическая теория, можно считать вывод автора о перманентной гетерогенности словарного состава национального языка.

Другим существенным результатом мы склонны признать мысль исследовательницы, согласно которой заимствование, не отрываясь от языка-источника и от обслуживаемой им культуры, одновременно живет в заимствующем языке самостоятельной жизнью, вступает в отношения словопроизводства и словосложения, развивая собственную семантику, вызывает разнообразные (в том числе эстетические) ассоциации и т. д. Данная мысль поддержана обильным и интересным материалом первой главы: так, хотя заимствованное английским языком слово *sputnik* «уже в своем звуковом облике заключало информацию — „русский, советский“» (стр. 16)³, это не мешало слову приобрести на иноязычной почве как новые значения («некто впервые совершаемое, имеющее первостепенное значение для всего человечества»; стр. 19), так и новую структуру (*sputnik* «собака, летавшая на спутнике», словосложение из *sputnik* и *rip* «собака, щенок»), а также в результате конверсии стать глаголом (ср. *sputnikked* «имеющий спутник»; стр. 20). В этой же главе А. А. Брагина разбирает влияние достижений СССР в космосе на западноевропейские языки

¹ Назовем для примера несколько публикаций последних лет: Л. П. Крысин, Иноязычные слова в современном русском языке, М., 1968; Е. Э. Биржакова, Л. А. Войнова, Л. Л. Кутина, Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования, Л., 1972; В. М. Аристова, Англо-русские языковые контакты (англизмы в русском языке), Л., 1978. Много потрудились в области иноязычных заимствований в русский язык профессор Венского университета Г. Хюттль; см.: G. Hüttl-Worth, Die Bereicherung des russischen Wortschatzes im XVIII. Jahrhundert, Wien, 1956; е е ж с, Foreign Words in Russian, California, 1963.

² Всестороннее описание роли русских на североамериканском континенте см.: А. И. Алексеев, Судьба Русской Америки, Магадан, 1975.

³ Заимствование прочно вошло в английский язык, оно фиксируется всеми словарями, вышедшими в Великобритании и США в последние годы, в том числе самыми краткими. Так, оно представлено в карманном «The New American Webster Handy College Dictionary» (New York, 1972), причем в семантизации подчеркивается связь с нашей страной («artificial satellite, esp. one launched by U.S.S.R.»).

и приходит к примечательному заключению: научные термины, попадая в массовый обиходный язык, становятся источниками сведений о той культуре, в языке которой они родились. «Словарь терминов, в данном случае астронавтикокосмических, оказывается не только языковым (лингвистическим) справочником, но и лингвострановедческим, так как вместе с разъяснением слов сообщает сведения из истории страны, ее культуры и науки» (стр. 34). Приведенная мысль противоположна «распространившемуся мнению о полной интернациональности научно-технической терминологии и, на наш взгляд, справедлива»⁴.

Сходной проблематике уделено в книге много внимания: А. А. Брагина вслед за другими учеными⁵ убедительно показала, что так называемые интернационализмы отнюдь не безнациональны, что им национально-культурная семантика присуща не в меньшей степени, чем лексике исконного происхождения. Так, слово *интеллигенция* возникло на латинской основе, но именно на русской почве оно «имело свой собирательный смысл, означало новую социальную силу» (стр. 64–65). В этом значении слово вошло во многие языки⁶, в том числе парадоксальным образом «и в язык-источник — французский, где нет соответствующего ему своего французского эквивалента» (стр. 65). В свете сказанного примечательно (и глубоко правильно!), что исследовательница назвала «интернационализм» *интеллигенция* русизмом.

Разбираемая книга содержит изложение истории заимствования русской лексики западноевропейскими языками: начиная с заимствования безэквивалентных слов (по терминологии А. А. Брагиной, «слов-вещей») и кончая широким и интенсивным проникновением советизмов, отражающих явления нового общественного строя, и других «слов-идей». Тыся-

четлетняя история контактов русских с народами Центральной и Западной Европы не могла не оставить следа и в языках этих народов: например, В. С. Лизунов со ссылкой на З. Кольса насчитывает 230 лексических единиц⁷, проникших в немецкий язык до 1917 г., причем большинство из них отражает специфику географии, истории, культуры России: *Steppe* «степь», *Droschke* «дрожки», *Podsol* «подзол», *Byline* «былина», *Chorowod* «хоровод» и т. д. А. А. Брагина преимущественное внимание направляет на заимствование русских «слов-вещей» английским языком (стр. 65 и сл.). Что же касается «слов-идей», то наряду с обычным заимствованием⁸, русское влияние все чаще приобретает форму морфологического и семантического калькирования (ср., например, «пятилетний план» — *Five-Year-Plan* и *Fünfjahrplan*; нем. *Brigade* значило только «войсковое соединение», а сейчас значит также «производственная группа»). Анализируя заимствование русской лексики западноевропейскими языками, А. А. Брагина всячески подчеркивает, что, хотя мы рассматриваем, казалось бы, сугубо языковые контакты, на самом деле речь идет о культурном обмене между народами: «заимствованные русизмы и советизмы в чужом языке являются как бы зеркальными отражением нашей жизни» (стр. 85).

В самостоятельных главах описываются русские имена на карте мира (стр. 143 и сл.) и роль переводов в популяризации русского слова (стр. 159 и сл.).

В заключительной части своей работы А. А. Брагина так выражает сдержанную мысль книги: «...ряды заимствованных слов, расположенные во временной последовательности, — это летопись роста страны, роста ее международного престижа, ее политического, культурного и научно-технического потенциала» (стр. 186).

Книга А. А. Брагиной, как и любое другое интересное исследование, содержит положения, о которых можно спорить, и материал, допускающий различия в интерпретации. Так, по нашему мнению, не проводится разграничения между заимствованной (широко употребляемой, всем известной и ассимилированной) лексикой и лексикой используемой, т. е. встречающейся в речи отдельных (как правило, двуязычных) лиц для создания местного колорита и не находящей повсеместного признания

⁴ Наша позиция в развитом виде изложена в ст.: Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, Национально-культурный компонент семантики терминологической лексики и лингвострановедение, «Русский язык за рубежом», 1977, 6.

⁵ См., например: Р. А. Будагов, Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени, М., 1978, стр. 233–247. Здесь рассмотрена «русская семантика» таких интернациональных по происхождению слов, как *авангард*, *прогресс*, *политический*, *социальный*, *планировать*, *рационализировать*. Ср. также ключевые для нашей эпохи слова-советизмы *коллективизация*, *индустриализация* и др.

⁶ Например, оно представлено в упомянутом карманном Вебстере: *intelligentia*: the highly educated classes; the intellectuals.

⁷ В. С. Лизунов, Русский язык в ГДР и ФРГ (историческое и социолингвистическое исследование). КД, М., 1976. Жаль, что эта интересная и богатая материалом работа не учтена в рецензируемой книге.

⁸ Списки такой лексики приведены на стр. 75 и сл.

(даже и в случае словарной фиксации). Например, в число заимствований А. А. Брагина действительно включает слово *jarovization*, *jarovizing*, *Jarovisation* (стр. 75, 89). Между тем перед нами не общезначимое слово, а сельскохозяйственный термин, смысл которого не для всех русских ясен (не случайно сам автор на стр. 113 поясняет его). Интенсивное употребление этого термина было вызвано проходящими обстоятельствами. Едва ли, таким образом, перед нами подлинное заимствование⁹. На стр. 125 среди «...фразеологизмов, калькированных чешским языком из русских образцов»¹⁰, указан афоризм *кто не работает, тот не ест*. Между тем эта фраза как раз для русского языка не является исконной: Михельсон и Ашукны ссылаются на Горация и особенно на новозаветный источник¹¹. Афоризм этот встречается во всех европейских языках (в немецком: *so jemand nicht will arbeiten, der soll auch*

nicht essen; в английском: *if any would not work, neither should he eat* и т. д.); будучи библеизмом, он представлен и в чешском языке. На стр. 78 греческие слова написаны, к сожалению, не без ошибок. Однако мелкие замечания ни в коей мере не скываются на высоких достоинствах рассматриваемой книги.

Хочется в заключение сказать несколько теплых слов в адрес издательства «Просвещение», которое уже выпустило¹² и продолжает публиковать интересную серию лингвистических книг и брошюр, адресованных старшесеклассникам. Дело популяризации науки — благородное дело, и книги по лингвистике для учащихся старших классов действительно вводят в «мир знаний», выполняют важную общеобразовательную и гуманистическую роль. Книжкой А. А. Брагиной эта серия значительно обогатилась. Обогащалась также и лингвистическая теория.

Верецагин Е. М., Костомаров В. Г.

⁹ Подробнее о разграничении заимствованной и используемой лексики см.: Е. М. Верецагин, Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма), М., 1969, стр. 55 и сл.

¹⁰ Вероятно, лучше было бы сказать: по русским образцам.

¹¹ М. И. Михельсон, Ходячие и меткие слова, СПб., 1896, стр. 254; Н. С. Ашукны, М. Г. Ашукны, Крылатые слова, М., 1955, стр. 287.

¹² В течение последних лет вышли в свет: В. Г. Костомаров, Русский язык среди других языков мира, М., 1975; В. В. Одинов, Лингвистические парадоксы, М., 1976; В. В. Колесов, История русского языка в рассказах, М., 1976; Л. П. Крысин, Язык в современном обществе, М., 1977; Л. В. Сахарный, Как устроен наш язык, М., 1978.

«Etymologie», hrsg. von R. Schmitt — Darmstadt, «Wissenschaftliche Buchgesellschaft», 1977. 467 стр. («Wege der Forschung», CCCLXXIII).

Лингвистическая наука в последние десятилетия все больше характеризуется склонностью к максимальной теоретической законченности своих постулатов (нередко облекаемых в абстрактную или математизированную форму), постоянным стремлением к новшествам в области теории (часто лишь терминологическим) в ущерб кропотливому исследованию фактов языка, столь типичному для младограмматиков. Важно иметь в виду, что крупнейшие представители лингвистической науки (Остгоф, Вакернагель, Шухардт, Мейе и др.), независимо от того, на каких теоретических основаниях строились их исследования и в каких областях лингвистики они проводились, неизменно занимались этимологией, которую считали необходимой предпосылкой, «пробным камнем» изучения языка в любом его аспекте. В этой связи Я. Малькель остроумно назвал современный этап в развитии языкознания «age of debating» в отличие от предшествующего «age of reading». Именно поэтому этимологические исследе-

дования совершенно незаслуженно оказались ныне как бы на периферии лингвистической проблематики, чему, безусловно, способствовала унаследованная еще от прошлого века шаткость и ненадежность основных приемов анализа в этой отрасли лингвистики, на что неоднократно указывалось в специальной литературе. Отметим, что этимология оказалась и наиболее консервативной отраслью языкознания: уже в течение более ста лет она упорно остается на теоретических позициях младограмматизма и всячески сторонится влияния других лингвистических концепций, хотя попытки введения новых методов в этимологию неоднократно предпринимались. Во всяком случае лингвистические теории, возникшие после младограмматизма, не оказали сколько-нибудь ощутимого воздействия на суть этимологической методики. С другой стороны, и новые лингвистические теории в очень незначительной мере воспользовались всем богатством фактических данных, полу-

ченных на основе этимологических исследований¹.

Преодолению теоретических трудностей, возникающих при этимологическом анализе, в немалой степени может способствовать не только определенная теоретическая переориентация (целесообразность, необходимость и степень такой переориентации не всегда одинаковы), но и беспристрастная оценка и творческое переосмысление научных традиций прошлого². Именно поэтому следует всерьез приветствовать выпуск сборника, в котором в хронологическом порядке воспроизводятся напечатанные в различных (ныне труднодоступных) периодических и неперiodических изданиях статьи, посвященные принципам этимологических исследований в индоевропейских языках. Приводимые в сборнике восемнадцать статей принадлежат перу виднейших лингвистов прошлого и настоящего (Р. Турнайзен, Ф. Клюге, В. фон Вартбург, В. И. Аббаев, О. Н. Трубачев, П. Шантрен) и подобраны таким образом, что в своей совокупности фактически составляют своеобразную документальную историю этимологии, каждый раздел которой написан самим автором соответствующей концепции или представителем той или иной школы. Книга издана в интересной и, к сожалению, мало у нас известной серии «Пути исследования» («Wege der Forschung»), в которой ранее уже вышли фундаментальные сборники, посвященные структурной семантике (т. CCCXXXVI), интерлингвистике (т. CCCXXV), психоллингвистике (т. CXCI), социоллингвистике (т. CCCXIIIV), изучению профессионализмов (т. CCCXXV), заимствований (т. DXV), креольских языков (т. ID), лингвистики текста (т. CCCXXVII) и классификации языков (т. XXXIV).

¹ Y. Malkiel, *Etymology and modern linguistics*, «Lingua», 36, 1975.

² Своеобразной реакцией на узость и односторонность младограмматического подхода к этимологии, ориентировавшегося исключительно на звуковые соответствия и придававшего лишь второстепенное значение соответствиям семантическим, было следующее высказывание М. Мюллера, сделанное в период господства младограмматизма: «Etymology is indeed a science in which identity or even similarity whether of sound or meaning is of no importance whatsoever. Sound etymology has nothing to do with sound. We know words to be of the same origin which have not a single letter in common and which differ in meaning as much as black and white» (M. Müller, *Lectures in the science of languages*, London, 1875, стр. 242). Хотя истинное положение вещей в этом высказывании, безусловно, в значительной мере упрощено и утрировано, оно, тем не менее, представляет ценность в том отношении, что обращает

весьма отраднo, что в книгу включены этимологические исследования лингвистов разных специальностей — романистов, германистов, славистов, иранистов. Объем книги, к сожалению, не позволял издателю включить в сборник по нескольку статей одного автора, даже если эти статьи представляют самостоятельный интерес. В сборнике совершенно отсутствуют и работы, основанные на материале восточных языков. Представленные в сборнике авторы являются ведущими специалистами в области этимологии, однако странно, что в книге нет статей таких виднейших лингвистов, как А. Мейе, Э. Бенвенист и др. Нет в сборнике и статей испанских (А. Товар и др.) и итальянских (В. Пизани, Дж. Девото и др.) лингвистов, внесших существенный вклад в развитие этимологии. Рецензируемый том посвящен рассмотрению научной этимологии и не касается так называемой «народной этимологии», которой, как указано в Предисловии, будет посвящен отдельный сборник.

Как бы введением к рецензируемой книге является известная статья В. Зандерса «Grundzüge und Wandlungen der Etymologie» («Wirkendes Wort», 17, 1967), в которой подробно излагается история разработки этимологических проблем от античности до наших дней. Как известно, в древней Греции и Риме, а также в средние века этимология оперировала главным образом сближением «согласных» слов, а также звуковой и религиозной символикой. При этом с точки зрения формы учитывались процессы *demptio*, *additio*, *tractatio* и *commutatio litterarum*, а в плане значения — риторические фигуры *similitudo*, *vicinitas*, *abusio*, *contrarium*³. Не подлежит сомнению, что подлинно научная этимология появилась лишь после создания сравнительно-исторического метода и установления звуковых соответствий. Не менее верно, однако, что учет только формальной стороны сближаемых слов не может явиться основой надежной

внимания на некоторые аспекты языковой реальности, нередко упускаемые из виду: в отличие от органических объектов, язык является в первую очередь социальным феноменом, в котором диалектически переплетаются категории свободы и необходимости, прерывности и непрерывности, отдельного и целого, взаимодействия которых наиболее ярко проявляется в различных возможностях комбинаторики.

³ Ср. R. K l i n c k, *Die lateinische Etymologie des Mittelalters*, München, 1970; «Verbum et signum. F. Ohly zum 60 Geburtstag», hrsg. von H. Fromm, W. Harms, U. Ruberg, I—II: Beiträge zur mediävistischen Bedeutungsforschung, München, 1976.

этимологии⁴. Если бы мы не знали значений сопоставляемых слов, то не смогли бы соотнести их и фонетически с определенными словами и родственными языкам или соотнесли бы их с другими словами. Вместе с тем в семантике в связи с асистемным характером тех ассоциаций, на которых основано «развитие» значений большинства слов, до сих пор нет каких-либо твердых критериев анализа, причем толкование значений слов фактически проводится в рамках тех же риторических фигур, которые господствовали в древности. На это последнее обстоятельство справедливо указывается в статье Э. Таппола «Phonetik und Semantik in der etymologischen Forschung» («Archiv für das Studium der neueren Sprachen», CXV, 1905). Следует добавить, однако, что применявшиеся в древности принципы формального анализа слова вовсе не лишены определенности смысла, особенно если принять во внимание часто игнорируемые явления акронимии и акрофонии. Можно, в частности, полагать, что так называемые расширители корня в индоевропейских языках (в смысле П. Перссона) в ряде случаев представляли собой начальные буквы или слоги тех или иных слов (в том числе и незасвидетельствованных). Нельзя упускать из виду и следующий факт, весьма важный для этимологии: несоместимость языковых элементов в системе может вести не только к их элиминированию, но и к слиянию, причем не только в фонетике (синалефа, образование силлабофонема и др.) и в грамматике (ср. амальгамы типа нем. *von + dem* > *vom*, *zu + dem* > *zum*, *in + dem* > *im*, франц. *de + le* > *du*, *à + le* > *au*), но и на лексико-семантическом уровне (ср. комбинаторное «разложение» значений одних лексем в пределах большего или меньшего числа других, для которых это значение генетически является чуждым; образование слов, соответствующих алфавитному названию первой буквы тех или иных лексем; опрощение, особенно в случаях, когда опрощенные слова не

представлены в языковых памятниках, и др.). Очень интересны случаи усечения части сложного слова. В этом отношении весьма поучительна новая этимология слова *caviar* «икра осетровых рыб», распространенного в большинстве европейских языков и в некоторых восточных языках: греч. *ταρχαζυάριν* > *χαζυάριν* «pickled (fish) roe»⁵. Важно учитывать также контаминацию формы и значения внешне сходных лемм и глосс при переписке древних рукописей, что позволяет исключить ряд случаев мнимого семантического развития. Нетизоморфизма между комбинаторикой количества (как в отношении протяженности отдельных единиц, так и континуумов, которые они образуют или в которые входят) и качества (имеется в виду качественный состав отдельных компонентов ряда и их значение) на лексико-семантическом уровне и аналогичной комбинаторикой в фонологической плоскости⁶: в первом случае лингвистические отношения и системные связи, а также возможности их исследования намного сложнее. О том, что комбинаторные отношения в лексике и семантике действительно существуют, наиболее наглядно свидетельствует наличие синонимических рядов, элементы которых во многих случаях принимают не свойственное им изначально значение именно под влиянием комбинаторных факторов, а также наличие так называемых связанных («идиоматических») сочетаний слов, особое значение которых выступает только в определенном лексико-семантическом окружении (ср. франц. разг. *faire le poireau* «ждать», фракц. арг. *avoir les copeaux* «бояться»). С этими последними случаями интересно сопоставить примеры «связанности» реликтового префиксального элемента *ge-* и глагольной основы в пределах одного слова

⁵ D. J. Georgacas, *Etymological terms for the sturgeon and ichthyology of the international terms botargo, caviar and congeners*, Athens, 1978. Книга Д. Георгакаса содержит ряд интересных соображений относительно общей теории этимологии.

⁶ Отметим, что некритическое перенесение понятия различительных признаков, выделяемых в фонологии, на лексико-семантический уровень привело к широко распространенному методу анализа по непосредственно составляющим. Метод этот носит произвольный характер и по своим результатам мало отличается от метода субъективного толкования значений: в обоих случаях выявляются не факты, а возможности фантазии того или иного исследователя. В равной мере и попытки так называемого «сложения смыслов» не привели к положительным результатам, поскольку языковые элементы несут, как правило, сугубо неаддитивный характер.

⁴ Еще Г. Шухардт указывал, что учет так называемой «фонетической просодии» (позиция в слове, акцентные отношения, ассимиляция, диссимиляция, аналогия и др.) в каждом отдельном случае в значительной мере способствовал бы пересмотру ряда фонетических закономерностей, ибо нередко «одни и те же» звуки при ближайшем рассмотрении оказываются различными по своему происхождению и функциональному статусу в системе. Интересно, в частности, что явление аналогии, которое обычно рассматривается в качестве «нарушителя» фонетического порядка, в ряде случаев могло явиться причиной для создания иллюзии такого порядка (т. е. тех или иных закономерностей).

(при определенном смещении значения всего комплекса) в нем. *hören* «слышать» — *gehören* «принадлежать» — *aufhören* «прекратить» (в последнем случае живой префикс используется в не свойственной ему функции), *fallen* «падать» — *gefallen* «нравиться», *brauchen* «нуждаться» — *gebrauchen* «использовать» и др. Интересно также сохранение в языке давно исчезнувших слов в пределах сложных лексем (ср. нем. *Orlogsschiff*, *Schellhengst*, *Walfeld*, *Werwolf*, *Zeidelmeister*.) Важно, однако, отметить, что определенная качественная и количественная «связанность» лексико-семантических элементов (при определенной «реакции» последних, т. е. смещении их вещественного значения, или без каких-либо «реакций», что также значимо для внутреннего строения системы) нередко наблюдается в языке и в тех случаях, где чисто внешне такая «связанность» совсем не очевидна. Ярким примером комбинаторных (дистрибутивных) отношений между элементами лексико-семантической системы является процесс их аттракции⁷.

Одним из важнейших принципов лингвистической комбинаторики является и з а б и р а т е л ь н о с т ь: отнюдь не все слова, выступающие в языке как синонимы или омонимы, при прочих равных условиях, с неотвратимой необходимостью должны были соответственно принять синонимичное значение или форму, сходную с внешним обликом других слов в языке. Об этом говорит хотя бы тот факт, что слова, представленные как синонимы и омонимы в каком-либо языке, в близкородственных языках не всегда и не везде выступают как таковые. С другой стороны, синонимы и омонимы никак нельзя признать случайностью: они обычно являются результатом различных комбинаций лексико-семантических элементов в синхронии. Языковая комбинаторика обязательно подразумевает определенные условия организации элементов, в связи с чем нередко происходит нивелирование различных по своему происхождению лексем и значений и включение их в единый функциональный континуум, и наоборот, разрыв естественных связей между словами и значениями, их функциональное опрощение. Именно поэтому внешние проявления тех или иных лексем и значений следует с большой осторожностью привлекать в качестве фактов в конечной инстанции при лексико-семасиологических и этимологических исследованиях.

В статье Р. Турнайзена «Die Etymologie. Eine akademische Rede» (Freiburg,

1905) поднимается исключительно важный, но часто предаваемый забвению вопрос о соотношении индивидуальных и социальных факторов в развитии языка и, в частности, о влиянии ошибок в быстрой разговорной речи на звуковые изменения, о роли гиперкоррекции в преобразовании внешнего облика и значения слов и др. Будучи решительным противником так называемой «гомологии» в языке, Р. Турнайзен подчеркивает необходимость приписать этимологии более гуманитарный и менее механический характер. Следует отметить, что эти мысли автора и сейчас, через семьдесят три года после опубликования статьи, звучат современно.

В статье В. Кюте «Aufgabe und Methode der etymologischen Forschung» («Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur», 14, 1911) указывается на тесную связь истории языка с этимологией: историк языка устанавливает этимологию того или иного слова, а этимолог на основе этого исследует роль данного слова в становлении и развитии языка. В связи с этим рассматривается вопрос о возможностях исследования заимствований в индоевропейских языках, о сложных словах, получивших внешний облик простых в результате опрощения, и др.

В статье Г. Ломмеля «Etymologie und Wortverwandschaft» («Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur», 18, 1915) обращается внимание на важность исследования строения корня при этимологическом анализе и указывается на произвольность критериев, на которых строится установление границ корня в индоевропейских языках, особенно в связи с выделением так называемых расширителей (детерминативов). К статье Г. Ломмеля по своей тематике примыкает статья М. Лоймана «Grundsätzliches zur etymologischen Forschung» («Gnomon», 9, 1933), в которой, в частности, указывается, что только в том случае, если расширитель наделен определенной функцией в пределах той или иной группы слов, он может быть принят во внимание при этимологическом исследовании. В сборнике помещена статья известного романиста В. фон Бартбура «Grundfragen der etymologischen Forschung» («Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung», 7, 1931), в которой выделяются два вида этимологии — внешняя (учитывающая историю культуры, влияние писателей на язык, социальную историю слова, заимствования и др.) и внутренняя (учитывающая взаимовлияние формы и значения сосуществующих слов и в связи с этим контаминацию омонимов в синхронии, образования по аналогии и др.).

В статье Г. Дроздовского «Zur etymologischen Forschung» («Forschungen und Fortschritte», 31, 1957) подчеркивается важность для этимологического исследо-

⁷ См.: М. М. Маковский, Теория лексической аттракции, М., 1971; его же, Системность и асистемность в языке. Опыт исследования антиномий в лексике и семантике (в печати).

вания семасиологических параллелей, т. е. типологии определенных тенденций семантических переходов, которые, по мнению автора, необходимо принимать во внимание, несмотря на то, что каждое слово имеет свою историю (во времени, на определенной территории, в обществе и др.). Кроме того, Г. Дроздовский, как и В. фон Вартбург, совершенно справедливо придает большое значение исследованию «Umwelt der Wörter».

В статье Р. Балдингера «L'étymologie hier et aujourd'hui» («Cahiers de l'Association Internationale des Etudes françaises», XI, 1959) подчеркивается то обстоятельство, что история слова предполагает его вхождение в несколько различных систем на уровне значения, формы, понятия (слова и вещи) и др., в связи с чем особую важность приобретает изучение морфо-семантических полей (в смысле Гиро) и выявление формальных и семантических контаминаций, отрицательно влияющих на выявление верной этимологии⁸.

В статье Ж. Вандриеса «Sur l'étymologie croisée» («Bulletin de la Société de linguistique de Paris», 51, 1955) справедливо указывается на то, что в практике этимологических исследований нередко приходится сталкиваться с возможностью возмездия одного и того же слова к нескольким различным корням, что допускается также и фонетическими соответствиями. Автор допускает, что то или иное слово может восходить к двум и более различным прототипам, которые подвергались в прошлом перекрестной контаминации.

В сборник включены известные статьи О. Н. Трубачева «Лингвистическая география и этимологические исследования» (ВЯ, 1959, 1) и В. И. Абаева «О принципах этимологического исследования» («Вопросы методики сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков», М., 1956), давно вошедшие в золотой фонд этимологической науки. Весьма интересна статья О. Семереньи «Principles of etymological research in the Indo-European languages» («Innsbrucker Beiträge für indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft», 10—15, 1961), где сформулированы методические принципы, которые, по мнению автора, могут служить критерием при этимологизировании того или иного индоевропейского слова (О. Семереньи рекомендует искать «более экономное» решение в слу-

чаях, если при сопоставлении выявляются фонологические и словообразовательные затруднения или необычное семантическое развитие, а также обращает внимание на то, что не следует слово, встречаемое лишь в одном языке, считать общим для целой семьи языков, выделяет случаи возможности и невозможности заимствования и др.). В статье Я. Малькея «Etymology und general linguistics» («Word», 18, 1963) делается попытка определить место этимологии среди других лингвистических дисциплин, в частности, справедливо критикуется понимание этимологии как своего рода «искусства» толкования слов, дается типология этимологических исследований и рассматривается ряд наиболее типичных проблем, возникающих при этимологизировании (этимологические универсалии, соотношение этимологии и грамматики, уникальность и сложность этимологических решений и др.). Заслужой Я. Малькея является то, что он в течение многих лет публикует статьи, в которых наглядно и на большом материале показывает, что в ряде случаев сложные факты языка как бы противостоят тем прямолинейным методам, которые применяются ныне для этимологического исследования⁹.

В статье Л. Киппа «Versuche zur Aufstellung von etymologischen Formeln» («Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae», XIII, 1967) утверждается, что так называемые «этимологические формулы», впервые введенные А. Россом и впоследствии примененные Э. Хампом и Дж. Рудницким, имеют большую ценность при конкретном исследовании, несмотря на резкую критику этих формул со стороны В. Н. Топорова («О некоторых теоретических основаниях этимологического анализа», ВЯ, 1960, 3).

В статье известного специалиста по классической филологии П. Шантрена «Etymologie historique et étymologie statique» («Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques de l'Académie royale de Belgique», 5-e série, LVI, 1970) обращается внимание на важность исследования не только истории слов, но и тех особых словообразовательных, семантических и формальных связей, которые устанавливаются между различными элементами словаря в синхронии. Структурным методом в этимологии посвящена интересная статья К. Колера «Etymologie und strukturelle Sprachbetrachtung» («Indogermanische Forschungen», 75, 1970). По его мнению, в этимологии следует сочетать новые эмпирические данные и общую лингвистическую теорию, особенно в случаях, дающих возможность исключить атомарный подход и опору на произвольную фантазию исследователя. К сожалению, как

⁸ На важность системного исследования на лексико-семантическом уровне одним из первых указал Р. М. Майер (R. M. Meyer, Bedeutungssysteme, KZ, 43, 1910). Практика, однако, показывает, что и в рамках системного анализа вполне возможны атомистические исследования (ср., например, так называемый компонентный анализ).

⁹ Ср.: Y. Malkiel, Essays on linguistics themes, Oxford, 1968.

справедливо отмечает автор, многие так называемые структурные методики (например, ономастология, исследование семантических полей) по сути дела носят неструктурный характер. Следует добавить, что пока еще не удалось в такой степени усовершенствовать лингвистическую теорию, чтобы не допустить в той или иной мере проникновения в этимологию произвольных и случайных построений, ведущих к множественности этимологических решений, хотя, как показывают последние исследования, вполне возможны несколько этимологических связей одного и того же слова на протяжении его истории. При всех условиях вряд ли оправданием несовершенства техники этимологизирования может служить известный принцип: *«inter virtutes grammaticae mento reputatum est antiquus aliquis nescire»*. Сборник завершается статьей С. Ульмана «Semantik und Etymologie» (S. Ullmann, Sprache und Stil, Tübingen, 1972), в которой автор старается доказать преимущества этимологического анализа при исследовании ассоциативных полей.

Огромный практический интерес и теоретическая значимость рецензируемой книги не подлежат сомнению: перед нами своего рода этимологическая энциклопедия, в которой анализ обширного и малоизвестного фактического материала из самых различных индоевропейских языков сочетается с изложением в исторической перспективе различных приемов этимологического анализа.

Огромный практический интерес и теоретическая значимость рецензируемой книги не подлежат сомнению: перед нами своего рода этимологическая энциклопедия, в которой анализ обширного и малоизвестного фактического материала из самых различных индоевропейских языков сочетается с изложением в исторической перспективе различных приемов этимологического анализа.

Маковский М. М.

И. Ю. Алироев. Сравнительно-сопоставительный словарь отраслевой лексики чеченского и ингушского языков и диалектов. — Махачкала, Чечено-Ингушское книжное изд., 1975. 387 стр.

Рецензируемое исследование И. Ю. Алироева является на две части — собственно словарь (стр. 20—352) и очерк, посвященный фонетико-морфологической и семантической характеристике отраслевой лексики (стр. 353—383). Работу предваряет «Предисловие» (стр. 3—16), написанное ответственным редактором книги А. С. Куркиевым. В нем дается обстоятельный анализ материалов словаря и принципов его построения, отмечается ценность и значение словаря «для постановки и разработки многих теоретических проблем нахского языкознания» (стр. 14).

Словарь содержит свыше 18 тысяч слов трех языков (чеченского, ингушского и бацбийского) с учетом четырех основных диалектов чеченского языка (аккинского, чебердоевского, кистинского и итумкалинского; ингушский и бацбийский языки, как известно, в диалектном отношении не дифференцированы). В основу исследования положен полевой материал, собранный автором на территории Чечено-Ингушетии, а также Грузии и Дагестана, где проживают носители бацбийского языка, кистинского и аккинского диалектов.

«Сравнительно-сопоставительный словарь» включает в себя 2617 статей и состоит из следующих разделов: «Неживая природа», «Названия растений», «Неразумные существа», «Названия домашних и диких птиц», «Названия рыб, земноводных, пресмыкающихся, насекомых, их личинок и некоторых животных, связанных с ними, и др.», «Человек», «Анатомия», «Физические и другие недостатки и пороки человека, а также отдельные имена, связанные с понятием о человеке», «Названия болезней человека и животных, лекарств и отдельных понятий, связанных

с ними», «Названия, связанные с трудовой деятельностью человека», «Названия, связанные со свадебными обрядами», «Названия, связанные с досугом человека», «Названия, связанные со смертью человека», «Торговая терминология, деньги, меры веса и измерения», «Религиозная терминология», «Социальная терминология», «Научная терминология, письменные принадлежности и т. д.», «Абстрактные понятия», «Разные названия», «Этнонимика», «Глаголы», «Остальные части речи». Некоторые разделы являются на ряд подразделов или тем. Так, раздел «Неживая природа» включает в себя темы: «Названия, связанные с землей, почвой, рельефом», «Астрономическая терминология», «Атмосферные явления природы и названия, связанные с водой», «Названия времен года, дней недели, частей суток», «Названия металлов и других полезных ископаемых, а также красок» и т. д.

Лексемы расположены в алфавитном порядке, и каждое слово со всем относящимся к нему материалом образует самостоятельную словарную статью. Строение последней таково: вначале даются чеченские формы, в скобках указывается их аффикс мн. числа; классные показатели; русский перевод, данные ингушского и бацбийского языков, чебердоевского, аккинского, кистинского и итумкалинского диалектов с указанием соответственно числа и класса.

Как отмечено в «Предисловии» (стр. 8), автор Словаря поставил перед собой следующие задачи: 1) выявить названия, касающиеся земли, почвы, рельефа, небесных тел, явлений природы, времен года, дней недели, частей суток и т. д.; 2) зафиксировать названия флоры и фауны; 3) выявить названия, связанные

с жизнедеятельностью, анатомией и физиологией человека и животных; названия старинных обрядов; 4) выявить и систематизировать термины торговой, религиозной, социальной и научной терминологии; 5) отобразить те старые названия, представленные в виде устаревших слов (историзмов и архаизмов), которые дожили до наших дней, но почти не употребляются в современном чеченском и ингушском языках; 6) показать особенности отраслевой лексики нахских языков в сравнительно-сопоставительном плане.

Известно, что нахское, а вместе с ним и все кавказское языкознание испытывало до последнего времени насущную потребность в подобном исследовании, ибо на фоне сравнительно глубокого изучения грамматических явлений нахских языков их отраслевая лексика оставалась белым пятном. Сбор и систематизация лексики, осуществленные автором, имеют большое значение как в синхронном, так и в диахроническом аспектах. Вместе с ранее выпущенными «Сравнительно-исторической лексикой дагеставских языков» (М., 1971) и «Сравнительно-сопоставительным словарем дагеставских языков» С. М. Хайдакова (М., 1973), а также «Этимологическим словарем картвельских языков» Г. А. Климова (М., 1964) и «Этимологическим словарем адыгских (черкесских) языков» А. К. Шагирова (М., 1977) его материалы могут быть использованы для решения вопросов прежде всего исторической лексикологии кавказских языков.

Материалы книги И. Ю. Алироева представляют определенный интерес и для решения вопросов языковых контактов, в частности, древних. Так создается впечатление, что наибольшую близость к приводимой Г. Б. Джаукяном индоевропейской параллели **stēr* — нахским названиям звезды ¹ обнаруживает фиксируемое в словаре бацбийское *mifera* «звезда» (в отличие от чеч., акк. *сидда*, инг. *седжа*, кист. *согм/сигед*, чеч. *сидду*, итум. *сидда*). Не менее интересна близость, характер возможных взаимоотношений между отмеченными в рецензируемом словаре чеч. *хояхар*, инг. *хо*, кист. *хо*, итум. *хояхар* бот. «хмель» и названиями этого растения в индоевропейских языках (ср. др.-инд. *сбта* и др.-иран. *хаота* «священный напиток сома»).

Неоценимо значение материалов словаря для разработки проблем исторической лексикологии нахских языков. Уже их предварительный анализ убедительно доказывает, что чеченский и ингушский языки в большей степени, чем бацбийский,

отражают лексику общенахского языка. Это касается прежде всего наименований членов общества, основных терминов родства, названий частей тела, домашних, диких животных и птиц, названий продуктов питания, а также некоторых астрономических понятий и др. В бацбийском языке наблюдается, как явствует из работы: 1) переосмысление слов, например, чеч., инг. *хлор* «груша», а в бацбийском *хлор* «яблоко»; 2) утрата некоторых общих слов (например, чеч. *олазар*, инг. *оалгазар* «птица» бацбийскому языку не известно); 3) замена исконных слов заимствованными, что связано с всеохватывающим влиянием грузинского языка, в окружении носителей которого бацбийцы живут уже несколько столетий (так, чеч. *куьг*, инг. *куьг* «рука» в бацбийском заменено грузинским заимствованием *mlom*).

Интересны представленные в работе факты основных чеченских диалектов, отражающие многообразие их лексических взаимосвязей и их отношение к другим нахским языкам. Анализ лексем Словаря позволит с еще большей достоверностью установить степень лексических расхождений между чеченским и ингушским языками, так как для сравнения могут быть привлечены не только данные оформившегося в сравнительно позднее время плоскостного диалекта чеченского языка, но и данные его других диалектов. Выявляются не только слова, отсутствующие в ингушском языке и в плоскостном диалекте чеченского (ср. чеч., акк., чеч. *дзаббари*, кист. *дзәбер*, итум. *дзәбар* «щеголь, фравт; кривляка» и чеч. *гезе-золь*, инг. *аьрдие*, бацб. *архлязов*, кист. *архле*, чеч. *газаз*, итум. *гезиг* «левшая»), но и прочие расхождения в лексике ингушского языка и других чеченских диалектов (ср. чеч. *елайба*, инг. *елейб*, акк. *елайма*, кист. *елейб* «балка для опоры строения»; чеч., чеч. *юм*, инг. *юлине*, акк. *юма*, кист. *болар* «галопом» и др.). Лексические расхождения, как об этом свидетельствует приводимый материал, характерны и для самих чеченских диалектов (ср.: чеч. *дийнат*, кист. *дийнат* «животное», чеч. *сулу*, итум. *нойтлue* «водопой; источник» и др.).

Не менее интересны лексические отношения названных языков и диалектов к бацбийскому языку (чеч., инг. *база*, бацб. *джемпир*, акк., итум. *божа*, кист. *бож*, чеч. *божо* «табун; стадо крупного рогатого скота»; чеч., инг., кист., чеч., итум. *гилла*, акк. *гил* «поджарый»; чеч. *деазиг*, инг. *саьрий нуь*, бацб. *коджу*, акк. *кан*, кист. *дазигинг*, чеч. *дазиг*, итум. *плъарк* «метла»; чеч. инг., акк., кист., чеч., итум. *сагал*, бацб. *псиг* «блеха» и др.).

Материалы рецензируемого труда важны для хронологической интерпретации заимствованного фонда лексики вайнахских языков. Легко прослеживаются за-

¹ Г. Б. Джаукян, Взаимоотношение индоевропейских, хурритско-урартских и кавказских языков, Ереван, 1967, стр. 129.

имствованные лексемы общевайнахского распространения, как, например, чеч., акк., чиб., итум. *глаз*, инг. *глаж*, кист. *блад* (из груз. *batli* «гусь») «гусь» (ср. тюрк. *каз* «гусь»), более узкого — общечеченского — распространения, как чеч. *чублакх*, акк. *чублакха*, кист. *лодзийна саг*, чиб. *чуолакха*, итум. *чулакха* «увечный» (ср. тюрк. *чолак* «увечный; хромой»), тогда как тюркизмы, присущие только ингушскому языку, как свидетельствуют материалы Словаря, численно незначительны. Сравнительное рассмотрение заимствованных форм, согласно данным Словаря, позволяет выявить их первоначальный, близкий к форме языка источника облик, как в случае с чеч. *гечуб*, инг. *гичуе*, акк. *гичуо*, кист. *по* (из груз. *пони*), чиб. *гичеов/гичеш*, итум. *гечуо* «брод», где в ингушском языке и чеберловском диалекте представлена форма с конечным *-е*, близкая к кумык. *гечуе*, ногайск. *кешуе* «брод». Архаические черты чеберловского диалекта проявляются и в отношении старых (дореволюционных) заимствований из русского языка.

Некоторые архаические формы заимствований, в частности, тюркских, сохраняют и другой горный диалект — итумкалинский, ср.: чеч. *гьотти*, акк. *копташ*, кист. *дзиенгал*, чиб. *готтец*, итум. *гьотташ* «медный купорос», и кум. *гьотташ/гьотташ* «медный купорос» (букв. «голубой камень»).

Представляет интерес отражение в Словаре влияния грузинского языка на корнеслов вайнахских языков (имеются в виду те грузинские параллели к словам кистинского диалекта, которые регулярно приводятся автором в составе словарных статей). Однако некоторые грузинизмы в чеченском и ингушском языках, к сожалению, остались без соответствующих помет, ср.: чеч. *гьота*, инг. *гота*, акк., чиб., итум. *гуота*, кист. *гуат* «плуг с упряжкой» (из груз. *гутани* «плуг»); чеч. акк. *цел*, кист. *цел* «серп» (из груз. *цели*), чиб. *цйёл*, итум. *цел* «мотыга»; чеч., инг., акк., чиб., итум. *марха*, кист. *мәрх* (из груз. *марха*) «пост» и др. Находящийся, как и кистинский, в иноязычном окружении на протяжении длительного времени аккинский диалект испытал сильное влияние со стороны кумыкского языка, что также не отразилось в структуре работы, ср.: чеч. *гундагI*, инг. *гундагIa/Iu*, бабб. *йе*, акк. *салкха*, кист. *гандуе*, чиб. *гундогуо*, итум. *гандагI* «тень» (кум. *салкын* «тень»); чеч. *грам*, чиб. *уором*, итум. *урам*, кист. *куча* (из груз. *куча*), акк. *орам* «улица» (кум. *орам* «улица») и др.

В условиях недостаточной разработанности историко-этимологического аспекта лексики нахских языков материалы исследования И. Ю. Алироева особенно ценны, так как позволяют по-новому осветить многие вопросы исто-

рической лексикологии нахских языков. Как свидетельствуют данные диалектов, чеч. *сабрамсекх*, инг. *самарсайхх*, акк. *самарскх*, чиб. *сарамсакх*, итум. *сорумсекх* «чеснок» сопоставимы не только с кум. *самурсак* «чеснок», но с другими тюркскими формами, к которым они могут восходить, кроме ингушского и аккинского слов (ср. ног. *сарымсак*), которые, по всей вероятности, усвоены непосредственно из кумыкского языка позднее (ср. кист. *бо* «чеснок»). В то же время наличие, по данным Словаря, формы *оччам* «укроп» только в плоскостном и аккинском диалектах позволяет предполагать кумыкское влияние в связи с этим словом (кум. *оччам* «укроп»). Установление конкретных источников заимствования — ближайшая задача исторического анализа тюркизмов вайнахских языков, и Словарь, несомненно, окажет в этом будущем исследователям неоценимое содействие.

Книга имеет значение не только для выявления наиболее значительных — тюркского и русского — пластов заимствованной в дооктябрьский период лексики, но и для установления других, в частности ирано-аланских (осетинских), заимствований, фонд которых достаточно велик. Так, чеч., инг., акк., итум, чиб. *сай*, кист. *сей*, бабб. *саг* «соль» позволяют предполагать усвоение из осетинского *саг* «соль» в период, по всей видимости, до обособления бацбийского языка. Не исключено, разумеется, что заимствование могло произойти из какого-нибудь более древнего иранского языка, к которому, возможно, восходит осетинская форма. Однако не всегда последовательное привлечение в работе данных бацбийского языка не позволяет установить давность той или иной формы на нахской языковой почве (впрочем, привлечение данных бацбийского языка не ставилось целью перед автором исследования). Можно лишь упрекнуть автора Словаря в известной непоследовательности, как и в случае с грузинскими иллюстрациями к словам кистинского диалекта и их отсутствием (кумыкских параллелей) к аккинским формам. В то же время в качестве оправдания в отношении фиксации форм аккинского диалекта можно привести то, что аккинский диалект, как показывают наблюдения, не может не содержать в себе иных более древних, чем кумыкские, заимствований из тюркских языков. Об этом свидетельствует хотя бы чеч. *дэйгаз*, инг. *диза*, акк. *дэгаз*, кист. *дэидзиг*, чиб. *гйэгаз*, итум. *дэгаз* «цветок», которые трудно возвести к какому-нибудь из современных тюркских языков, где наблюдались бы соответствия аффрикатному началу вайнахского слова². В этих условиях привлечение

² См.: Л. В. Дмитриева, Названия растений в тюркских и других алтай-

данных грузинского языка в качестве иллюстративного материала представляется в известной мере оправданным для того, чтобы показать значительное его воздействие на кистинский диалект чеченского языка. Но тем самым, к сожалению, создается представление о меньшей восприимчивости к иноязычному влиянию аккинского диалекта, испытывавшего не менее существенное влияние со стороны кумыкского языка.

Значение рецензируемой работы далеко не исчерпывается возможностью ее использования как важнейшего справочника для различных историко-этимологических «штудий», тем вкладом, который она вносит в сравнительно-историческое изучение вайнахских языков в качестве источника форм, необходимых для подобных исследований. Словарь может быть использован для выявления основ исконных слов, сформировавшихся в результате «окаменения» в их составе классных показателей, для определения перестройки именных и глагольных основ в вайнахских языках и диалектах и для решения ряда других вопросов.

Материалы исследования могут быть привлечены и для разработки основных проблем лексикологии чеченского и ингушского языков в синхронном аспекте: вопросов полисемии, омонимии, синонимии, антонимии, а также названий эвфемистического характера и т. д. Эти и другие вопросы получили свое отражение в прилагаемом очерке фонетико-морфологической и семантической характеристики отраслевой лексики нахских языков. В очерке рассматриваются некоторые фонетические особенности нахской отраслевой лексики — наличие или отсутствие отдельных фонем в чеченском, ингушском и бабийском языках, исторические чередования, тематизация согласных и другие вопросы. В его втором параграфе на материале нескольких отраслевых группировок (названия частей тела, термины родства, названия птиц и растений) проводятся интересные наблюдения по морфологическому строению слова в нахских языках, особенно по словосложению. Так, в группе нахских названий растений выявляются имена производные, производные и образованные сочетанием имен. К производным названиям относятся, в частности, имена, образованные с помощью суффиксов существительных, а также субстантивированные прилагательные и причастия, как, например, *шовгалд-ие* «борщевик», *гламма-гла* «берест, вяз», *датто-аг* «сорняк», *к'аьна-из* «пастушья сумка», *Юь-ла-ре* «разновидность доуха», *муста-ре* «кислица» и т. д. Отмечаются расхождения в оформлении мн. числа и классов, по

ских языках», «Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков», Л., 1972, стр. 173.

данным отдельными языками и диалектами, в сравнительном плане. Различные способы образования слов демонстрируются и на материале названий птиц, родственных отношений и частей тела. При этом в названиях частей тела характеризуются и их морфологические особенности.

В третьем параграфе очерка рассматриваются случаи расширения значения слов, сужения их семантики, отмечается, что «наиболее распространенным типом изменения значения слова в нахских языках является перенос наименований по сходству (метафора) и смежности (метонимия) функций» (стр. 368). Немалый интерес представляют анализируемые в четвертом параграфе явления полисемии и омонимии, выводы о том, что полисемия широко распространена в глаголах и образованных от них отглагольных существительных, что «полисемия слов почти всегда совпадает в вайнахских языках и диалектах» (стр. 371). Здесь же характеризуются источники возникновения омонимов, в числе которых называются заимствования, а также омонимы, возникшие в результате совпадения звуковой формы слов вследствие количественного и качественного изменения фонем, имевшего место в историческом прошлом языков. Кроме известных в общезыковедческой литературе разновидностей омонимов, омофонов и омографов, выделяются также лексические, лексико-грамматические и грамматические омонимы. Идеографические, стилистические и диалектные синонимы, пути пополнения синонимических рядов рассматриваются в параграфе «Синонимия». Последними характеризуются вопросы антонимии. В силу слабой изученности явлений синонимии и антонимии нахских языков, содержание этих разделов очерка вносит заметный вклад в изучение названных явлений. Все части очерка написаны с должной научной эрудицией, свидетельствующей о большой и всесторонней работе, проделанной автором.

Исследование И. Ю. Алирова не лишено, на наш взгляд, и некоторых недостатков и недочетов. Кроме упомянувшейся ранее непоследовательности использования бабийского языкового материала и иноязычных параллелей, можно также назвать отдельные случаи отсутствия в материалах словаря показателей класса и числа, однопорядкового употребления терминов «нахский» и «вайнахский», единичных неточностей в изложении лексических материалов. Хотелось бы пожелать автору повторного издания столь нужного труда, но уже под иным более общим углом зрения. Имеющиеся недочеты несколько не прижимают общей ценности работы — первого в вайнахском языкознании сравнительно-сопоставительного исследования отраслевой лексики.

Гусейнов Г.-Р. А.-К.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

11—13 января 1979 г. в Калинин состоялась IV Всесоюзная конференция по романскому языкознанию «Современные проблемы романистики (семантический аспект изучения романских языков)», организованная Институтом языкознания АН СССР и Калининским государственным университетом. В ее работе приняло участие более 200 представителей научных учреждений и вузов из 49 городов 8 союзных республик. Целью конференции было познакомить широкий круг романистов с состоянием исследований по романским языкам в нашей стране и за рубежом, сообщить о результатах собственных работ, обсудить состояние и перспективы романистики, содействовать развитию филологического образования в стране. Ввиду большого количества докладов и сообщений (185 тезисов), поступивших на конференцию, наряду с традиционными докладами (9) было заслушано 8 обзор-¹

Открывая конференцию, председатель Оргкомитета Г. В. Степанов (Москва) определял ее цели и задачи, черты, характеризующие современное состояние лингвистических исследований.

С приветственным словом от имени Калининского университета выступил зам. председателя Оргкомитета Б. И. Ваксман.

Р. А. Будагов (Москва) в своем докладе «Что объединяет и что разъединяет романские языки» ставит вопросы, касающиеся общности и различия романских языков, соотношения интернациональных и национальных тенденций в их структуре. При изучении данной проблемы, по мнению автора, следует учитывать не только генетические, но и типологические свойства, рост универсальных и национальных особенностей романских языков.

¹ См.: Тезисы IV Всесоюзной конференции по романскому языкознанию. «Современные проблемы романистики (семантический аспект изучения романских языков)», Калинин, 11—13 января 1979 г., ч. I—II, Калинин, 1978.

В докладе «О взаимодействии лексических и грамматических факторов в процессе образования аналитических глагольных форм в пиренейско-романских языках» О. К. Васильева-Шведе (Ленинград) на примере конструкций глаголов движения с неличными формами рассматривает общие закономерности их функционирования и грамматизации, факторы, способствующие превращению некоторых из них в аналитические формы.

А. А. Касаткин (Ленинград) в докладе «Языковая норма как социальная ценность» предложил дополнить лингво-социологическое представление о языковой норме характеристикой ее как социальной ценности.

Отмечая необходимость повышения достоверности лексических данных для показательства общности романских языков, Г. В. Степанов в докладе «Лексические схождения/расхождения в романских языках» указал на возможность использования понятия лексических структурных парадигм и предложил рассматривать лексическое поле как парадигму, состоящую из значимых лексических единиц (лексем) и сопоставлять ее (парадигму) с микро- и макросистемами в филологии и грамматике.

Понятию симметрии и асимметрии (одному из важнейших методологических принципов науки) был посвящен доклад и обзор В. Г. Гака (Москва) «Проблемы асимметрии в лексике». Наметив основные вопросы, встающие при исследовании асимметрии в романских языках [1) асимметрия центра и периферии (асимметрия системная, структурная и функциональная), 2) факторы и формы семантических наименований, 3) описание внутренней динамики романских языков], автор дал характеристику главных направлений и результатов работ в данной области, наметил задачи и возможные пути их решения.

В прениях по теме «Проблемы асимметрии в лексике» выступили В. И. Силецкий, В. П. Карсолова, В. Ф. Новодранова, И. А. Цыбова, К. Д. Приходько.

Г. С. Чинчлей (Кишинев) в докладе «Некоторые вопросы лексической морфологии» подверг рассмотрению весь комплекс задач, связанных с изучением лексической морфологии, и предложил некоторые пути их решения. В докладе раскрываются особенности морфо-лексических парадигм и связанные с ними трудности идентификации морфем.

Б. П. Нарумов (Москва) в обзорном докладе «Глагол в грамматике романских языков» отметил, что исследование глагольной системы романских языков охватывает широкий круг проблем, среди которых особое значение приобретает проблема категории вида и шире — аспектuality.

В прениях по теме «Глагол в грамматике романских языков» выступил М. И. Улаиовский, отметивший необходимость дополнить традиционный анализ определения служебности глагола собственно-синтаксическим анализом, в основе которого лежит концепция отношений, понятие уровней дифференциации. М. А. Габиянский поднял вопрос о грамматической категоризации выражения стилистических значений в молдавском языке. А. Л. Афанасьева рассмотрела взаимодействие семантического типа глагола и семантики глагольной формы при выражении видо-временных отношений на материале французского языка. О результатах исследования форм будущего времени на уровне речи говорил М. П. Табачник.

О применении нового принципа — позиционно-репрезентативного и дистрибутивного анализа — при изучении полусвязочных глаголов говорилось в докладе А. И. Чобану (Кишинев) «Проблема полусвязочных глаголов». В докладе были изложены результаты исследования этой категории глаголов на материале молдавского языка с помощью данного принципа.

Обзорный доклад Е. М. Вольф (Москва) «Имя в грамматике романских языков» был посвящен анализу основных направлений и результатов исследований в области имени.

В прениях по докладу выступили А. Ф. Мирошникова, Г. Д. Муравьева, Г. С. Романова, Ф. Д. Федоров.

Т. Б. Алисова (Москва) в обзорном докладе «Взаимоотношения между формальными, семантическими и коммуникативными характеристиками предложения» говорила об основных направлениях в изучении смысловой структуры предложения в романских языках и проблемах, обсуждаемых авторами тезисов: взаимоотношения поверхностной и глубинной структуры предложения, семантические типы предложений, модальная структура предложения, коммуникативная перспектива высказывания и др.

В прениях по докладу выступили

А. П. Евдошенко, А. К. Авеличев, О. С. Егорова, К. А. Долинин, М. А. Абдуразаков.

В докладе «Контекстуально-семантический анализ в сопоставительных исследованиях» Т. А. Репина (Ленинград) ставит вопрос о необходимости более широкого использования контекстуально-семантического подхода к изучению языковых фактов в сопоставительных исследованиях.

В совместном докладе А. Н. Степановой и С. А. Шапковой (Минск) «О синтаксической синонимии на уровне текста» рассматривалась проблема синонимии знаков-слов и знаков-предложений на материале французского языка. Авторы считают, что как слово-знак в ряде случаев может представлять собой свернутую номинацию предмета, действия или качества, так и простое предложение-знак может соотноситься со сложным знаком-предложением.

А. В. Суриун (Москва) в обзорном докладе «Формальное и содержательное распространение предложения» затронула основные вопросы и направления исследований в области изучения простого и сложного предложений и способов их содержательного распространения.

Анализу работ, рассматривающих вопросы молодой отрасли лингвистики — лингвистики текста — был посвящен обзорный доклад Е. А. Реферовской (Ленинград) «Сверхфразовое единство». Рассмотрев весь комплекс задач, связанных с изучением СФЕ, Е. А. Реферовская отметила актуальность проблем лингвистического анализа текста, и в частности его связности.

В прениях по обзорным докладом выступили Л. М. Мивкин, Е. Е. Корди, М. П. Ионца, Л. Г. Веденина, Е. М. Вольф.

Обзорные доклады С. П. Николаевой (Ленинград) и Р. Я. Удлера (Кишинев) «Романские языки в социальном и географическом пространстве» были посвящены анализу работ в области сравнительно-сопоставительного изучения романских языков. Разработкой важнейших вопросов общетеоретического характера (взаимодействие языков и диалектов, источники лингвистической вариативности, закономерности смыслового развития слов в романских языках и др.), а также частных вопросов лексики и грамматики романских языков на основе данных лингвогеографии свидетельствует, по мнению авторов, о весьма широком диапазоне деятельности советских романистов.

О результатах этимологического анализа народной терминологии современного румынского языка и о том, какую роль в ее формировании сыграли контакты румынского языка с другими, преимущественно славянскими, языками говорилось в докладе С. В. Семчинского (Київ) «Роль языковых кон-

тактов в формировании лексической группы слов и ее территориальном распределении».

Р. Г. П и о т р о в с к и й (Ленинград) сделал обзор по двум проблемам «Инженерная лингвистика» и «Вопросы терминологии». Отметив, что стержневой для инженерной лингвистики является проблема автоматического распознавания смысла текста, Р. Г. Пиотровский говорил о результатах Тезаурусной автоматизированной системы аннотирования научных документов, созданной ленинградским коллективом группы «Статистика речи» и значении этих результатов для развития информационного дела и автоматического управления.

В ходе научной дискуссии, развернувшейся после доклада (в прениях выступили Р. А. Будагов, Л. М. Рязанова, В. И. Бавару, В. Г. Гак, Г. А. Муштенко), продолжалось рассмотрение вопросов взаимодействия лингвистики и математики, соотношения терминов и номенклатурных знаков, проблемы объединения тезаурусов.

Подводя итоги конференции, Г. В. Степанов отметил актуальность выдвинутых для обсуждения ее участниками проблем, важность рассмотренных в докладах и выступлениях вопросов теоретического и прикладного характера по лексической и грамматической семантике, социолингвистике и инженерной лингвистике. Широкий обмен мнениями по указанным проблемам явился полезным вкладом в изучение содержательного аспекта романских языков. Г. В. Степанов подчеркнул, что высокий научный уровень докладов и дискуссий на конференции должен положительно сказаться на теоретических исследованиях в области романистики и стимулировать повышение научной квалификации романистов в вузах страны.

Конференция приняла ряд постановлений и рекомендаций, направленных на дальнейшее расширение и совершенствование исследований в области романского языкознания.

Исхакова Р. О. (Калинин)

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
«ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1979 г.
(№№ 1—6)

СТАТЬИ

Будагов Р. А.— К теории грамматики и языковых контактов	2
Корлятух Н. Г.— В. И. Ленин и развитие национальных языков	2
Мельничук А. С.— О генезисе индоевропейского вокализма	5, 6
Никольский Л. Б., Охотина Н. В.— Проблематика социолингвистических исследований в советском востоковедении	1
Павфилов В. З.— Марксизм-ленинизм как философская основа языкознания	4
Плам Ю. Я. и др.— Современное состояние восточного языкознания в СССР	1
Солнцев В. М. и др.— О значении изучения восточных языков для развития общего языкознания	1
Филин Ф. П.— Что такое литературный язык	3
Филин Ф. П.— Некоторые вопросы современного языкознания	4

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Ахманова О. С., Долгова О. В.— Синтаксическая теория и знание языка	1
Ахманова О. С., Полубиченко Л. В.— «Дифференциальная лингвистика» и «филологическая топология»	4
Ахманова О. С., Минаева Л. В.— Еще раз о так называемой теоретической лингвистике	5
Ахманова О. С., Данчинова И. А.— К вопросу синхронического изучения названий населенных пунктов	6
Байков В. Г.— К построению лингвистической теории прогнозирования	4
Белый В. В.— Становление общеметодологических основ американской дескриптивной лингвистики	3
Биренбаум Я. Г.— Горизонтальные синтаксические связи	5
Брыковский К. С.— О системно-парадигматическом анализе сложно-подчиненных и осложненных предложений в современном немецком языке	3
Буряков М. А.— К вопросу об эмоциях и средствах их языкового выражения	3
Герценберг Л. С.— Предыстория индоевропейских языков в работах А. Эрхарта	2
Киселевский А. И.— Об определениях в энциклопедиях и толковых словарях	2
Кожин А. Н.— О роли слова в тексте	2
Колшанский Г. В.— Проблемы коммуникативной лингвистики	6
Кривоносов А. Т.— О некоторых аспектах соотношения языка и логики	6
Кумахов М. А.— К проблеме языка эпической поэзии	2
Миллер Е. Н.— Глаголы с неполной личной парадигмой в русском языке	1
Миронов С. А., Берков В. П.— Вариабельность литературных норм современного нидерландского языка в Нидерландах и Бельгии	3
Михайловская Н. Г.— О проблемах художественно-литературного двуязычия	2
Мурясов Р. З.— Словопроизводство и грамматические категории	3
Пазухин Р. В.— Язык, функция, коммуникация	6
Падмайтис Л.— Аккузатив и род	4
Привалова М. И.— Собственные имена и проблема омонимии	5
Слюсарева Н. А.— Терминология лингвистики и метаязыковая функция языка	4

Соболева П. А.— Дефектность парадигмы и семантическое тождество слова	5
Тенишев Э. Р.— Языки древне- и среднетюркских письменных памятников в функциональном аспекте	2
Трубачев О. Н.— «Старая Скифия» (Ἀρχαία Σκυθία) Геродота (IV, 99) и славяно. Лингвистический аспект	4
Улуханов И. С.— Словообразовательные отношения между частями речи	4
Умарходжаев М. И.— Современные проблемы фразеологии	5
Парадзенидзе Т. С.— Лингвистическая теория И. А. Бодуэна де Куртене и ее место в языкознании XIX—XX веков	2
Юрченко В. С.— Структура предложения и система синтаксиса	4

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Абдуллаев З. Г.— Соотношение и роль формального и содержательного в дефиниции синтаксических категорий в дагестанских языках	5
Гиро-Вебер М.— К вопросу о классификации простого предложения в современном русском языке	6
Гальченко И. Е.— О статусе слов северокавказского происхождения в русском языке	4
Гаффаров Р.— К вопросу о сравнительном изучении синтаксиса таджикских говоров	1
Гринбаум Н. С.— Древнегреческий литературный язык. Ионийский период (VIII—VI вв. до н. э.)	3
Безбородько Н. И.— Морфосинтаксические особенности латинской терминологии	2
Благова Г. Ф.— О принципах лингвистического изучения средневековых тюркских текстов	6
Вейлерт А. А.— Русское слово в немецкой диалектной речи	3
Всезолодова Н. В.— О семантическом согласовании глаголов и именных темпоральных распространителей	1
Карамшоев Д.— Проблемы категории рода в памирских языках	5
Кямилев С. X.— О семантике метафоры	1
Малкова О. В.— Ошибки писцов и лингвистическая интерпретация древних текстов	6
Марков В. М.— Об отражении диссимилятивных тенденций в развитии флексивных образований	3
Милославский И. Г.— Сложение семантических элементов различных типов в структуре русского слова	6
Мурьянов М. Ф.— К семантическим закономерностям в лексике старославянского языка	2
Назарян А. Г.— Фразеология и лексика французского языка в их генетических отношениях	4
Расторгуева Т. А.— О некоторых аспектах эволюции словоизменительных систем	1
Схогт Х. Г.— К вопросу о включении аналитических конструкций в глагольную систему современного французского языка	3
Тарланов З. К.— Глаголы с неполной личной парадигмой в русском языке	1
Федорова М. В.— О типах номинации в русском языке	3
Ходорковская Б. Б.— Итальянский дентальный претерит и проблема латинского имперфекта	3
Цыкин В. А.— Полуаффиксация в системе китайского словообразования	5
Чхайдзе М. П.— О двух аспектах исследования грамматики	2
Шерер В. Э.— О выражении пространственных отношений в кетском языке	5
Юдакин А. П.— Определенные и неопределенные прилагательные	6
Якубайтис Т. А.— Использование ЭВМ в лингвистических исследованиях	3

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

[Обзоры]

Иванов В. С.— Количественные методы в современном венгерском языкознании (1973—1977)	6
Канделаки Т. Л.— Терминологическая работа в системе научных учреждений АН СССР	5

Кожина М. Н.— О некоторых стилистических исследованиях последних лет в Чехословакии и ГДР	1
Ширшов И. А.— Проблемы словообразовательного значения в современной отечественной науке	5

Рецензии

Алексеев М. Е.— <i>Б. К. Гигинейшвили</i> . Сравнительная фонетика дагестанских языков	4
Баудер А. Я.— «Die russische Sprache der Gegenwart»	3
Бородин М. А., Гущина Л. Г.— «Les Français régionaux»	6
Верещагин Е. М., Костомаров В. Г.— <i>А. А. Брагина</i> . Русское слово в языках мира	6
Гельгардт Р. Р.— О журнале «Филологические науки» (1958—1978)	4
Гусейнов Г. Р. А.— <i>И. Ю. Алироев</i> . Сравнительно-сопоставительный словарь отраслевой лексики чеченского и ингушского языков и диалектов	6
Дерягин В. Я.— <i>Б. Татар</i> . Русская лексикография	6
Дэжэ Л.— Принципы описания языков мира	5
Ибрагимов Г. Х.— <i>С. М. Хайдаков</i> . Система глагола в дагестанских языках	1
Калыгин В. П.— <i>M. Dillon</i> . Celts and Argans	5
Керашева З. И.— <i>А. К. Шагиров</i> . Этимологический словарь адгских (черкесских) языков	5
Кодохов В. И., Туркин В. Н.— <i>В. И. Максимов</i> . Структура и членение слова	1
Корляту Н. Г., Чобану А. И.— <i>Р. А. Будагов</i> . Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени	5
Краснова И. Е., Марченко А. Н.— <i>O. Akhmanova, R. F. Idzelis</i> . What is the English we use?	6
Кузнецов П. И.— «Турецко-русский словарь»	3
Лаптева О. А.— <i>Д. Н. Шмелев</i> . Русский язык в его функциональных разновидностях	1
Липский С. А.— <i>I. K. Galperin</i> . Stylistics	1
Лопатин В. В.— <i>А. В. Бондарко</i> . Теория морфологических категорий	2
Маковский М. М.— «Etymologie»	6
Манучарян Р. С.— <i>И. С. Улутанов</i> . Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания	2
Мельничук А. С.— <i>Л. С. Паламарчук</i> . Українська радянська лексикографія	3
Меновщиков Г. А., Вахтин Н. Б.— <i>I. Rid, O. Miyaoka, S. Jakobson, P. Atkan, M. Krauss</i> . Yupik Eskimo Grammar	4
Михайлов К. Ш.— «Опыт структурного описания арчинского языка»	4
Моисеев А. И.— <i>В. В. Лопатин</i> . Русская словообразовательная морфемика	1
Откупщиков Ю. В.— <i>Н. В. Подольская</i> . Словарь русской ономастической терминологии	3
Попова З. Д.— «Памятники южновеликорусского наречия. Отказные книги»	2
Протченко И. Ф.— <i>К. С. Горбачевич</i> . Вариантность слова и языковая норма	3
Розенфельд А. З.— <i>Ю. Н. Марр</i> . Материалы для персидско-русского словаря	3
Собинникова В. И.— «Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение»	1
Стеблин-Каменский И. М.— <i>И. М. Оранский</i> . Фольклор и язык гиссарских паря	2
Степанова М. Д.— «Linguistische Studien. Beiträge zur Klassifizierung der Wortarten»	5
Татар Б.— <i>А. А. Зализняк</i> . Грамматический словарь русского языка	2
Успенский Б. А.— <i>Р. М. Цейтлин</i> . Лексика старославянского языка	1
Чернов В. И.— «Русская разговорная речь. Тексты»	5

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	1—6
--------------------------------	-----

CONTENTS

Articles: Mel'ničuk A. S. (Kiev). On the genesis of Indo-European vocalism (end); **Discussions:** Krivonosov A. T. (Moscow). Some aspects of the correlation of language and logic; Axmanova O. S. (Moscow), Dančinoval. A. (Ulan-Ude). Contribution to the synchronic study of place-names; Pazuxin R. V. (Katowice). Language, function, communication; Kolšanskij G. V. (Moscow). Problems of communicative linguistics; **Materials and notes:** Guiraud-Weber M. (Aix-en-Provence). On the classification of the simple sentence in modern Russian; Miloslavskij I. G. (Moscow). Semantic element of different types in the structure of the Russian word; Yudakin A. P. (Moscow). Definite and indefinite adjectives; Blagova G. F. (Moscow). Principles of linguistic analysis of medieval Turkic texts; Malkova O. V. (Moscow). Errors of scribes and linguistic interpretation of ancient texts; **Surveys:** Ivanov V. S. (Moscow). Quantitative analysis in modern Hungarian linguistics (1973-1975); **Reviews.**

SOMMAIRE

Articles: Mel'ničuk A. S. (Kiev). Sur la genèse du vocalisme indo-européen (suite et fin); **Discussions:** Krivonosov A. T. (Moscou). Sur les rapports entre les catégories linguistiques et logiques; Axmanova O. S. (Moscou), Dančinoval. A. (Oulan-Oudé). Contribution à l'étude synchronique des toponymes; Pazuxin R. V. (Katowice). Langue, fonction, communication; Kolšanskij G. V. (Moscou). Problèmes de linguistique communicative; **Matériaux et notices:** Guiraud-Weber M. (Aix-en-Provence). Sur la classification des propositions simples en russe contemporain; Miloslavskij I. G. (Moscou). Combinaisons des éléments sémantiques de types différents dans la structure du mot russe; Yudakin A. P. (Moscou). Adjectifs définis et indéfinis; Blagova G. F. (Moscou). Principes d'analyse linguistique des textes turcs médiévaux; Malkova O. V. (Moscou). Erreurs des copistes et interprétation linguistique des textes anciens; **Revue:** Ivanov V. S. (Moscou). Analyse quantitative dans la linguistique hongroise contemporaine; **Comptes rendus.**

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам высылаться не будет.

2. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

3. Объем статьи не должен превышать 24 стр., объем рецензии — 10 стр. машинописи.

4. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

5. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

6. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

7. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

8. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

9. Непринятые рукописи не возвращаются.

10. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

11. Хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни. Объем хроникальной заметки — 3 — 5 стр.

Технический редактор *Т. Н. Семченко*

Сдано в набор 28.08.79 Подписано к печати 30.10.79 Т-17839 Формат бумаги 70×108^{1/16}
Высокая печать Усл. печ. л. 14,0 Уч.-изд. л. 15,8 Бум. л. 5 Тираж 7110 экз. Зак. 2213

Издательство «Наука». 103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука». 121069, Москва, Шубинский пер., 10